

ЧЕЛОВЕК * ЛЕГЕНДА

ПЁТР СТОЛЬШИН



ВЯЧЕСЛАВ ХОТУЛЁВ



СТОЛЫПИН

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

ПЕТР
СТОЛЬШИН

ЧЕЛОВЕК - ЛЕГЕНДА

ВЯЧЕСЛАВ ХОТУЛЁВ

**ПЕТР
СТОЛЬШИН**

•ОЛИМП• Москва ••РУСИЧ• Смоленск

1998

УДК 820/89:929
ББК 63.3(2)6-8
X 85

Серия основана в 1997 году

Хотулёв В. В.

X 85 **Петр Столыпин: Трагедия России.** — М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1998. — 496 с., ил. — («Человек-легенда»).

ISBN 5-7390-0589-2 («Олимп»)

ISBN 5-313-00021-7 («Русич»)

Саратовский губернатор, министр внутренних дел, председатель Совета министров — второй человек в России после Государя. Им восхищались, ему рукоплескали, его ненавидели — люто, смертельно.

Образ П. А. Столыпина Вячеслав Хотулёв создает, основываясь на архивных документах, личных письмах Петра Аркадьевича, императора, газетных материалах тех времен.

В книге впервые опубликована переписка Столыпина с женой, которая раскрывает личность всемогущего премьера с совершенно неожиданной стороны.

УДК 820/89:929

ББК 63.3(2)6-8

ISBN 5-7390-0589-2 («Олимп»)

ISBN 5-313-00021-7 («Русич»)

© «Олимп», 1998

© Разработка серии, оформление.
«Русич», 1998

...С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его.

*Вторая книга Царств,
22; 26, 27*

От автора

Не без робости и сильного душевного смятения приступил я к работе над этой книгой. Личность Петра Аркадьевича Столыпина притягивает к себе на протяжении всего XX века. Да и век XXI, замаячивший на горизонте, не обойдется без нового осмысления роли Столыпина в трагической русской истории. Философы, публицисты, историки, писатели, кинематографисты, а также лихие «наездники», гарцующие впереди прогресса, как в России, так и за ее рубежами, обращаются к жизни и деятельности Столыпина, весьма краткой, но потрясшей до основания весь российский уклад. Его гибель, по мнению многих исследователей, изменила ход истории не только российской, но, возможно, и мировой. Впрочем, история, как известно, не имеет сослагательного наклона.

Интерес к его личности тем более возрастает, чем яростнее становятся споры о том, какой должна быть современная наша Россия. В постсоветское время в различных издательствах выходило много книг о Столыпине. Очень интересно их читать и сравнивать с тем, как его деятельность оценивали в той стране, которая недавно называлась Советским Союзом. «Столыпинская реакция», «столыпинские галстуки», «столыпинские вагоны» — эти клише прочно укоренились в умах многих и многих еще со времен школьных и студенческих. Сегодня мы наблюдаем иную крайность: умный, вперёдсмотрящий кормчий, рыцарь без страха и упрека, без недостатков и сомнений. Этакое монументальное скульптур-

ное изображение. Мы любим впадать в крайности — оттого, очевидно, что как бы замаливаем свои прошлые грехи.

А истина, как всегда, посередине.

Предшественник Столыпина на посту председателя Совета министров Сергей Юльевич Витте ошибся, написав после смерти Столыпина, что Россия его тотчас забыла. Уж слишком Витте был обижен на своего масштабного и решительного преемника.

История все ставит на свои места, не сразу и не вдруг, как бы ее ни переписывала угодливая и просвещенная обслуга властей предрержащих. История тихо, но настойчиво сопротивляется ретивым политикам и их всеядным придворным. Она не может быть на службе политики. Она служит Истине, до которой подчас добираться невероятно тяжело, иногда — смертельно опасно.

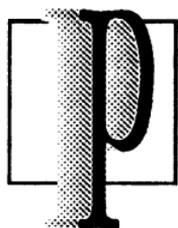
Еще десять — пятнадцать лет назад очень непросто было возвращать истории правдивость ее документов, а также свидетельства тех, кто ее творил. Это говорит о невероятной актуальности нашей российской истории, ибо очень много возвращается на круги своя.

Уважая труды иных историков и писателей, преклоняясь перед А. И. Солженицыным, блистательно описавшим жизнь и смерть Столыпина в «Красном колесе», я тем не менее отправляюсь в опасное и захватывающее путешествие и приглашаю последовать за собою моих читателей.

**Часть
первая**

Глава 1

РОЖДЕНИЕ СЫНА



рука ее была влажной и холодной. Он держал ее в своих огромных ладонях и то и дело вытирал платком ее полноватые пальцы с широкими ногтями. Она что есть силы сжала его руку и выдернула свою:

— Уйди! Уйди!..

Домашний доктор Штейн повелительным жестом указал на дверь.

Он поспешил, шагая по толстому ковру почему-то на цыпочках, тяжело дыша, отирая пот с крупного высокого лба. Вышел на крыльцо. Было около одиннадцати вечера, сумерки только-только сгущались. Ольга Борисовна стонала и вскрикивала, как раненая птица. Не в силах ей помочь, не в силах слышать ее вскрики, он зашагал по аллее в глубь парка. Его почему-то раздражало светлое еще июньское безразличное небо. Еще никогда она так не страдала. А ведь это были ше-

стые роды, и до сих пор все было благополучно и быстро, и она всегда с тихой гордостью говорила, как она хорошо и «крепко» рожала. А сейчас такие муки!..

Он приказал Казимиру: если родится дочь, Казимир выстрелит один раз, ну а если сын — два... Петр Аркадьевич усмехнулся: за восемнадцать лет их супружеской жизни у них было пять одиночных выстрелов. Разумеется, он, как и каждый отец, мечтал о мальчике, о наследнике, о мужчине, но на все воля Божья!

Раздался выстрел, Столыпин вздрогнул и перекрестился.

— Шестая, — вздохнул он и направился к дому.

Через минуту прозвучал еще один выстрел.

— Двойня? — изумился он и понесся к дому, забыв про больную правую руку, ее кисть нелепо болталась вдоль мощного торса, но Петр Аркадьевич не обращал внимания.

В дверях он чуть было не сшиб Штейна.

— Сын, Петр Аркадьевич, сын! Поздравляю вас, дождались, благодарение Господне. Ольга Борисовна устала. Не волнуйтесь, все в порядке, однако к ней пока нельзя.

Столыпин крепко, в губы, расцеловал уставшего Штейна:

— Спасибо, голубчик. Спасибо! Сын! Господь услышал наши молитвы.

20 июня 1903 года в 11 часов вечера в имении Калноберже, что в шестидесяти верстах от Ковно (ныне Каунас), у тридцативосьмилетней Ольги Борисовны, урожденной Нейдгарт, и сорокаоднолетнего Столыпина родился шестой ребенок. Его назвали Аркадием, в честь отца Петра Аркадьевича.

Петр не просто любил свою жену все эти годы их

счастливого брака — он был *влюблен* в нее постоянно и всецело, но то, что он чувствовал в эти вечерние часы, когда небо озарилось розовыми всполохами над вмиг почерневшими соснами, было что-то новое, необычайно горячее и всепоглощающее. Он страдал оттого, что она перенесла мучительную боль, сейчас он чувствовал, как эта боль нехотя уступает, он словно видел измученную улыбку на ее полном круглом лице и знал, что она засыпает, счастливая, измученная и опустошенная.

— Почему сразу не выстрелил? — притворно грозно спросил он Казимира.

— Так это, Петр Аркадьич, палец дрогнул от волнения, — испуганно говорил Казимир, зная строгий нрав своего барина.

Столыпин протянул ему серебряный рубль, Казимир с достоинством взял, склонив голову, явно подражая хозяину.

— Дзенькуе бардзо, а также премного благодарен!

— Смотри не напивайся! — Столыпин погрозил пальцем, поднимаясь к себе в кабинет.

Восемнадцатилетняя Мария, самая старшая, вбежала в комнату, поцеловала отца.

— Какое счастье, папá, какое счастье! — выдохнула она. — Покойной ночи, мой изумительный папá.

Она упорхнула.

Он сидел в кабинете перед большим окном и думал, как милостива к нему судьба и как стремительно круто изменилась их жизнь за последний год с лишним.

Как записано в его государственной анкете, Столыпин состоял на службе с 20 октября 1884 года, то есть сразу же после окончания Петербургского университета, где он получил звание канди-

дата физико-математического факультета. (Про государственную анкету хотелось бы сказать несколько слов. В Российской империи она сопровождала государственного чиновника с момента его поступления на службу и до его кончины. В ней 14 граф. Важное место отводится имущественному состоянию. Не только обладателя анкеты, но также его родителей и его жены, если таковая имеется. Там на многих обширных листах подробно записывается продвижение по службе и на основании каких указов. В отдельной графе запись об отпусках — сколько времени пребывал в отпуске, кто разрешил и вернулся ли без опозданий.) Сначала молодой Столыпин некоторое время работал в министерстве землеустройства. С марта 1889 года стал ковенским уездным предводителем дворянства и был переведен в министерство внутренних дел, ибо в конце прошлого века и в начале нынешнего оно было наделено особыми полномочиями: вся, как сейчас говорят, власть на местах — губернские и уездные предводители, собственно губернаторы подчинялись непосредственно министерству внутренних дел и все подобные назначения исходили оттуда. Правда, указ о назначении того или иного губернатора подписывал сам Государь. Размеренная, тихая провинциальная жизнь в усадьбе его отца Аркадия Дмитриевича, которую тот получил от князя Долгорукого в качестве расплаты за картонный долг, не предвещала особых служебных потрясений. Петр Аркадьевич исправно раз в год посылал в министерство обязательные доклады, в коих предлагал свои соображения по землеустройству и землепользованию. В отличие от многих помещиков Столыпин видел низкий уровень хозяйства в незаинтересованности крестьян и справед-

ливо полагал, что положение можно исправить. В мае 1902 года неожиданно для себя он получает новое назначение. Вот этот документ:

«Указ Правительствующему Сенату.

Ковенскому Губернскому предводителю дворянства, Двора Нашего в звании камергера, Статскому Советнику всемилодивейше повелеваем быть Исправляющим должность Гродненского Губернатора, с оставлением его в придворном звании.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано: «Николай».

В Петергофе.

Мая 30 дня 1902 г.

Верно: *Гофмейстер В. Штурмер (подпись)*»¹.

«Исправляющий должность» — это, говоря сегодняшним канцелярским языком, исполняющий обязанности. Министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве уже несколько лет тщательным образом читал доклады Столыпина и несколько раз положительно говорил о нем Государю.

Прежде чем поручить Столыпину большую губернию, решили посмотреть, как он будет справляться с маленькой несамостоятельной Гродненской. Несамостоятельной потому, что она подчинялась Ковенской губернии. Столыпин исправлял должность с мая 1902 года по февраль 1903-го, когда появился новый указ Правительствующему Сенату о назначении его саратовским губернатором. Это был поразительный по тем временам взлет, ибо столь молодых губернаторов в России не наблюдалось.

¹Во всех публикуемых документах и письмах сохраняются стиль, орфография и пунктуация подлинников, а также все подчеркивания и иные шрифтовые выделения. — В. Х.

Столыпин уже побывал в Саратове, принял дела и сейчас срочно примчался в Калноберже, чтобы уже через несколько дней снова отбыть в крупный поволжский город основательно устраивать жизнь, перевозить семью, засучив рукава работать на новом месте в огромной, очень беспокойной губернии.

В своих воспоминаниях С. Ю. Витте пишет с нескрываемой желчью, что Столыпин выдвинулся на высокие посты исключительно благодаря своим многочисленным родственникам, намекая на то, что «выскачку» стали усиленно «двигать». Это не совсем так.

Род Столыпиных известен с XVI века, а первое упоминание о нем можно найти в летописях XIII века. Столыпины — старинный дворцовый чин. Его первоначальное назначение — служить за столом Государя. При перечислении служилых людей Столыпины обычно упоминались после думных дьяков и впереди стряпчих. И еще одна была почетная, но печальная обязанность у Столыпиных. Они дневали и ночевали у гроба умершего Государя, и они же выносили его тело из комнаты...

Дед Столыпина был братом Е. Арсеньевой (урожденной Столыпиной), бабушки Лермонтова. Следовательно, как полагают некоторые историки, Петр Аркадьевич приходился великому русскому поэту троюродным братом. Его отец, Аркадий Дмитриевич, был весьма заметной фигурой в русском придворном обществе. Он участвовал в Крымской кампании, где близко сошелся с Л. Н. Толстым и до конца своих дней был с ним на «ты». Позднее его назначили флигель-адъютантом Александра Второго, а затем свиты генерал-майором. Последние семь лет жизни он заведовал придворной частью Московского Кремля, играл на

скрипке Страдивариуса, писал воспоминания, занимался скульптурой и дважды участвовал в выставках. Он умер в 1899 году. Когда о его смерти сообщили Л. Н. Толстому, тот отказался приехать на похороны, сказав, что мертвое тело для него ничто и он, говоря его собственными словами, не считает достойным возиться с ним...

Аркадий Дмитриевич был женат вторым браком на урожденной Горчаковой (она скончалась в 1891 году). Ее отец был канцлером России в царствование Александра Второго. Ольга же Борисовна была правнучкой А. В. Суворова.

Конечно же генеалогия, семейные связи, традиции играли важную роль в России и в те времена, и в нынешние. Однако Петр Аркадьевич, имея хорошую стартовую площадку, во многом сам добился высочайших постов в монархической России — за счет небывалой силы воли и совершенно фантастической трудоспособности.

Итак, после рождения сына Столыпин приехал в Саратов, где началось его беспримерное служение России. История ему отмерила всего восемь лет.

Саратов первоначально не понравился. Большой шумный город, окруженный невысокими горами, находящийся как бы в котловине, и потому в воздухе, если не было дождя, постоянно висела серая пыль. В то время в нем проживало 150 тысяч человек. Отвратительные, в ухабах, дороги. На окраинах, как и в большинстве российских городов, грязь и вонь. Сточные канализационные воды попадали прямо в Волгу.

Министерство внутренних дел за счет своих средств купило для Столыпина дом, и новый губер-

натор торопил рабочих сделать в нем ремонт — к приезду Ольги Борисовны, детей и слуг.

Письмо от 13 августа 1903 года:

«Дорогая, милая, я так счастлив — сегодня телеграмма, что вы здоровы, что Адиньке улыбкой и словом хорошо. Меня по правде смущала твоя боль в паху — когда же ты будешь со мною, так буду... это просто будет рай и мне этот новый, чуждый дом кажется будущим Эльдorado.

Пусть не гнетут тебя мрачные мысли и предчувствия... Надо жить хорошо и все будет хорошо.

С радостью, мой ангел, приеду за тобой в Москву, стремлюсь к тебе всеми силами души. Единственный тормоз во всем это деньги. Я боюсь тратить лишнее. Тут все так дорого, или я не умен. Вчера обедало два человека и счет поварихи 9 р. 65 к. А обед из 4 блюд и пирожки с яблоками и черносливом.

Что мне тебе писать про себя? Кроме службы ничего. Открыли театр, но я не был. Скучно все пробирать (т. е. всех ругать, отчитывать. — В. Х.).

20 числа собираю съезд управников для разрешения разных вопросов. Потом у меня после 20-го еще срочная работа по губернской реформе и в конце месяца думаю проехаться по саратовскому уезду, в котором еще не был. Это займет неделю. В это время перенесут все в новый дом. А потом ждем тебя, свет моей жизни, радость моей души и пойдут ласковые, чарующие теплые для сердца дни с тобою, моею горячо любимую, и детками нашими. Любовь к труду — вот залог счастья в жизни.

Твой».

Местная аристократия встретила его с настороженным любопытством. Никто не мог сказать тол-

ком, кто стоит за молодым и уже лысеющим губернатором, сменившим Энгельгардта, попросившегося у Государя в отставку по причине старческой немощи. Но Энгельгардт был хитрый лис. Он уже чувствовал, надвигалась великая смута, и знал, что ему с ней не управиться. Тайные порученцы пытались навести справки в столице, в самом министерстве. Там шепотом сказали, что Столыпин — протекция самого Государя.

Саратов уже давно не был глушью, как во времена Грибоедова. Дымили фабрики и заводы, где трудились по 12—14 часов в сутки вчерашние крестьяне, обнищавшие или от общинного земледелия, или от бесконечных саратовских засушливых лет. Были школы и гимназии, больницы, приют. Первый сезон открывал роскошный оперный театр.

Столыпин принялся за дело с присущими ему трудолюбием и основательностью, прежде всего решив привести в порядок городские улицы и дороги. Саратовские обыватели были немало удивлены, когда узнали, что Петербург выделил на это солидный кредит. Еще больше они удивились, что Столыпин не любит карт, — значит, за ломберным столиком уже не обсудишь с ним необходимые вопросы. Оказалось, что он не курит, не выносит табачного дыма. А на званных обедах вообще ведет себя странно: весь вечер просидел с одним бокалом шампанского, да и тот не допил. Саратовские прихлебатели огорчились — они поняли, что количество дармовых обедов будет резко сокращаться. И не ошиблись.

Жизнь в Саратове текла неторопливо. Неторопливо общались, не спеша работали, ибо полагали, что чего-чего, а работы на их век хватит. Петр Аркадьевич, энергично вникая в дела губернии, зани-

маясь благоустройством дорог, старался как можно скорее закончить ремонт в новом доме и без усталости подгонял рабочих, а те на него обижались. Их можно понять — так они работать не привыкли.

Письмо от 18 сентября 1903 года:

«Душик сладкий, сейчас про дачу — все тороплю, тороплю. И все разные досады: в клейной не хватает 9 кусков обоев, из Москвы не высылают дверных ручек и т. п. В Москве надо будет выбрать ковер на лестницу, которая выходит на славу, и ковер мне в кабинет. Я в кабинете решил одно окно забить и заклеить обоями, а то фонарь... и негде поставить мебели... Сегодня хотел поехать в институт, переговорить с начальницею об учителях, но спросил в телефон и ее не было дома.

...Созываю съезд исправников. В воскресенье буду их кормить завтраком: 10 исправников, полицеймейстеры, 2 советника, Кноль, чиновники, порученцы, вице-губернатор. Придется из гостиницы брать посуду. Скучно все это без тебя.

Целую, люблю.

P. S. Благодарю за мальчика (секрет)».

Письмо от 27 сентября 1903 года:

«Желанная, сегодня утром мороз, и сейчас идет снег. Меня Тимрот утешает тем, что это признак того, что это будет хороший октябрь. Дай-то Бог! Я все думаю о наших птенчиках, и опять был в доме, чтобы подождать работу. В понедельник прикажу замазать рамы, не дожидаясь оконных приборов. Боюсь, что будет пахнуть краскою в детских. Только бы мне самому туда переехать, чтобы подгонять рабочих.

Сегодня утром приехал ко мне астраханский губернатор, назначенный членом военного совета. Он оставил губернаторство, так как умерла его жена, и он не мог переносить той обстановки, в которой жил с нею. Душка, не умирай! Я так хочу с тобою жить и целовать тебя...

Был сегодня на Волге на взрывах — взрывают каменную гряду, мешающую Волге течь около Саратова, но что-то взрывы эти не удаются. У меня сегодня вечером опять заседание по губернской реформе. Я приглашаю их каждый вечер, чтобы закончить с этим делом.

Оличка, меня смущает животик Ади. Конечно Ш. Ш. (домашний врач Столыпиных. — В. Х.) знает больше тебя и его при малейшей болезни надо выписывать...

Насчет священника для Наташи и Елены переговорю с архиереем... Машин костюмы одобряю. Тут, говорят, есть хорошая мастерица для шляп и верхних вещей... я смотрю в окно, шляпы недурны. Говорят, они дороги...»

Новый губернаторский дом обустроивался медленно, и Столыпин, как ни тосковал по своей семье, тормозил их приезд в Саратов. Как назло, стали болеть дети. У старшей, Марии, с детства были проблемы с ушами. Как только происходило обострение, Маша почти ничего не слышала.

Письма шли в Калноберже каждый день. По всей вероятности, Столыпин каждый день получал ответы. К сожалению, письма его детей и Ольги Борисовны не попали в руки автора по той простой причине, что они отсутствуют в архивных фондах России.

В многочисленных обширных и не всегда досто-

верных публикациях иной раз можно встретить мнение: мол, насколько сильно Столыпин любил свою жену, настолько же она была сдержанна по отношению к своему знаменитому мужу. Это не так, и дальнейшие события, которые развернутся во всей своей грозной силе во время революции 1905 года, станут не лишним подтверждением их необычайно сильной взаимной приязни.

Отрывок из письма от 13 октября 1903 года:

«Душа, как я утешен твоею депешей о том, что Штейн доволен машинами ушами. Если бы была надежда приблизить ее слух к нормальному, то я был бы на верху счастья... Хотя мне это очень тяжело, но думаю, придется послать телеграмму о том, чтобы ты приехала только в субботу. Сегодня понедельник и меня пугает, что не успею вычистить дом... Оличка, как я хочу тебя, и как ты устала, сказка — тебя пригреть и устроить. Ангел ты мой! Целую ручки мамá, люблю, обожаю!»

Отрывок из письма от 14 октября:

«...меня смущает отсутствие телеграммы о том, понадобится ли операция детям? Я до смерти боюсь, что тронут моего Адичку, ведь он так мал, у него все так нежно, что мое сердце обливается кровью при одной мысли, что его могут тронуть. Нервен что-ли я, но я уже решил, что его зарезали, но Господь сжалился надо мною, и сейчас мне подали твою телеграмму о том, что одной Аре (так домашние называли старшую Марию. — В. Х.) нужна операция весной. Слава Богу!

...Душка, сердце бьется, когда думаю что скоро тебя увижу...»

Об их браке впоследствии появилось множество мифов и легенд. Один из них до сих пор кочует из книги в книгу. Дело в том, что Столыпин женился очень рано, еще будучи студентом. Это было не принято. Насколько мне известно, двадцатидвухлетний студент Петр Столыпин был единственным женатым студентом во всем Петербургском университете середины восьмидесятых годов прошлого века. Даже великий русский ученый Д. И. Менделеев, принимавший экзамен у молодого Петра, был поражен его глубокими знаниями, но еще больше тем, что у Столыпина была юная, восемнадцатилетняя жена. Так вот, самая распространенная легенда, не жалея беллетристических красок, повествовала о том, как его старший брат был убит на дуэли и, умирая, завещал свою невесту Петру. Петр, понятное дело, не мог противиться священной просьбе брата. Но сначала решил отомстить убийце, вызвав его на дуэль, на которой и был ранен в руку. Вот откуда у него больная рука... Увы, должен разочаровать всех поклонников этой легенды. Петр Аркадьевич не мог жениться на невесте своего брата по той простой причине, что у него не было старшего брата, — следовательно, никого на дуэли не убивали, а его единственный брат Александр был моложе его, в свое время он стал известным журналистом. С больной рукой все обстояло гораздо прозаичнее. Однажды, когда они были уже женаты, Петр Аркадьевич, большой любитель верховой езды, упал с лошади и серьезно поранил правую руку; кроме того, лошадь запуталась в поводьях, и из-за поврежденной руки Столыпин не смог ее спасти, она задохнулась.

Когда Петр Аркадьевич просил руки Ольги Борисовны, он сказал ее отцу, что, возможно, он очень

молод для брака. На что отец ему ответил по-французски, что да, это серьезный недостаток, но он исправляется с каждым днем. Граф Шереметев оставил скудную запись о своем присутствии на обеде в честь бракосочетания молодых. Он пишет, что обстановка в имении была слишком проста и на стенах совершенно отсутствовали предметы живописи, в залах не наблюдалось скульптур, и тут же с неким чувством превосходства добавляет, что Столыпины никогда в искусстве не разбирались. Ольга Борисовна ему понравилась, но он не преминул отметить, что «невеста слишком бойка». И еще одна деталь. В этот вечер было много виолончельной музыки, которая графа Шереметева «утомила весьма».

Между Петром Аркадьевичем и Ольгой Борисовной сложились такие доверительные и чуткие отношения, что, по всей вероятности, у них не было запретных тем. Перед следующей публикацией необходимо сделать одну оговорку. Безусловно, они не могли предположить в самом кошмарном сне, что их письма станут достоянием незнакомых людей, пусть даже спустя почти столетие после того, как они были написаны. Читая эти письма, ловишь себя на ощущении некоторой неловкости... Однако именно в письмах вдруг открывается человек, совершенно незнакомый для истории, и возможно, его поступки становятся нам более понятными именно после того, как мы ознакомились с его письмами...

«16 октября 1903 года. Саратов.»

Моя милая, безценная, сейчас получил телеграмму, из которой понял, что у тебя аферы. Но боюсь, так-ли я понял? Вдруг что-нибудь серьезное?

Если аферы, то, ради Христа, береги себя очень и лучше останься лишний день в Москве — это так важно, первые аферы после родов, а вагон трясет страшно. Аферы пришли в четверг утром и ты хочешь опять в (неразборчиво. — В. Х.), т. е. через четыре дня, но так, как мне ну хочется страстно тебя видеть, я полагаю, что ты себе навредишь, ведь ты мое сокровище и радость.

А вдруг не аферы? Жду письма с тревогой и волнением.

Полицмейстер и архитектор чуть не скачут от радости, что выигрывают четыре дня.

...А во вторник и в среду... и ласки и любовь с моею кошечкою.

Душка, прикажи купить 3 огромные золотые пуговицы с коронами на ливрею швейцару, тут любят большие, не маленькие.

Сегодня денежный день: 1) от Ципка 1200 р., 2) Миллер сообщает, что покроет окончательно весь свой долг и с % и пришлет квитанцию о взносах этих денег в Ковенское отд. Госуд. Банка. Он пишет очень плохо и видимо ему тяжело без поддержки. 3) Леонид прислал 200 рублей в уплату % и обещает непременно уплатить весь долг. Пишу тебе все это, т. к. знаю, что ты все эти штуки любишь. ...перевел весь долг, всего только 603 рубля. Душа, не покупай *lampe à pétrole*, от нее грязь и копоть, а электричество лучше... (Дело в том, что Ольга Борисовна долго не могла привыкнуть к электричеству. — В. Х.) Теперь у меня работает люстра и горят люстры под свечи и выходит 2 рубля в день.

Твои Гагарины меня одолели: сегодня вся семья со слепым мужем осматривали весь дом, а вечером напросились в театр... так без тебя грустно... Целую, обнимаю, *твой*».

«17 октября 1903 года. Саратов.

Ангел, сегодня от тебя нет письма и я начинаю беспокоиться — может я не так понял телеграмму, и у тебя не аферы, а какая-нибудь болезнь. Сегодня 17-ое, день твоего предполагавшегося приезда и мне грустно, что я один. Если это аферы, то это конечно лучше, так как тут в неустроенном доме ты-бы хуже натрудилась-бы. Ах, ангел, только бы я тебя увидел здоровую.

Тут я все сержусь — мне все кажется, что ничего не подвигается и ничего не будет к твоему приезду готово. Маляры кончают завтра стены, паркетчики кончены, но еще по комнатам проводят звонки, еще не кончены перила у винтовой лестницы. Тоже и электричество еще не везде кончено. Боюсь, что от запаха краски голова у тебя и у детей заболит, а я уже привык, не чувствую.

Вообще я так боюсь, что не понравится тебе, и столько я вложил в этот дом труда и хлопот, что он опротивел мне. Ничего я не умею делать без тебя, все у меня вкривь и вкось. Меня напугал полицмейстер, что зимою страшно дороги коренья (картофель, морковь, свекла и т. п. — *В. Х.*) и овощи, и я велел закупить всего, но конечно не поваришке, а каптенармусу полиции, теперь весь погреб полон и будут завтра еще шинковать капусту — я купил машинку.

Сегодня пришла корова — все для нее было куплено — горшки, ведро, ее доит Елизавета. Повар требует каких-то сковородок и еще чего-то.... Я тут присмотрел одного городского — тихий, непьющий и приличного вида. Не лучше ли его подучить, чем брать балованного и испорченного.

Целую, душка, чем ближе свидание, тем тяжелее разлука. Тоскую по тебе. Но лучше, чтобы еще день в Москве, а не надрывайся.

Люблю, целую ручки мамá».

18 октября Ольга Борисовна с пятью дочерьми и четырехмесячным сыном Адей в сопровождении слуг и огромного багажа приехала в Саратов. Дом ей необыкновенно понравился, и она мягко упрекала мужа за nepозволительную, как ей казалось, роскошь. Петр Аркадьевич весь светился и все показывал и рассказывал, а комнат действительно было много, и так просторно они никогда не жили, даже когда им пришлось через два с половиной года переехать в столицу.

Старшая дочь Столыпиных Мария Петровна, по мужу Бок, в 1953 году в Нью-Йорке издала книгу воспоминаний о своем отце. Вот как она описала свои впечатления от Саратова, едва они туда приехали:

«А сам Саратов. Боже, как он мне не понравился! Кроме счастья видеть папá, все наводило на меня здесь уныние и тоску: улицы, проведенные будто по линейке, маленькие, скучные домики по их сторонам, полное отсутствие зелени, кроме нескольких чахлых липок вокруг собора, Волга оказалась так далеко за городом, что туда и ходить не разрешалось: такой в тех местах проживал темный люд и так много там бывало пьяных. Красива только старая часть города с собором, с типичным гостиным двором с бойкими приказчиками».

Ольга Борисовна сразу включилась в общественные дела, сделавшись членом попечительского совета. Саратовцы были очень удивлены ее энергией, практическим умом и стремлением добиться желаемого. Как будто бы приняли ее в свой круг, но и побаивались, полагая, что она командует мужем, а значит, будет командовать и губернией. Это заблуждение прочно владело умами современников, и даже такой умный человек, как С. Ю. Витте, в своих вос-

поминаниях не преминул отметить, что Столыпин всегда находился под пятой своей властной жены. Со временем мы убедимся, что это далеко не так.

Петр Аркадьевич обожал проводить вечера с женой. Однажды, когда они только поженились, он ей принес подарок, от которого Ольга Борисовна была в восторге. Столыпин преподнес своей юной жене иллюстрированный сборник рассказов И. С. Тургенева «Записки охотника». В русских образованных семьях было хорошей традицией читать полюбившиеся книги вслух. Так они поочередно читали друг другу и «Анну Каренину». Столыпин был студентом еще, и их скромный петербургский дом часто становился подобием литературного салона, где постоянно лидировал Алексей Николаевич Апухтин, чья популярность в середине восьмидесятых несколько поубавилась. Он с удовольствием приходил к молодым супругам, где всегда его ждал необыкновенно богатый стол. Ему было 42 или 43 года, он был невероятно толст, страдал одышкой, но молодые Столыпины обожали его стихи, он их не читал, а говорил нараспев, без всяких знаков препинания, но иногда выделяя слова и строчки, так, что у Ольги Борисовны замирало сердце. Странно, но Столыпин не любил творчества своего дальнего родственника Лермонтова, замечая, что оно разрушительно, что в нем нет идеала. Более всего его возмущал роман «Герой нашего времени», он никак не мог понять, как может человек, сеющий вокруг себя горе и смерть, быть героем своего времени. Ольга Борисовна спорила с ним, объясняя, что это то будущее, через которое мы все, увы, скоро пройдем, что разрушители и ниспровергатели становятся кумирами в обществе и что Лермонтов опередил время по крайней мере на пятьдесят лет. Но Столыпин был не-

преклонен. В этом была отличительная черта его характера. Видя, что точки зрения не совпадают, он прекращал спор, переводя разговор на другой предмет. Однако спустя некоторое время он снова возвращался к своей теме, пытаясь найти более веские аргументы.

Отношения между помещиками и крестьянами в Саратовской губернии были совсем иные, чем в Ковно. Столыпин с удивлением наблюдал смелые споры, которые затевали крестьяне с приказчиками. Он отметил, что трудовой люд здесь был не столь трудолюбив, и еще одно: хозяева стремились за проделанную работу платить меньше, часто обманывали, а крестьяне тоже не оставались в долгу — тащили все, что плохо лежало. Энгельгардт особо не баловал поселки и деревни своими наездами, и потому, когда Столыпин зачастил в самые дальние уголки губернии, этому народ дивился. Возможно, потому в разгар революции, что разразилась через полтора года, Столыпина не трогали. «Боевая организация» эсеров, которой руководили Б. Савинков и провокатор Е. Азеф, сунулась было в Саратовскую губернию, но отступилась...

Глава 2

ВОЛНЕНИЯ

В

1902 году эсерами был убит уфимский губернатор Богданович. В том же году убили министра внутренних дел Сипягина. На его место пришел профессиональный полицейский В. К. Плеве, мастер тайного сыска, одинаково ненавидящий революционеров и евреев. Успешные террористические акты не насторожили ни царя, ни правительство. Пожалуй, никто из властей предержавших не заметил, что левые пытаются разжечь революцию. Собственно, это черта почти любого правителя в России на протяжении веков. За исключением, скажем, Ивана Грозного, Петра и Сталина. Меры начинают принимать, когда слишком поздно. Но была еще одна причина, по которой попытки разжечь революцию оказались незамеченными, — с моей точки зрения, главная. На протяжении почти пяти-

десяти лет обществу делали прививку с помощью насильственных кровавых актов. Начиная с 1866 года, когда двадцатилетний Дмитрий Каракозов совершил неудачное покушение на Александра Второго, почти каждый год происходили убийства высокопоставленных чиновников. Известный народоволец, посредственный писатель Степняк-Кравчинский ударом ножа убил начальника Третьего полицейского отделения Мезенцева и благополучно бежал, скрываясь всю оставшуюся жизнь в Англии, где закончил ужасной смертью, попав под поезд. Убийцы, террористы, экспроприаторы (а попросту говоря, грабители) становились героями в обществе так называемых разночинцев. А прочие просто привыкли к тому, что льется кровь, что убивают губернаторов. И действительно, что такого? В 1881 году убили Александра Второго, «царя-освободителя», избавившего Россию от позорного крепостного права, начавшего глубинные реформы в государстве, но мир не разрушился, земля не разверзлась. Правда, страна была отброшена назад на десятки лет... Произошло самое страшное. Россию приучили к крови. Если можно убить царя, то про его слуг и говорить нечего. Но как известно, малая кровь требует большую. Однако чтобы это понять, понадобились десятилетия и море крови. Впрочем, я забегаю вперед...

Про министра внутренних дел Плеве говорили: «Он великолепный человек в мелких вопросах, но болван в государственных делах». Вот что пишет о нем английский публицист Роберт К. Масси в своей книге «Николай и Александра»:

«Пять миллионов евреев, живших на территории России, были предметом собой ненависти Плеве. Бесконечные преследования и притеснения приве-

ли многих русских евреев в ряды революционных террористов... местной полиции подсказывали закрыть глаза на экстремизм антисемитов. Самый страшный еврейский погром в царствование Николая Второго произошел на Пасху в Кишиневе. Разъяренная толпа устроила погром, в результате которого погибло 44 еврея и было уничтожено 600 домов. Полиция сделала вид, что ничего не видит. И только в конце второго дня были предприняты меры. Этот погром был осужден правительством. Губернатор — уволен, погромщики — схвачены и наказаны. Однако сам Плеве остался у власти. Возмущенный Витте сказал Плеве, что такая политика делает неизбежным его убийство террористами...» Увы, Витте оказался прав.

Еврейские погромы — одна из самых неприятных страниц в русской истории.

Когда слышишь, что «жиды нашего Христа распяли», — все понятно: этот человек ни разу не открывал Библию, не знает ни о происхождении Христа, ни где он родился. Но когда с виду образованные люди, умные, знающие, талантливые, вдруг в буквальном смысле слова теряют рассудок, начиная рассуждать о проблеме евреев в России, и видят все беды российские в евреях, вот здесь берет оторопь. Статистика говорит, что в сегодняшней России евреев осталось чуть меньше миллиона. В перестроечные времена они устремились кто в Израиль, кто в США, кто в Германию, где существует квота по приему на постоянное место жительства евреев из бывшего Советского Союза. Это как бы историческая вина немецкой нации за уничтожение 6 миллионов евреев в годы второй мировой войны. Однако и сегодня находятся такие, кто еще утверждает, что россияне во многом живут плохо

из-за этого оставшегося миллиона. Бог им судья. Однако имеет смысл вернуться, что называется, к истории вопроса.

Вот что пишет доктор исторических наук С. Степанов в своей книге «Загадки убийства Столыпина»:

«Евреи жили в Киеве со времени княжения Ярославичей. В 1113 году взбунтовавшиеся горожане громили дома ростовщиков еврейской национальности. На Киевскую Русь несколько десятков, вряд ли несколько сотен еврейских семей. Основная масса евреев появилась на Украине, когда эти земли перешли под власть Речи Посполитой...»

Екатерина Вторая издала указ, запрещающий жить евреям в больших городах.

Каждый российский царь внес свою лепту в те или иные ограничения жизни евреев на территории Российской империи. Законодательно была установлена черта оседлости евреев. По утверждению С. Степанова, она включала 10 польских, 15 русских, украинских и белорусских губерний. И далее С. Степанов пишет:

«Умение торговать вырабатывалось тысячелетиями. Опыт был накоплен бесчисленными поколениями, прошедшими после второго изгнания по дорогам Римской империи, испанского и французского королевств, герцогств, царств и халифатов Европы и Востока. Добавим, что в аграрной России у евреев по малопонятным государственным соображениям отняли даже теоретическую возможность заниматься хлебопашеством... Но даже привилегированным евреям на каждом шагу приходилось сталкиваться с особым законодательством. Например, на Бибиковском бульваре, где находился дом Богровых, евреям разрешалось жить только на одной стороне, так как бульвар служил границей между двумя районами, в

одном из которых лиц иудейской национальности не прописывали... Недаром говорилось, что российские законы сделали бы жизнь невыносимой, если бы их исполнение не зависело от людей со всеми их слабостями и пороками. Нигде в стране не было столь распространено взяточничество, как в черте оседлости. Некоторые администраторы, даже не отличавшиеся прогрессивными взглядами, предлагали упразднить особое законодательство о евреях, поскольку оно способствовало коррупции низшего и среднего звена государственного аппарата».

Из этой пространной цитаты видно, какая мощная питательная среда была в России для пополнения рядов революционеров. Впрочем, это свойство любой угнетаемой нации или народности. Чем больше ограничений, тем больше стремлений для самореализации. Иногда это приобретает экстремальные формы. Вспомним события нашей новейшей истории. Вспомним позорную войну в Чечне. Не менее позорную — в Афганистане. Про французских королей как-то было сказано: они все помнили и ничему не учились. Похоже, мы тоже не страдаем плохой памятью и тоже ничему не учимся. Что же касается российских евреев, они на протяжении последних ста пятидесяти лет замечательно проявляли себя в трех ипостасях: торговле, искусстве и революции.

Столыпин одним из первых понял, что репрессиями и ограничениями нельзя решить еврейский вопрос. Ему это не составляло труда, ибо он долгое время жил в губернии, где еврейского населения было гораздо больше, чем в других областях России. То же можно сказать о С. Ю. Витте, который долгое время учился, жил и работал в Одессе. Как известно, Александр Третий, отец Николая Второ-

го, был антисемитом. (Известный монархист Василий Витальевич Шульгин возражал против термина «антисемит», справедливо говоря, что арабы тоже семиты.) Как-то Государь Александр Третий спросил Витте:

— Правда ли, что вы стоите за евреев?

Витте спросил изволения Государя задать ему вопрос в ответ на этот. Государь разрешил.

— Можете ли вы, Государь, потопить всех русских евреев в Черном море? Если можете, то я понимаю такое решение еврейского вопроса. Если же нет, то единственное решение еврейского вопроса заключается в том, чтобы дать им возможность жить.

С. Ю. Витте в своих «Воспоминаниях» писал:

«Все законоположения способствовали крайнему революционированию еврейских масс, и в особенности молодежи. Ни одна национальность не дала в России такого процента революционеров, как еврейская... В России никогда не было столько врагов евреев, как ныне (1902 год. — В. Х.), никогда еврейский вопрос не стоял так неблагоприятно для евреев. Такое положение очень тягостно для них и крайне неблагоприятно для России, т. е. для ее успокоения».

Надо также сказать, что со времен Александра Второго притеснение евреев стало частью внутренней политики. Стали издаваться газетенки определенного антиеврейского толка, они субсидировались через министерство внутренних дел. Народу внушалось, что часть бед в России исходит от евреев. Народ верил. Чем ниже уровень культуры, чем меньше образования, тем больше веры в те ужасы, которые исходили якобы от евреев. Это испытанный пропагандистский прием, которым с успехом пользуются

и поныне... У министра внутренних дел Плеве была своя концепция. После того как убили его предшественника Сипягина, Плеве стал лихорадочно искать перелома в революционном настроении масс. По мнению Витте, для этого он провоцировал еврейские погромы, а когда понял, что достигает обратного результата, стал готовить маленькую победоносную войну... В это же время образовались две организации: «Союз русского народа» и так называемая «Черная сотня». «Союз русского народа» горячо приветствовал Николай Второй, ласково принял депутацию и пожертвовал два миллиона рублей на его нужды.

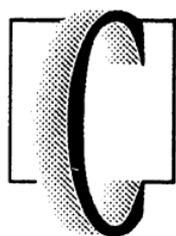
Когда Витте, будучи председателем Совета министров, говорил Государю о погромах, тот или молчал, или отвечал: «Но ведь жида сами виноваты».

В России слово «жид» для еврея звучит обидно, так же как, скажем, в США афроамериканцу сказать «ниггер». В западных районах России, где преобладало польское население, жидами называли всех, кто исповедовал иудаизм, и это было в порядке вещей для тех и других.



Глава 3

МАЛЬЧИК МИТЯ



Семья Богровых имела огромный дом в Киеве на Бибиковском бульваре (ныне бульвар Т. Шевченко). Это был доходный дом, квартиры сдавались внаем. Дом этот Григорий Богров приобрел на деньги, выигранные им в карты в дворянском клубе. Из чего можно сделать вывод, что черта оседлости и всякие ограничения действовали для тех, у кого не было денег. А Григорий Богров располагал капиталом порядка 500 тысяч рублей. Отец Григория был в свое время известным еврейским писателем, писал он на русском языке, так как был выкрестом, то есть принял православие. Его романы о быте и среде еврейской общины пользовались определенной популярностью, и сегодня, несмотря на невероятную скуку подробнейших описаний, являют собой интересное свидетельство жизни евреев на терри-

тории Юго-Западной России в середине прошлого века. Семья Богровых не придерживалась общинных традиций, они жили вполне современной жизнью. Родители дали двум своим сыновьям достойное образование, каждый год ездили за границу. Митя Богров учился в Первой киевской гимназии. Она знаменита тем, что там получили начальное образование два замечательных писателя — К. Паустовский и М. Булгаков.

Вот что пишет старший брат Дмитрия — Владимир в своих воспоминаниях:

«Образование Дм. Богров получил наилучшее, какое было возможно: наряду с посещением гимназии обучался иностранным языкам и занимался самообразованием, составив себе обширную и ценную библиотеку по социальным наукам... Отец, хороший юрист, был долголетним членом киевского дворянского клуба, где он имел возможность встречаться с видными представителями киевской администрации и магистратуры. Благодаря этим знакомствам отцу нередко удавалось выхлопотать смягчение участи и освобождение арестованных или осужденных революционеров. Так как эти услуги оказывались, конечно, бесплатно, то кабинет отца постоянно осаждался ищущими у него помощь. По политическим своим убеждениям отец ближе всего примыкал к левому крылу кадетской партии, хотя официально в нее записан не был...»

Оставим на совести брата эту весьма сомнительную сентенцию. Эти записки были написаны в двадцатых годах, когда не утихали яростные споры на тему: кем же был Дмитрий Богров — революционером или агентом охраны.

Однако другие свидетели утверждают, что к Богровым приходили люди, близкие к эсерам, киевским

коммунистам-анархистам. Богров-старший не принимал участия в спорах молодежи, но вместе с тем смотрел сквозь пальцы на довольно смелые разговоры, которые велись в его доме. Богровы также боялись погромов, их дом тоже подвергался нападению, мать перед знаменитым погромом в октябре 1905 года отправила Митю за границу. Двоюродный брат Мити Сергей Богров был в свое время весьма близок с Лениным. Партийная кличка его была Валентинов. Под этим псевдонимом он написал довольно объемистую книгу о большевике номер один.

Еще находясь в гимназии, в возрасте 15 лет, Митя на себя примерял камуфляж многочисленных партий, какие плодились в Киеве день ото дня. Социал-демократы его не устраивали в первую очередь из-за их патологического стремления к дисциплине. Он еще был маленьким мальчиком, когда понял, что не выносит никаких приказаний.

Был замечен мрачный юмор Дмитрия и желание унижить любого из своих товарищей, кто хоть чем-нибудь выделится из окружения. И еще у него было прямо-таки невероятное стремление к различным мистификациям. Родители полагали, что у него тяга к театральному искусству. В некотором роде они не ошиблись.

Детская советская писательница Б. Прилежаева-Барская, дружившая с Митей в детстве, вспоминала:

«У него было свое увлечение, доходящее до страсти: азартные игры. Для карт, для рулетки он готов был отказаться от поездки по Днепру, от интересной прогулки, от веселой компании. Стоило вытащить из стенного шкапа в передней маленькую рулетку или выбросить колоду карт, как Митя Богров погибал для нас, и уже не было никакой возможности ото-

рвать его от игры... Однажды этот беспечный над всем смеющийся мальчик меня удивил. Ведя знакомство с «подпольными людьми», я хранила у себя нелегальную литературу. Неожиданно пришел приказ препроводить ее в новое место. Воспользовавшись отсутствием домашних, я разложила аккуратными пачками зеленые, красные, белые книжечки, соображая, как разместить их на собственной персоне, чтобы в несколько приемов перетащить все это по указанному адресу.

Неожиданно в передней раздался громкий звонок. Тревожно и сокрушенно я глянула на кровать, стул и пол, где расположились мои книжечки. Но кто бы ни звонил, прятаться было поздно, и я побежала к двери. Передо мной стоял хохочущий Митя Богров с большим чемоданом.

— Испугались? Думали, полиция?

Я была удивлена его появлением, до этих пор он никогда не бывал у меня.

Оказывается, узнав от нашей общей приятельницы о моем затруднении... он решил притти мне на помощь.

Я недоумевающе перевела глаза на чемодан.

— А вы как же думали перетаскивать вашу библиотеку?

— Да очень просто, на себе.

— Ну и «калоша» же вы! Мы заберем все сразу.

Он скинул свое серое гимназическое пальто, и мы вдвоем быстро и деловито начали укладывать брошюры.

— Теперь я возьму извозчика. Мы отправимся на вокзал, дождемся там первого поезда, а оттуда поедем, куда вы скажете.

...Хохоча и дурачась, совершенно забыв об опасности, которой мы подвергались, мы играли в пу-

тешественников, усаживаясь на дребезжащие киевские дрожки. Особенно весело было проезжать мимо стоявшего на углу усатого, наивного городского, не подозревавшего, какой багаж мы везли...»

Весьма интересное свидетельство. Запомним его.

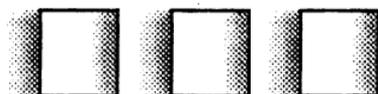
А пока накануне 1905 года киевские подростки играли в революцию.

И еще одна пространная цитата. Она нужна для того, чтобы завершить облик Димы Богрова. Иуда Гроссман (псевдоним Рошин) побывал, кажется, во всех ведущих политических партиях. И отнюдь не на последних ролях. От социал-демократов он переметнулся к анархистам. Потом перешел к большевикам и по поручению Ленина пытался склонить Нестора Махно бороться вместе с красноармейцами против восставшего атамана Григорьева. Гроссман тоже в нежном возрасте общался с Митей:

«Помню его таким: высокого роста, худой, на щеках разлит румянец — но не производит впечатления физического избытка, скорее румянец чахоточного... Губы чуть отвисают, открывая выступающие, чрезмерно длинные передние зубы. Небольшой лоб хорошо сформирован, в лице нет движения. Оно недоуменно застыло... Казалось, что этот человек никогда не знал простой радости, не знал «глупого» счастья, не изведал приступа буйства жизни. В душе была осень, мгла. Был ли Дмитрий Богров романтиком? Нет. В нем жило что-то трезвенное, делическое, запыленно-будничное, как вывеска бакалейной лавочки... Я очень легко себе представляю Богрова подрядчиком по починке больничных крыш, неплохим комми-вояжером шпагатной фабрики... И он бы серо и нудно делал бы нудное дело. Но точно также представляю себе и такой финал: в местной газете, в отделе происшествий, появляется

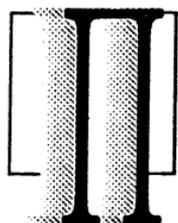
петитом набранная заметка: «В гостинице «Мадрид» покончил самоубийством комми-вояжер шпагатной фабрики Д. Богров. Причины самоубийства неизвестны».

Удивительное дело: большинство воспоминаний о Богрове написаны с теплым сочувствием, даже с любовью. И даже тогда, когда почти не осталось сомнений в том, что он был «слуга двух господ», интонация эта в самых различных публикациях почти не изменилась...



Глава 4

НИКОЛАЙ



Прошло уже семь лет, как Николай Второй был коронован на царство. Россия оставалась огромной сельскохозяйственной державой с отсталым производством. Николай понимал это. Он также понимал, что необходимы перемены. Он был человеком слабохарактерным и, как большинство людей безвольных, упрямым и злопамятным. Вместе с тем его манеры, его стиль общения — умение слушать собеседника, непоказное внимание — все это располагало к нему, и потому в воспоминаниях современников в первые годы правления Николая можно прочесть о нем много лестных слов. Позднее образ Государя стал несколько тускнеть, а в советские времена о нем писали в основном с большой долей сарказма и иронии. Однако в начале семидесятых годов режиссер Элем

Климов в своем фильме «Агония» показал мятушегося человека, глубоко страдающего, возможно оттого, что не в состоянии принимать правильные и мудрые решения, не в состоянии окружать себя умными, энергичными помощниками. В том памятном фильме роль Николая Второго блистательно исполнил Анатолий Ромашин, поразивший всех, помимо прочего, невероятным портретным сходством. В последних же публикациях из Николая Второго сделали чуть ли не страдающего ангела. А он был живым человеком с большим количеством прекрасных человеческих качеств и, увы, малоталантливым правителем. Однако он иногда умел замечать людей энергичных и образованных и пытался их приблизить к себе. Одним из таких людей был Петр Аркадьевич Столыпин. Он произвел огромное впечатление на царя во время их встречи, перед тем как Петр Аркадьевич отправился в Саратов весной 1903 года. Надо сказать, что приязнь была взаимной. Но Государь, как и каждый человек, стоящий на вершине власти, не всегда мог отличить преданных слуг от льстецов, которые все плотнее его обступали. И, не обладая масштабным государственным мышлением, он все чаще совершал поступки, которые имели для России драматические последствия. Еще когда был жив Александр Третий, царевич Николай совершал кругосветное путешествие. В Японии он был несколько дней. Однажды, когда Николай гулял в сопровождении офицера, неожиданно путь ему преградил полицейский с обнаженным мечом, он бросился на Николая и обрушил меч на его голову. Офицер спас царевича от верной смерти, но меч все-таки задел голову Николая, оставив шрам. С тех самых пор Николай ненавидел Япо-

нию и все, что с ней связано. Японцев иначе как «макаками» он не называл. С наступлением XX века Николай стал говорить о завоевательной политике России. Германский император Вильгельм, приходившийся нашему Государю дядей, всячески подталкивал своего племянника на Восток, опасаясь нарастания российского влияния в Европе. Когда они на своих яхтах отдыхали в финских шхерах, Вильгельм встречал Николая сигналами: «Тихоокеанского адмирала приветствует атлантический адмирал». Николаю это льстило.

Медленно, но неумолимо разгоралась революция. Министр финансов С. Ю. Витте предлагал широкомасштабные реформы. Окружение царя считало, что он потворствует революционерам. Постепенно в придворных кругах всё более крепла мысль, что маленькая победоносная война сможет объединить народ на патриотической идее и заодно задушит революцию. Самым яростным проводником этой «затеи» был министр внутренних дел В. К. Плеве.

Надо сказать, что японцы не хотели воевать, более того, они боялись войны с Россией. Японский посол весь декабрь 1903 года безрезультатно добивался аудиенции у Государя. На все его просьбы ответ был один: «Я занят». Наконец приняв посла, Государь ему сказал: «*Japon finira par me fâcher*» («Япония кончит тем, что я рассержусь»). Вильгельм, когда узнал о разговоре Николая с послом Японии, пришел в восторг. В письме племяннику он отметил: «Твое будущее и будущее твоей великой страны на Востоке. На тебе, Ники, лежит священная миссия — спасти христианский мир от желтой опасности».

19 января 1904 года японцы атаковали эскадру на рейде Порт-Артура без объявления войны. С этого дня началась новая эра войн — без объявления. XIX век стремительно уходил в прошлое. Но выяснилось, что у народа нет особого желания воевать за земли, находящиеся от исконной России за десятки тысяч верст. Воевать на таком большом расстоянии от центральной власти российское командование не умело. Уже через несколько дней после начала войны в русской армии начались перебои с продовольствием. Витте, узнав о начале боевых действий, был в ужасе. Он умолял царя найти мирное решение конфликта. Государь был непреклонен, заявив, что через неделю-вторую «макаки» будут разбиты.

П. А. Столыпин был в числе немногих противников этой войны. Но как губернатор он, естественно, делал все, чтобы снаряжать войска. Эшелоны, отправляясь на восток, проходили через Саратов, и он видел тусклые, унылые лица солдатиков, отправлявшихся, по их разумению, непонятно куда.

В начале марта Столыпина вызвали в столицу, губернаторы отчитывались перед царем, что они делали для войны и что предстояло делать.

И каждый раз, когда Петр Аркадьевич разлучался со своей женой, они ежедневно обменивались письмами.

«2 марта 1904 г. С.-Петербург.»

Сегодня сидел полтора часа у Плеве, а в кабинете у него полторы минуты, т. к. он сказал, что желает выслушать меня подробно и назначит особый час... Он спросил меня с улыбкою, какое мое общее впечатление и синекура-ли Саратовская губерния? Затем добавил, что это одна из трудных и запущенных губерний... Все время идет на хождение по де-

партаментам, что никого не застаешь... Получил первое твое открытое (письмо. — В. Х.) и так потянуло домой. Радость моя родная, как я люблю тебя бесконечно, как я счастлив всегда с тобою! *Твой*».

«3 марта.

Душка, благодарю тебя за письма, я так тронут твоею ласкою и сам так люблю тебя... Завтра в 10 ч. утра представляюсь молодой императрице. *Твой*».

Телеграмма из Санкт-Петербурга 4 марта:

«Очень желательно отправить отрядом побольше чая сахара табака свечей особенно мыло этих предметах большая необходимость театре войны Напечатайте газетах просьбу жертвовать я выхлопотал десятый грузовой вагон так что все будет отправлено отрядом *Петр*».

«6 марта 1904 года.

Дорогая обожаемая моя, пишу тебе перед обедом у Штюрмера, который обедает в 8 ч. вечера. Утром я провел в беготне по Гл. штабу и Красному Кресту... потом сидел полтора часа у Плеве, который согласился на все мои предложения, так что я очень доволен. Теперь осталось еще несколько департаментов. Боюсь сказать, но в четверг надеюсь уехать. Мне дали 425 р. прогонных. В понедельник мне в одно и то же время назначен прием у Государя и Владимира Александровича, так что к последнему не попаду.

Поручений еще не исполнил — я прямо замотан и изнурен. Теперь год не покажусь в Питере. Здоровье впрочем отлично... До свиданья, моя дорогая, я мечтаю о тебе и о тихом покое и блаженной жизни с тобою. Теперь скоро, скоро, обнимаю, родная, милая, дорогая. *Твой*».

«8 марта.

Дорогая зазнобушка моя, пишу тебе после завтрака. Утром представляли Государю, который был крайне ласков и разговорчив: говорили про губернию, про пробудившийся патриотизм. Закончил уверенностью, что все в губернии при мне пойдет хорошо.

Душка, мне не хочется писать, а хочется скорее к тебе, так хорошо, светло и радостно у тебя. Целую тебя, ангел мой неподобный, люблю тебя крепко. Храни вас всех Господь. *Твой*».

«9 марта.

Дорогая моя Олюшка, моя прелесть. Пишу тебе последнее письмо, т. к. завтра последний день мой в Петербурге, а в четверг уезжаю, если не случится необычайной задержки, вчера весь день летал по разным министерствам, а утром был у Государя.

...Ангел мой утешитель, вчера не было письма, верно устала после причастья, ничего, нежно целую тебя, я не скучаю, а просто тоскую по тебе, любишь ты меня? Да? *Твой*».

Первая встреча Петра Аркадьевича с молодой императрицей произвела на него двойственное впечатление. Он был тронут, что Александра Федоровна подробно спрашивала о семье. О старшей дочери Марии намекнула, что ее могут назначить фрейлиной двора. Но говорила только она. У нее был резкий голос, слышался сильный немецкий акцент, и Столыпин невольно подумал, что после девяти лет жизни в России она могла бы говорить по-русски лучше. Александра Федоровна словно прочла его мысли, потому что внезапно замолчала и, как ему показалось, бросила на него враждебный взгляд. Она извинилась и ушла.

Столыпин растерянно смотрел вслед и долго еще слышал сердитый шелест ее платья... Однако он ошибся. Он произвел на молодую императрицу очень хорошее впечатление, о чем она вечером сообщила Николаю. Александра Федоровна была на четвертом месяце беременности, и ее постоянно мучили приступы рвоты.

Возможно, это был один из самых счастливых периодов в жизни Николая Второго и Александры Федоровны. Брак их длился почти десять лет. Бывшая принцесса дармштадтская Алиса родила четырех прекрасных, здоровых девочек и весной 1904 года была тяжела в пятый раз. В отличие от большинства династических браков этот брак был на редкость счастливым. Их отношениям посвящены десятки, если не сотни книг. К сожалению, во многих из них можно встретить столько небылиц! Один из самых популярных в свое время беллетристов В. Пикуль в своем романе «Нечистая сила» почти карикатурно описал отношения императорской четы, но и не удержался от соблазна изобразить императрицу как образец распущенности. Не будем по этому поводу метать гневные копыя. Ибо В. Пикуля уже нет с нами, и потому он не может ответить. К тому же, возможно, это был социальный заказ... Итак, брак был счастливым. В одном из своих писем к мужу Александра Федоровна признается, что она полюбила Ники, когда ей было 12 лет. От себя добавим, что царевичу Николаю в то время исполнилось 16. Его родители Александр Третий и мать императрица Мария Федоровна были против этого, как они считали, морганатического брака. Заштатное немецкое княжество Дармштадт — и царевич Николай, наследник престола... Согласитесь, читатель, что величи-

ны несоизмеримые. Но Николай, несмотря на, казалось бы, необычайную мягкость характера, бесконечную любовь к родителям, особенно к папá, которого он буквально боготворил, оказался непреклонен. Получив согласие, Николай тут же приехал к юной балерине Матильде Кшесинской, с которой у него была длительная связь, и попрощался с ней. Свои представления о порядочности Николай продемонстрировал на следующий день после венчания, рассказав Алисе о своих отношениях с Кшесинской. Алиса, будущая императрица Александра Федоровна, проплакав всю ночь, написала мужу письмо, где горячо благодарила его за то, что он ничего от нее не утаивает. Она писала ему, что этот его рассказ, где он раскрыл самые потаенные уголки своей души, — залог их будущего семейного счастья. Она не ошиблась. Матильда же Кшесинская, прожив 99 лет (она скончалась в 1971 году), всю свою долгую жизнь восхищалась мужским благородством Николая.

Николай настоял, чтобы венчание было как можно быстрее. Они повенчались через неделю после кончины Александра Третьего. После того как закончился двенадцатимесячный траур, стали готовиться к коронации. Она, по традиции, состоялась в Москве. Было приглашено огромное количество гостей, не только со всех концов России, но и со всех уголков мира.

Иностранцы были ошеломлены той невероятной роскошью, с которой была обставлена церемония. Они признавались, что никогда не видели такого количества драгоценностей, украшавших шею, плечи, руки придворных дам, а также жен губернаторов и других начальников. Огромная позолоченная карета, ныне занимающая ползала в Эрмитаже,

стоила больше миллиона рублей. Ликующий народ лицезрел в ней счастливую императорскую чету. В честь коронации на окраине Москвы, на Ходынском поле (ныне там находится здание аэровокзала, что неподалеку от метро «Аэропорт»), по распоряжению великого князя Сергея Александровича были устроены народные гуляния, где бесплатно раздавали глиняные кружки, облитые розовой глазурью. В эти кружки наливали дармовое пиво. Мой дед Тит Семенович Хотулёв, двадцатидвухлетний рабочий с ткацкой фабрики подмосковного городка Павловского Посада, тоже прослышал о бесплатном пиве и приехал на Ходынку... (Эта кружка до сих пор стоит на моем письменном столе, я храню в ней ручки, карандаши и всякую канцелярскую мелочь.) Деду в тот ужасный день повезло. Он выбрался живым... Московский люд, узнав о царских щедротах, повалил на Ходынское поле. Все было бы ничего, но дело в том, что там накануне были пехотные маневры и выкопали траншеи, которые по нашей русской безалаберности не успели — или забыли — засыпать. И когда несколько сотен тысяч людей хлынули на это в общем-то небольшое поле, началась давка. Сравнительно небольшой отряд жандармов не в состоянии был сдержать натиск обезумевшей толпы. Погибло в тот день более двух тысяч человек. И здесь Николай совершил первую свою, но, возможно, самую роковую ошибку. Он не отменил бал по случаю коронации. Приглашенные, весь высший свет — все веселились так, будто ничего не произошло. А Москва и окрестности пребывали в трауре. Говорят, что Николай послушался великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы. Его можно понять: затрачены огромные средства,

приглашено столько гостей, и вдруг все это отменить?.. На просвещенных людей России этот бал произвел тягостное впечатление. Был на нем и молодой Столыпин со своей женой. Нет, он не удостоился приглашения, ведь он был тогда ковенским уездным предводителем дворянства. На коронацию он попал исключительно благодаря протекции своего отца Аркадия Дмитриевича, который в тот год был начальником дворцовой службы Кремля. По утверждению сына Петра Аркадьевича Столыпина, Аркадия Петровича, его родители ушли, не дожидаясь окончания бала. Естественно, их уход остался незамеченным. Константин Бальмонт мрачно заметил: «Тот, кто начал с Ходынки, закончит на Голгофе». Русские поэты часто бывают пророками, но, как известно, их ждет участь Кассандры, ибо нет пророков в своем отечестве.

Вот что пишет Р. Масси в своей книге «Николай и Александра»:

«Выражая свое сочувствие и горе по поводу случившегося, Николай и Александра провели целый день, посещая одну больницу за другой. Николай распорядился, чтобы погибших похоронили в индивидуальных гробах за его счет, а не в общей могиле, как это делалось при таких массовых несчастьях. Из своих собственных средств царь заплатил семье каждого пострадавшего тысячу рублей. Но никакие акты сострадания не могли загладить ужасный характер этого события. Для широких слоев русского населения Ходынка стала предзнаменованием того, что новое царство будет несчастливим. Более искушенные и злобные воспользовались трагедией для того, чтобы обвинить самодержавие в жестокости, а молодого царя и его жену-немку в высокомерии и глупости».

...Александре Федоровне было невероятно трудно начинать жить в России. Скажем так: она не готова была к роли молодой императрицы. Для того чтобы стать женой Николая, ей, очень набожной, до экзальтации, пришлось перейти из католицизма в православие. Она всей душой приняла православие, но больше его внешнюю сторону. Отсюда ее мистическое увлечение старцами, кликушами, предсказателями, среди которых, как можно догадаться, было достаточно шарлатанов. Двор ее не принял. Очень скоро она восстановила против себя почти все окружение Государя. Она, чувствуя скрытую враждебность окружения, замыкалась в кругу семьи, всячески протестуя против того, что жизнь царствующей семьи — часть общественной жизни. Я полагаю, что и Николай, скорее всего, подсознательно проникся мыслью, что почти весь окружающий мир враждебен миру его семьи. Особенно это стало заметно после рождения царевича Алексея. Но на то были свои грозные причины.

С началом войны с Японией, с приходом обескураживающих известий о досадных поражениях от «макак», Государь начал понимать, что не все ладно в его окружении, и потому он так тщательно присматривался к своим подданным, когда принимал от них доклады. Молодая императрица рассказала ему о своем впечатлении от Столыпина. И когда утром 8 марта он беседовал с самым молодым губернатором России, он действительно был с ним необычайно ласков, чем совершенно покорила Петра Аркадьевича. Сам Николай был небольшого роста, но ему нравились высокие, крепкого телосложения люди, и при этом он не испытывал никаких комплексов. Он любовался статью саратовского губернатора, хотя полагал,

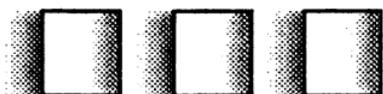
что с усами, длинными и завитыми вверх, Столыпин перемудрил, но отнес это за счет его провинциального вкуса. Во время разговора Николая и Столыпина императрица находилась в соседней комнате и слышала их беседу. Вечером за обедом она сказала своему мужу, что да, он очень мил и энергичен и что таких слуг у Государя должно быть больше, но ее смутило, что у Столыпина не было достаточно почтения к Государю, а это не подобает подданному.

Между тем военные действия на Дальнем Востоке разворачивались совсем не так, как предполагали в России. Японская армия насчитывала чуть более 600 тысяч человек. В России в то время стояло под ружьем около трех миллионов. Однако в сражениях с российской стороны участвовало 80 тысяч, а со стороны японцев — 150. За семь тысяч верст по однокорейной Транссибирской магистрали везли живую силу, пушки, снаряжение. Около южной части Байкала дорога была недостроена, и зимой больше сотни километров все это «хозяйство» перевозили на санях. Положение ухудшалось с каждым днем. Государь писал своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне: «Я угнетен и страдаю оттого, что остаюсь здесь и не могу разделить опасности и лишения, которым подвергается армия. Вчера я спросил дядю Алексея, что он об этом думает. Он считает, что мое присутствие в армии в этой войне необязательно. Но я чувствую себя очень плохо, оставаясь в такое время здесь, а не с армией».

А в российском обществе происходили удивительные метаморфозы. Патриотический порыв бы-

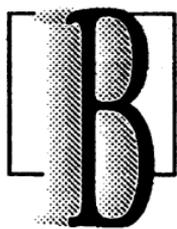
стро схлынул при первых же сообщениях о неудачах русской армии. А через некоторое время почтовые работники стали принимать телеграммы от курсисток и студентов на имя японского микадо с поздравлениями в... успешных операциях против российских войск. Когда Столыпину доложили о подобных телеграммах, он распорядился выявлять отправителей, а телеграммы оставлять без последствий. И лишь крошечная часть общества понимала подлинную сущность этой непопулярной войны.

Американская ежедневная газета «The North American» в начале февраля 1904 года задала Л. Н. Толстому вопрос: «Сочувствуете ли вы России, Японии или никому?» Л. Толстой ответил: «Я ни за Россию, ни за Японию, а за рабочий народ обеих стран, обманутый правительствами и вынужденный воевать против своего благополучия, совести и религии».



Глава 5

СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ



В конце апреля 1904 года пришло сообщение из имения Калноберже. Тяжело заболела мать Ольги Борисовны. Она собрала детей и спешно уехала из Саратова. С ее отъездом Столыпин старался чаще бывать в самых разных уголках губернии и все более убеждался, сколь отсталое, если не сказать примитивное, земледелие в этом, по сути, очень богатом крае. Сколько он ни убеждал помещиков, хозяев огромных земельных угодий, что необходимо по-другому строить отношения с крестьянами, что надо дать им больше самостоятельности, что это принесет больше прибыли, все было бесполезно. Ему согласно кивали — все-таки губернатор, а потом многие вертели пальцем у виска и писали реплики царю. Граф Фредерикс, обергофмейстер двора, аккуратно складывал донесения и ждал удобного случая

доложить. Столыпин хорошо знал начинания министра финансов С. Витте по земельной реформе. Но он также хорошо знал и болезненную реакцию крупных землевладельцев на предложения Витте. Однако в ежегодном всеподданнейшем докладе, который должен был лечь на стол пред государевы очи в начале июля, он твердо решил изложить некоторые вопросы земельной реформы. Главным из них был вопрос о свободном выходе крестьян из общины на отруба, то есть на фермы. Низкая урожайность, недород, вечные долги крестьян своим хозяевам порождали постоянное недовольство, ощущение безвыходности. Одним словом, размышлял Столыпин, очень хорошая почва для бунтов и беспорядков. Военные неудачи только подогревали всеобщее недовольство. Столыпин удивлялся, как этого не понимают в Петербурге. А все было очень просто. Льстивое окружение уверяло Государя в безмерной любви к нему всего русского народа. Надо сказать, Николай часто ездил по России и везде наблюдал такой восторг и энтузиазм, что он ни на мгновение не сомневался в своем народе. Мы знаем о «гениальном» изобретении XVIII века — потемкинских деревнях. Сегодня, на излете XX столетия, это изобретение невероятно усовершенствовалось. Девяносто лет назад оно тоже прекрасно работало на чиновников, которые подчас и являются подлинными хозяевами страны. Не будем лукавить, наш герой тоже принимал участие в строительстве потемкинских деревень. На то он и губернатор. А царь!.. Бедный, доверчивый, недалекий царь! Такое впечатление, что он прозрел только в день отречения, когда записал в своем дневнике: «Кругом обман, измена». Но до этого трагического момента еще целых четырнадцать лет... Взирая из окна сво-

его вагона на толпы принаряженных обывателей, принимая депутации от различных групп населения, он каждый раз убеждался в том, что народ его любит, а министры, позднее и Государственная дума, в лучшем случае пугают, в худшем — обманывают. Александра Федоровна, к несчастью своему, не успела узнать как следует Россию, в отличие от своей свекрови — вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которая, до того, как стать императрицей, семнадцать лет жила в России, будучи замужем за наследником, после убийства Александра Второго в 1881 году ставшим русским царем — Александром Третьим. И потому молодая государыня всячески поддерживала уверенность в своем муже о преданности народа русскому престолу. Николай не хотел никаких серьезных перемен. Он полагал, что, если что-то не ладится, нужно просто заменить человека. И потому начиная с 1904 года в высших правительственных сферах шла невероятная чехарда с перемещениями, назначениями... Столыпин же он всячески защищал. Придворная камарилья уже почувствовала в саратовском губернаторе таящуюся для них опасность, и потому нет-нет да граф Фредерикс иногда утром принесет некоторые донесения на Столыпина. Особенно усердствовал один из самых богатых помещиков губернии князь Львов. Петр Аркадьевич далек был от дворцовых интриг. Ему просто было некогда. Очевидцы говорили, что он работал по восемнадцать часов в сутки. Полагаю, что это неточно. Его день начинался в пять часов утра. Утром он работал над докладом для Государя. Потом принимал чиновников. Потом уезжал в губернию. Вечером читал корреспонденцию, отвечал на письма, прошения. Писал письма. Ложился спать он, как правило, в час-полвторого ночи. Можно

легко подсчитать, сколько продолжался его рабочий день.

Итак, Столыпин без устали работал. В начале мая из Калноберже пришла печальная весть: умерла мать Ольги Борисовны. Но, как известно, беда не приходит одна. Его брат Александр, в то время уже довольно известный московский журналист, приобрел скандальную известность кутежами, картами, сомнительными связями и часто необдуманно написанными статьями, которые, скажем, у Л. Толстого вызывали довольно брезгливое отношение. Александр проигрался так, что возникла угроза описи имущества...

«9 мая, полдень, 1904 год, вагон.

Пишу тебе 2 слова, пользуясь остановкою, чтобы сказать, как я о тебе, бедненькую мою, тоскую. Люблю и обожаю. Тревожусь за тебя денно. Как мне хочется поскорее тебя приласкать, приголубить и пригреть. Целую, люблю, жду, *твой*».

«18 мая, Саратов.

Когда я сегодня вошел в наш дом, счастливый наш дом, мне стало так горько и грустно и я подумал, что мы напрасно себя мучим разставанием — жизнь коротка, а мы в разлуке! Пиши мне почаще письма, солнышко мое, жизнь моя. Как мне хотелось бы теперь, в такое тяжелое для тебя время, быть с тобою, утешать тебя, насколько сумел бы, ласкать тебя. Тут холод и дождь — хорошо для урожая, но как-то еще грустнее.

Саша... невменяем — из-за него таки масса неприятностей и осложнений, а он жалуется, что ему не дают хороших вещей... Братья разумно решили обусловить получение им пенсии от нас обязательством: в Москве он окончательно погибнет. Денежные дела стоят так: Алеша вычислил, что Сашина

одна пятая часть в движимости маме стоит 4600 рублей. И предложил это кредиторам с тем, чтобы они за растрату не сажали Сашу в тюрьму... Слабый человек!

...Оля, Оля, как без тебя пусто и тоскливо. На столе я нашел письмо от тебя, но оказалось, что это еще из Москвы, карандашом писанное и столько в нем скорби. Я боюсь спрашивать про детей. Христос с вами, душка моя. Нежно целую. *Твой*».

«19 мая. Саратов.

Дорогая, безценная — пишу тебе несколько слов в два часа дня, так как вечером не успею — выезжаю в Аткарский уезд, где опять беспорядки. Думаю, что в один день покончу. Там крестьяне обыкновенно тихи и надеюсь обойтись без экзекуции. Скучно постоянно прерывать работу такими случаями.

Вчера написал тебе грустное письмо, прости сразу, как-то дом показался мне так уныл. Теперь с энергиею принялся за работу и надеюсь время пройдет скоро. Люблю, люблю, целую».

«20 мая. Саратов.

Душа, радость моя, хотя двенадцать с половиной ночи, но я пишу два слова, чтобы не оставить тебя без известий. Сейчас вернулся из Аткарского уезда и все благополучно кончил. Вместо одного места пришлось попасть в два, так как накануне моего приезда крестьяне по соседству разобрали самовольно из (неразборчиво. — В. Х.) магазина. Удалось выявить зачинщиков и восстановить порядок: я просто потерял голос от внушений. Мои молодцы казачки сразу внушают известный трепет. Слава Богу, удалось обойтись арестами, без порки.

Теперь, надеюсь, все успокоится. Я так привык к вагону, что странно спать в кровати.

...В столовой до 65 обедов и все хвалят.

Прощай, ненаглядная, что-то в уютном твоём уголке? Как я люблю тебя. Деток и тебя крепко целую. *Твой. Люблю!»*

«21 мая 1904 г.

Напиши, большой ли грех, если я иногда буду посещать оперу в новом театре: тоска, некогда никого видеть, а там хоть в маленьком саду в антракте поговорить с милою душою. Я думаю, что летний театр не нарушит траура.

Забыл сказать, что единственная вещь, которую я взял себе в Москве, это портрет маленького кота в сарафане: такая миленькая, я с такой любовью смотрю на тебя!

...Господи, сохрани вас всех, мне так больно за нашего мальчика (у него в это время болели уши. — В. Х.). Христос с вами. Крепко, крепко целую».

«26 мая.

Как-бы я хотел в письме этом передать тебе ласку любви моей безграничной и вечной. Люби меня, ангел мой...»

«27 мая.

Милая, сейчас получил твоё письмо, в котором ты пишешь, что у тебя пол пальца — сплошная рана. Ведь это ужасно! И как ты пишешь, ведь тебе больно держать перо.

Тоже и про Маню ты пишешь, что она гораздо хуже стала слышать...

А затем должен сознаться, что я просто не могу выдержать своего тюремного заключения, кроме дел и деловых разговоров ничего, удивительный вид этот город, вот уж теплоты никакой.

Целую тебя. Мой ангел, день, когда увижу тебя,

будет таким счастливым днем. Тебе так нужна теперь ласка, так хотелось-бы залечить твое раненое сердце. Я знаю и чувствую, что ты часто теперь грустишь. Милая, целую...»

(На верхней странице этого письма совершенно бытовая приписка: «Где мое походное судно? Я в дороге без него пропаду».)

Читая эти поразительные любовные письма, можно подумать, что отношения Столыпина и его жены всегда были столь безоблачны и ровны. К сожалению, мне не удалось обнаружить писем Ольги Борисовны к мужу, но из того единственного письма, которое попало ко мне в руки, можно сделать вывод, что она была с ним нежна, ласкова и внимательна, впрочем, возможно, в ней не было столько обжигающей страсти, какая переполняла Петра Аркадьевича, когда он говорил или писал жене о любви. Часто мы становимся рабами расхожего штампа: властный сильный государственный человек становится мягким, безвольным, управляемым в своей семье, где верховодит супруга. Этот стереотип был применен и к Столыпину, с легкой (а может, и не очень легкой) руки С. Витте. Это очень хороший прием, если положить себе цель скомпрометировать высшего государственного чиновника, — мимоходом сообщить, что всем заправляет его жена... Однако даже в семейных, имущественных делах, где, по отзывам современников, Ольга Борисовна прекрасно ориентировалась и была очень инициативной, в хорошем смысле этого слова, Столыпин умел твердо поставить на своем, при этом оставаясь супругом, обожающим свою жену. Когда возникла эпистолярная полемика по поводу имения в Чулпановке Там-

бовской губернии, Ольга Борисовна настаивала, чтобы Столыпин как можно скорее туда поехал уладить финансовые вопросы — имение было в запущенном состоянии. Кроме того, по поводу Чулпановки были непростые семейные разногласия: на часть имения претендовал брат Александр, а Ольга Борисовна была категорически против.

«28 мая.

Сегодня, пока еще не кончился длинейший прием, я радостно увидел принесенный мне конверт с почерком моей милой и взял письмо с собою в карету, едуци открывать земское собрание. Но вместо радости письмо сильно меня огорчило, если б ты знала, как горько в одиночестве получать такие письма, ты бы его не посылала. Мне главное больно, что я не желал этого, причинить тебе боль.

Мысль о путешествии в Чулпановку мне противна, а то, что ты пишешь, мне кажется незаслуженным и обидным и несправедливым и в Чулпановку я не поеду.

Впрочем, что единственно мне больно, это то, что ты, моя любимая всей душою, моя любимая не на словах... что ты не довольна и что тебе что либо неприятно и неприятное идет от меня. Мне бы хотелось создать для тебя рай на земле, особенно теперь, когда у тебя такое горе.

...Завтра обедает у меня Павлов. Он рассказывал, что Ламздорфа на улице палкою побил Алексей Долгорукий и что последнего посадили в сумасшедший дом. Он заявил, что бил его за то, что он плохой министр.

...Много шума наделала Сашина статья, что в Москве купцы подписались на японские % бумаги. Его кажется хотят тянуть в суд за клевету.

Вчера был в новом театре. Пели «Пиковую даму», труппа лучше зимней, все почти артисты Имп. театров, но грустно было слушать без тебя эти музыки, которые ты любишь.

Прощай, Оля моя, когда-то увижу тебя?
Любишь ли?»

«29 мая.

Дорогая моя, сегодня получил от тебя ласковое письмо, но меня смущает, что твой палец не заживает...

Сегодня разстроен глупостью, которое сделало земство: не нашли ничего лучшего, как выбрать уполномоченным в общую земскую организацию помощи раненым московского Шипова, которого Плеве только что не утвердил председателем московской управы и который никакого отношения к Саратовской губернии не имеет. Все это разстраивает нервы. Боюсь, как бы завтра в Комитете не начали азаровать. Ты видишь из-за этого, как эти господа стремятся меня дразнить и вывести из терпения. Моя задача, конечно, сохранить полное хладнокровие и думать только о деле.

Сегодня приезжал Касич — я попал к нему с визитом на пароход и там случилась удивительная вещь. Ко мне подходит господин и несвязно что-то говорит. Я думал, что он пьян, но с трудом он объяснил, что он парализован, едет в Пятигорск и увидев меня, желает дать мне 100 рублей на Красный Крест безо всякой расписки, т. к. мне верит. Назвался Александр Петрович Бегичев...»

«31 мая.

Душка моя золотая, несравненная, любимая. Такое ласковое от тебя сегодня письмо, и у меня соловьи на сердце запели. Так много ты пишешь о том,

что Адя теперь довольно потягивается и улыбается. Я счастлив, что драгоценный мальчик не страдает. Смущает меня только Матя, Матя...

...Я пишу тебе измученный между двумя заседаниями... Я счастлив такой жизни, так как в работе забываю тосковать о тебе и детях. Как останусь один, взгляну в окно на Волгу и вспоминаю нашу прогулку на пароходе. Нашу милую жизнь.

Мне приятно слышать от злых саратовцев комплименты на счет моего председательствования, — говорят, что земцы хвалят. Как я веду заседания и самые крайние довольны. Дай Бог, чтобы так пошло дальше.

...Прости, что мало написал, но люблю много, единственная любовь моей жизни, Оля моя».

Столыпин особенно любил эти ночные часы, когда перед сном он писал, ежевечерне, письма в Калноберже. Дом был огромен и пуст. Его кабинет находился на втором этаже в углу дома, напротив в коридоре две двери: в его спальню и в спальню Ольги Борисовны. Он не заходил туда, потому что тоска становилась еще сильнее, когда он слышал едва уловимые запахи, шедшие от одежды его жены, от ее постели, от туалетного столика. Он ночевал в своем кабинете, на огромном и жестком диване, который он запрещал выкидывать, несмотря на требования Ольги Борисовны, справедливо полагавшей, что этот допотопный предмет мебели никак не украшает ни дом, ни тем более губернатора.

Внизу было слышно похрапывание урядника, назначенного для охраны дома. В другом крыле расположился слуга Казимир, в соседней комнате повара.

Он смотрел в черное окно, а ночи здесь были чернильно-черными, не то что в Ковенской губернии, и почему-то рано темнело, хотя июнь только начался. Но даже ночью стояла духота. Столыпин сидел за столом при свете электрической лампочки, которой он очень гордился, в одной рубашке и думал, как ему было тяжело. Не только потому, что был один, без жены, полдюжины детей, наполнявших дом веселым и неповторимым гомоном. Вот уже шестнадцать месяцев прошло, как он губернаторствовал здесь, а почему-то не чувствовал удовлетворения от работы, не понимал, почему все новое, что здесь появляется, правые встречают со снисходительной улыбкой, как будто хотят сказать: мол, погоди, еще обломают тебе крылья; а у левых это вызывает чувство раздражения. Он недавно разрешил издавать газету партии социал-демократов. Первое, что они напечатали, — критику на него. Он хотел было тут же конфисковать номер, да махнул рукой. Подумают, что он напрашивается на панегирики, а раз их нет, ну так вот получайте... А ведь сделано немало. Уже заасфальтировали несколько улиц, и по вечерам мимо его губернаторского дома фланируют саратовские модницы в сопровождении своих кавалеров, проезжают экипажи, уже без того раздражающего дребезжания, открыт приют для престарелых... Он чувствовал, чем больше в городе происходило перемен, тем крикливее становились левые. Многие из них задавали тон в земском собрании. Скорее всего, они агитировали и в уездах. Иначе почему участились беспорядки? В Аткарском уезде его казачки поработали нагайками, но видит Бог, он не виноват в этом. Он битый час разговаривал со сходом, уговаривал, увещевал. А когда из толпы понеслись угрозы пустить всем красного петуха, Столыпин рассвирепел.

— Больше я вас предупреждать не намерен! — сказал, жестко повернулся и пошел сквозь толпу. И увидел направленный на него револьвер.

Столыпин резко остановился и пошел на молодого парня в синей косоворотке и черном картузе. Тот усмехался в свои редкие рыжие усы и смотрел Столыпину прямо в глаза. Столыпин приблизился вплотную, расстегнул китель и тихо произнес:

— Ну, стреляй...

Парень опустил руку с револьвером. Повернулся и стал продираться сквозь толпу... Вот здесь казаки и поработали нагайками да копытами своих лошадей.

Кое-кто из крестьян повалился в ноги. Из толпы послышалось: «Прости, барин, барин, прости нас».

Когда вернулись в город, к нему подошел есаул Квашнин и, заикаясь от волнения, сказал:

— Ваше превосходительство, нонче народец не тот, что при батюшке Александре Третьем. Пальнут за милую душу. Вам бы побереечь себя, а то и мне, неровен час, попадет за вас.

Столыпин хмуρο на него взглянул.

— Он же трус, они все трусливые негодяи, они только из-за угла могут. Вот если бы я испугался, тогда бы он выстрелил.

— А все же поберегите себя. Честь имею. — И он усккал догонять своих казаков.

Неприятный остался осадок после этого разговора. Нет, он не бравировал своей храбростью, как полагали иные из его окружения: мол, таким образом хочет понравиться простонародью. Очевидно, у него остались некие романтические представления о чести, достоинстве, эти представления он перенес из прошлого века, унаследовав от своего отца, че-

ловека абсолютно бесстрашного, в молодости игравшего в «русскую рулетку»... Столыпин разъезжал по уездам Саратовской губернии, и почти всегда ему удавалось мирно говорить с обозленными, взвинченными людьми. Его мощный баритон, высокий рост, борода, над которой выделялись усы, закрученные кверху, его спокойный, рассудительный тон всегда действовали безотказно, возможно, потому, что он хорошо знал психологию крестьянина. Но он также хорошо знал, что живут они здесь намного хуже, чем в Ковенской губернии. Возможно, настал тот период, когда одними разговорами не обойдешься. Обещания же надо выполнять... В тот день он первый раз сорвался, пустил силу в ход, в тот день он понял, что впервые проиграл, и подумал, что впереди его ждет столько насилия, что не приведи Господь... Секретная поздравительная телеграмма от Плеве за усмирение бунта в Аткарске, безусловно, ему была лестна и приятна, но пришло неясное, смутное беспокойство, от которого он уже не мог избавиться, потому полагал, что чем скорее приедет его семья, тем ему будет легче.

Однако летом 1904 года Ольга Борисовна с детьми так и не приехала в Саратов. У Марии опять обострилась болезнь ушей. В июне она стала хуже слышать.

Вскоре от министра внутренних дел В. К. Плеве пришла еще одна секретная телеграмма, в которой он приказывал Столыпину тщательно подготовиться к проезду Государя по Саратовской губернии. Поездка планировалась на конец июня. Николай предполагал произвести смотр войск под Уфой, которые отправлялись к театру военных действий на Дальний Восток.

«2 июня. Саратов.

Оленька, миленькая моя, ненаглядница. Приехал Станевич и отдал мне ключ от коридора и как-то так пахнуло на меня Калнобержею и так захотелось прижать тебя к себе и много с тобою говорить, и видеть тебя, и слышать, теперь уже начало июня... и я стану думать об отъезде.

...Сегодня — уф! — кончился Комитет. Как гора с плеч. Я очень много приложил труда, но без тебя рад был забыться в работе. Все очень меня благодарили за безпристрастие. Это искренно, т. к. ты знаешь, как тут на комплименты скупы и мало любезны... Трудно тут, Олинька, тут надо быть не только администратором, но и ловцом людей, а в этом отношении удача трудно достижима...

Надеюсь на Бога...

Сегодня первый свободный вечер с возвращения из Калноберже, наконец, принял ванну.

...Милая, я так и знал, что ты оперу за грех не считаешь (траур по матери Ольги Борисовны еще продолжался. — В. Х.), но несмотря на то, что она очень хороша, положительно нет времени».

«4 июня.

Олинька, милая моя, ангелочек, так мне что-то хочется тебя приголубить, приласкать, далекая ты моя, родная, чистая. Тебе верно теперь очень грустно перед отъездом Мати и я часто думаю и о тебе и о ней, милой нашей девочке. После выздоровления от простуды лучше ли она стала слышать?

Сейчас получил от Миши телеграмму, просит перевести в Москву к 9 числу 4500 р. Это для отсутствующего Сашиным кредиторам, чтобы снять опись с вещей.

Слава Богу, если это удастся. Я не понимаю, за

что ты должна еще Мими 22 руб. 75 копеек, т. к. он от меня принял 50 рублей, для округления суммы, которую он нам должен...

...Душа, крепко тебя целую, а люблю без меры. Олечка моя, девочка.

...И как ты думаешь, что я *на тебя* сержусь, быть огорченным не значит быть сердитым, а теперь и огорчения никакого нет. Твои теплые письма меня чаруют: кроме тебя и вне тебя для меня ничего нет и весь мой мир в тебе. Завтра уезжаю и сегодня сразу сделалось тепло, а то я все спал под теплым одеялом и теплым халатом.

...Вчера пробыл весь день дома. В десять с половиной вечера пошел пешком в театр и застал первое действие Русалки».

«16 июня.

Ангел мой нежный, я сейчас перечитывал все твои письма, полученные за время моего отсутствия в Царицыне. Такое у меня умиление, такая нежная к тебе любовь. Так мне больно, что у тебя позвонки болят и в руку стреляет и не нравится, что ты нас причисляешь к патриархам и грозишь близостью могилы. Все придет в свое время, я хочу, чтобы мы с приятностью, поставив всех детей на ноги и самого крошку Адиньку, увидеть уже сложившимся, хорошим человеком. А пока безпокоюсь, почему это он отказывается от всякой пищи, кроме молочной, и не ползает еще.

...Вчера приехал раньше и так как никаких бумаг не было приготовлено, то попал на последний спектакль оперы. Давали четвертый акт Гугенотов и пели очень хорошо (все артисты Имп. Театров). Я все время думал о тебе. Какое счастье быть вблизи от тебя! Какой рай будет в августе.

Между прочим сегодня я получил секретное письмо от Плеве, в котором он в самых лестных выражениях благодарит меня за восстановление быстрого и энергичное порядка в Аткарском уезде.

Люблю свою голубку, целую радость мою».

«19 июня.

...ты пишешь про свой сон. Но душа твоя не готова для смерти, а шесть маленьких душ на твоём попечении и заботе, чтобы души эти не погасли. А маленький душенька со своими башмачками меня приводит в восторг. Но он растёт, и мне хочется ещё одного, совсем маленького!

Котинька, меня осаждают бедные, и я не умею в них разобраться, это ваш департамент.

...Около 6 или 7 августа буду в ваших объятиях. Пробуду с вами месяц, а затем вам больше месяца нельзя будет остаться, чтобы до холода приехать в Саратов числа к 10 октября. Это уже короткая разлука, так что в начале августа конец моим страданиям...»

«20 июня.

Олинька, моя хорошая, здравствуй. Мне без тебя так тяжело и временами тоскливо ужасно. Вчера как-то вечер был такой тяжелый перед грозой, я пошел гулять в парк — ни души знакомой. Только из-за каждого куста вытягиваются городовые и пристава. Отвращение — потом приехал полицмейстер и я с ним пил там чай.

Христос с тобою, дорогая, милая. Люблю...»

«21 июня.

Милая, дорогая, безценная, обожаемая, ты такие ласковые милые письма пишешь. Когда я их читаю, то чувствую приливы глубокой любви. Счастлива ли

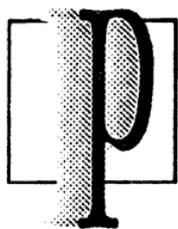
твоя жизнь. Так хотелось бы тебе сделать рай на земле. А вот сегодня ты грустна и наверное плакала, так как уехала наше сокровище Матя. Пошли Господь ей улучшение. Неужели ничего нельзя сделать для ее уха.

...Сегодня вышлю тебе 4 фунта шоколада от Мана, только что им полученного из Швейцарии. Кушай на здоровье, ты его любишь».



Глава 6

НОВАЯ ВСТРЕЧА С ГОСУДАРЕМ



русско-японская война продолжалась. И совсем не так, как этого хотелось Николаю. В апреле на минах подрвался флагман русского тихоокеанского флота «Петропавловск». Погиб командующий флотом выдающийся адмирал Макаров и с ним более семисот матросов. Россия была потрясена. Японцы перенесли военные действия на берег. Они высадились в Корею и наголову разбили пять сибирских полков. Началось их движение на север, в Маньчжурию. Другая японская армия начала осаду Порт-Артура. В этой ситуации по всей России срочно формировали новые полки. Царь решил их сам инспектировать. В конце июня вместе со своим дядей великим князем Сергеем Александровичем отправился в поездку из Санкт-Петербурга до Уфы.

На всем пути делал остановки. Принимая парады у войск, он видел их воодушевление и все более убеждался, что неприлично затянувшаяся война скоро придет к своему логическому завершению. Ведь народ, обожающий царя, Божьего помазанника, обязательно разгромит этих «макак». Так думал Государь, глядя на свои доблестные войска, и не всегда мог сдерживать слезы от волнения. В этом смысле он был очень эмоциональным человеком. На протяжении всей его поездки во время коротких остановок поезда, на маленьких и больших станциях были встречи. Их организовывали губернаторы тех губерний, через которые проезжал Государь. Народ валом валил. Ибо когда еще представится возможность взглянуть на живого царя-батюшку. Депутации, взволнованные речи, представители от разных слоев общества...

В своем дневнике в понедельник 28 июня Николай записал:

«В Кузнецке была встреча от Саратовской губ.».

К этой встрече Столыпин и его помощники лихорадочно готовились почти месяц. Петр Аркадьевич замечательно рассказывает о них в своих письмах к жене.

«27 июня 1904 года. Кузнецк.»

Безценный ангел, ты, конечно, не удивляешься, что пишу тебе короткие письма, но тут из-за 10 минут остановки — сцена неопишуемая! Все хотят видеть царя и одолевают меня. Хотя допускаются только депутации, но как отказывать людям, которые никогда Государя в жизни не увидят? Тут город старообрядцев и патриотов и они вне себя от радости, что на долю Кузнецка выпало счастье видеть царя. Начальство не хотело было допустить декорировать станцию, но им сообщили, что я приказал

построить павильон. Хотели депутаты поставить в грязном багажном здании. Одно обидно — эти ежедневные дожди, которые все могут испортить.

...Я поставил условие, чтобы ввиду войны, все было как можно скромнее. А вечером любительский спектакль местного драматического кружка. Дамы очень волнуются туалетами для представления. Думают, что нужно быть исключительно в белом и очень рады были, когда я сказал, что можно вообще в светлых платьях.

Так грустно быть далеко от тебя.

Христос с тобою, любовь моя безценная. Люблю тебя».

«28 июня.

Дуду милая, только что проводил Государя и усталый пишу тебе. Все обошлось прекрасно, но сколько для этих 10 минут тревоги и приготовлений. Во-первых управление железной дороги насколько могло мешало нам: не хотели строить павильон и хотели запретить строить городу. Тут я сказал крепкое слово и насильно велел строить павильон, который вышел отличный. А железнодорожники даже метлы не хотели дать, чтобы подмести. Потом весь город хотел быть на вокзале и меня осаждали с утра. Я выставил вдоль всего дебаркадера 400 человек школьников всех городских школ и девочек женской гимназии. Дети были с флагами. Говорили речи... но лучше всех сказал волостной старшина, которому я велел самому придумать слово. Он сказал: «Прими, Ваше Величество, хлеб-соль от своих крестьян, не тужи, Царь-Батюшка, мы все за тебя». Подошла т-те Билетова, которая много работает для Красного Креста и которую я особенно рекомендовал, так что Государь подал ей руку и долго

расспрашивал и сказал, что доложит своей матушке о деятельности Кузнецкого Красного Креста.

...Кажется, мысль поставить школьников имела успех, так как Государь по моей просьбе... обошел, разговаривал со многими учителями, сказал мне, что я отлично сделал, что разрешил им встретить Его. Он среди крестьян узнал одного бывшего семеновца-конвойного, сказал, что помнит, что ходил с ним на съемку, но что он тогда был без бороды. Крестьяне в восторге.

Вообще кажется все хорошо. И государь был видимо доволен.

Люблю, обожаю, *твой*».

«29 июня. Кузнецк.

Дорогой ангел, сейчас отстоял обедню, а затем пришла депутация от города — принесли громадный именинный пирог. (В этот день у П. А. Столыпина были именины. — В. Х.) Все еще восторг от проезда Государя не прошел. Народ стоит на несколько верст по пути и кричит ура, а Государь у окна кланялся. Сегодня обед от города. Я просил самый скромный, но они просили разрешить музыку и я разрешил, так как будем пить за царя. О том, что монархические чувства тут сильны, можно судить по тому, что г-жа Билетова после рукопожатия Государя сейчас же надела перчатку, чтобы как можно дольше не мыть руку. А к жене предводителя подошли студенты, прося поцеловать руку, которую пожал Государь. Если бы Государь проезжал даже по Балашовскому уезду (самый беспокойный уезд в Саратовской губернии. — В. Х.) он увидел бы, что народ в огромном большинстве царелюбив и самоотверженно предан.

...Я так тебя нежно люблю. Так к тебе тянет.

...Сегодня уже несколько поздравительных теле-

грамм из Саратова. Не успеваю только со всеподданнейшим отчетом... Целую тебя, моя доброта и любовь. Скоро теперь будет счастье увидеть тебя».

«30 июня.

Дудуня моя, ненаглядная, должен тебе признаться, что Кузнецк (неразборчиво. — В. Х.), несмотря на радушие и приветливость жителей. Но сидеть тут целую неделю, потеря времени для того, чтобы при обратном проезде простоять на пустой платформе 10 минут и никого не видеть, т. к. Государь будет уже наверное отдыхать, это точно. А в Саратове накапливаются дела, боюсь, что и поездка моя по губернии не успеется и все спутается. Тут не успеваешь заниматься, все просят осматривать разные учреждения, кое-что надо кстати и поревизовать — так день и проходит. Вчера в мою честь обед (36 человек). Потом спектакль, ложу мою украсили коврами и перед спектаклем играли гимн и шумно требовали три раза повторения. Любители играют недурно, только уж драма больно страшная.

...Надоело мне также ежедневное шампанское. Два дня меня кормил предводитель, сегодня хочу их пригласить в клуб в саду, а то неловко все на шермака.

Ты не пишешь, как Адина экзема? Неужели не пропала. Когда же этот кругленький начнет ползать? Он кажется лентяюшка ужасный. По-моему отнимать его рано.

...Сейчас пойду посмотреть вольно-наемную команду, потом винный склад, тюрьму, потом полицейское управление, потом два визита, потом обедать, а затем вечер надеюсь спокойно просидеть за всеподданнейшим отчетом. Завтра в девять с половиной проезжает Государь, в 12 ночи и я надеюсь выехать, а в пятницу вечером буду наконец дома.

Христос с тобою, моя Олинька, жди меня, скоро приеду. Голубка, храни тебя Господь, не унывай. Люблю тебя».

«2 июля.

Душик мой, Олинька, сегодня вернулся из Кузнецка и нашел три вкуснейших твоих письма. Приехал я на несколько часов раньше, чем думал, так как в Кузнецке неожиданно мне было приказано сесть в Царский поезд, так как Государю угодно меня принять. Эффект на станции был полный. И Бревер и Казимир были в упоении. Казимир всю ночь бродил по городу, а Бревер похудел от счастья.

...Он меня принял одного в своем кабинете и я никогда не видел его таким разговорчивым — он меня обворожил своею ласкою. Расспрашивал про крестьян, про земельный вопрос. Обращался ко мне, например, так: «Ответьте мне, Столыпин, совершенно откровенно». Поездкою своею он очень доволен и сказал: «Когда видишь народ и эту мощь, то чувствуешь силу России».

В заключение Государь мне сказал: «Вы помните, когда я Вас отправил в Саратовскую губернию, то сказал, что даю Вам эту губернию поправить, а теперь говорю — продолжайте действовать также твердо, разумно и спокойно, как до сего времени». Затем совершенно серьезно он обещал мне приехать в Саратовскую губернию и в Балашовский уезд (!!). Он отлично помнил, что старшина сказал ему: «Не тужи, батюшка».

Вообще аудиенция мне будет настолько-же памятна, насколько была неожиданна.

В Кузнецке я должен был сняться с дамами Красного Креста, а предводительша поднесла мне маленький золотой жетон в память памятных дней.

Был для меня и букет, но когда узнали, что я иду к Царю, просили отдать Царю. Я через графа Гейдена водворил букет в салон Царя и я послал об этом телеграмму в Кузнецк.

...Тут 21 поздравительная телеграмма к 29-му и милое письмо от моей милой девочки Мати.

Прошай, сладкая моя, люблю тебя и хочу к тебе».

Эта незапланированная встреча с Государем самым кардинальным образом повлияла в дальнейшем на судьбу Столыпина. Надо сказать, что и саратовские чиновники были поражены приглашением их губернатора в царский поезд. Разговор в царском вагоне был действительно очень долгий. Столыпин впервые сидел так близко от царя и потом рассказывал Ольге Борисовне, какие у него необыкновенные глаза, — глаза газели, которые он наследовал от матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Император предложил Столыпину папиросу из своего скромного портсигара. Столыпин чуть смутился, а Государь, захлопнув крышку портсигара, улыбнулся и сказал:

— Извините, я забыл, что вы не курите. А я все никак не могу бросить. Хотя, должен признаться, обожаю иногда выкурить, знаете, нервы успокаивает, правда, молодая императрица не выносит табачного дыма...

Этот почти домашний разговор, внимание царя и его простота и любезность совершенно очаровали Столыпина, он успокоился и потому уже не думал, как ему лучше ответить и выгоднее выглядеть.

— У меня не много таких губернаторов, Столыпин, — произнес царь, разглядывая черное окно и иногда бросая на него быстрые, пытливые и, как

показалось Столыпину, несколько смущенные взгляды. — В столицах навести порядок — дело немудреное. Здесь мы все горазды... А вот в губерниях, на окраинах... Будет там народу хорошо жить, значит — и России будет хорошо. Что вы скажете, Столыпин?

— Я имел счастье написать во всеподданнейшем докладе, Ваше Величество, примерно то же, о чем вы сейчас изволили говорить. Будет процветать провинция, Россия наша станет еще богаче и сильнее. А крестьянин должен работать на земле не из-под палки, а любить землю-матушку. Это самый главный вопрос.

— Да... Мне Витте тоже об этом говорил. Особенность России в том, Петр Аркадьевич, — Государь впервые назвал Столыпина по имени-отчеству, и у Столыпина от волнения ладони стали влажными, — чтобы перемены делать не торопясь. Наш народ не любит новшеств, особенно если их ему навязывают. Я понимаю, вам хочется перемен и чтоб они были сразу, чтобы можно было уже пользоваться плодами. Так не бывает. Вот скоро война кончится, там и займемся земельным вопросом. Я непременно внимательно прочту ваш доклад. Как вы полагаете, Столыпин, к весне покончим с «макаками»?

Столыпина неприятно поразило это «с «макаками», и, возможно, он чуть суше, чем следовало, ответил:

— Если Ваше Величество позволит, я скажу то, что думаю.

Император удивленно вскинул на него брови, отставив далеко папиросу:

— Никак иначе, Петр Аркадьевич. Я в Царском столько всего слушаю, что голова идет кругом, где правда, а где лесть... Престолу необходимы такие люди, как вы.

— Благодарю вас, Ваше Величество. В народе

сейчас мало наблюдается такое патриотическое настроение, какое было в Отечественной войне. Эти земли, арендованные, слишком далеки от России. Мужик не всегда понимает, зачем он должен умирать за тридевять земель, какая ему с того выгода.

— Да, пожалуй, вы правы, — быстро ответил Николай и поднялся. Столыпин тоже встал. — Плохо работают наши газеты, левые агитаторы, я слышал, уже проникли в наши войска на Дальнем Востоке. Я отдал приказ: при обнаружении вешать без суда и следствия. Вы тоже виноваты, Столыпин. Отправляете войска на фронт — старайтесь убедительно говорить, за что они будут воевать. А воевать и погибать они должны за Отечество, за Бога и за Царя. Поймите, дело не во мне. Россия — венценосная страна. Идеи для народа должны быть четкими и понятными. Наше государство — это государство монархии и православия. Ни у одной страны мира нет такой прочной основы, как в нашей огромной стране. Бог, Царь и Отечество — только это может объединить наш народ и всех инородцев России. А война скоро кончится, помяните мое слово. Ну, ступайте, голубчик. Мне очень приятно и интересно было с вами разговаривать, Столыпин. Держите губернию в упокоении и думайте о будущем.

Столыпин вышел из царского вагона. Государь смотрел ему вслед, смотрел на его огромную прямую спину, и почему-то ему показалось, что своей спиной саратовский губернатор выражал несогласие. А сейчас, между прочим, он, Государь, очень хорошо говорил, очень убедительно. И как он мог говорить по-другому, когда на всем пути следования его от Санкт-Петербурга до Уфы и обратно он видел такое выражение любви к нему, к отечеству. У Николая не было ни минуты сомнения, что очень скоро война победоносно закончится.

...По возвращении в Царское Николай подробно рассказал о своей поездке матери. Помимо смотров войск и парадов, какие Николай просто обожал, на него произвело большое впечатление, как организовал встречу саратовский губернатор, особенно его тронули приветствия детей. Раньше во время встреч ничего подобного не было. Затем он поведал вдовствующей императрице о своем долгом разговоре со Столыпиным и посмеялся его пессимизму. Мария Федоровна ответила:

— Боюсь, что ты заблуждаешься, Ники. Теперь я понимаю, это было ошибкой. Нам не хватило года. Ты слишком рано начал с ними войну. У тебя, Ники, плохая разведка. Никто тебе не сказал, что япошки хорошо подготовились. Ты, увы, слишком доверяешь своим помощникам и слишком слушаешь молодую императрицу. Прости меня, Ники.

— Аликс здесь ни при чем, мамá. Ты прекрасно знаешь, как она чувствует себя.

Мария Федоровна поднялась с кресла, выпрямилась, она была небольшого роста, но сейчас сыну показалось, что вдруг стала выше. Она подошла к нему совсем близко и взяла его за руку:

— У тебя скоро родится сын, Ники. Ты должен быть к этому готов.

Николай припал к ее руке, она почувствовала, как из его глаз полились слезы.

— Довольно, довольно. Будь хорошим мальчиком, слушай свое сердце, будь достойным своего отца.

— Я стараюсь, мамá, я стараюсь... Я так хочу сына. Ты правда веришь, что у нас будет сын?

— Я так же отвратительно себя чувствовала, перед тем как родился ты. Аликс довольно легко приносила тебе девочек, теперь пусть помучается, — чуть жестче, чем следовало, произнесла Мария Фе-

доровна. — Наследники не даются легко. Ты объясни ей это.

В августе родился царевич Алексей. Наследник. Это знаменательное событие впоследствии самым неожиданным и роковым образом решительно повлияет на судьбу России. Столыпин втайне сравнивал судьбу императорской четы и свою жизнь. У Государя появился сын после четырех дочерей, у Столыпина — после пяти... Саратовский губернатор видел в этом некий тайный смысл, который он не смог бы объяснить.

Роды у Александры Федоровны были трудными. Однако мальчик родился крупным, с довольно длинными светлыми волосами и огромными глазами. Их цвет нельзя было определить, как известно, он устанавливается лишь через несколько месяцев после появления на свет. Но врачи сразу определили, что наследник — здоровый ребенок с хорошей реакцией на окружающее. Через три недели после рождения у Алексея неожиданно пошла кровь из еще не зажившей пуповины. Вызвали врача. Он оказался бессилён. Бинты и марлевые повязки быстро становились темными от крови. Врачи были в полной растерянности.

Первой, кого осенила страшная догадка, была молодая императрица Александра Федоровна. Гемофилия... Болезнь несвертываемости крови. Болезнь, ставшая известной где-то с середины XIX века, которая почему-то часто проявлялась у королевских отпрысков. Сегодня, с высоты достижений современной науки, можно объяснить эту страшную и до сих пор во многом необъяснимую болезнь сбоем в генокоде, который, очевидно, произошел оттого, что королевские отпрыски женились и выходили замуж за близких родственников на протяжении многих поколений. Вот природа и взбунтовалась. Носитель-

ницей этой болезни была английская королева Виктория, бабушка Аликс. Эта болезнь в высшей степени вела себя избирательно. Ее носителями были исключительно женщины, однако поражала она своей неумолимостью только мужчин. Вне всякого сомнения, Александра Федоровна знала о наследственной болезни, но она не могла знать ее особенностей. И потому, когда одна за другой у нее родились четыре здоровые красивые девочки, она вправе была полагать, что Господь милостив... Статистика конца прошлого века бесстрастно фиксировала, что больной гемофилией появляется у одного из десяти тысяч. Десятитысячным оказался наследник российского престола царевич Алексей. Это было страшным потрясением для царской семьи, решено было хранить в строжайшей тайне заболевание царевича. Очевидно, поэтому на протяжении оставшихся 14 лет до октябрьского вооруженного переворота в народе ходили самые невероятные слухи о болезни Алексея. А правду знал только узкий круг приближенных. Самое печальное заключалось в том, что трагедия царской семьи в результате стала трагедией России.



Глава 7

ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ МИРНОЙ ЖИЗНИ

етр Аркадьевич, как и обыватели Кузнецка и окрестностей, долгое время находился под впечатлением встречи с Государем. Столыпин никак не ожидал, что царь пригласит его для беседы в свой вагон. Он долго размышлял над их разговором и так и не понял, в чем был его смысл. Более всего его удивила неколебимая уверенность царя в скорой победе в войне с Японией. То, как проходила война, как она снабжалась, какие бездарные ошибки совершали генералы, не забывавшие о роскоши даже в боевых походных условиях, — все это отнюдь не предвещало скорой победы. Но Столыпин подумал, что, возможно, Государь знает то, что неведомо ему, саратовскому губернатору, который не так часто бывает в столице. На том и успокоился. Когда он выступал перед полками, отправ-

лявшимися на Дальний Восток, он тоже говорил, что победа не за горами и что осенью он их будет встречать «со щитом». Ему верили.

Да и как было не верить, когда его сам Государь император пригласил в свой вагон и беседовал с ним почти два часа. Отношение к Столыпину изменилось, весть о том, что с ним ласково беседовал царь, быстро облетела всю губернию, и крестьяне просили рассказать о встрече, когда он приезжал в уезды. Земские тоже поутихли. Столыпин заметил, что в общении стало больше подобострастия, особенно среди ближайших подчиненных, и ему это было неприятно. Но были и положительные результаты. Работать стало легче. Проще, что ли. Что бы он ни попросил, все быстро выполнялось, без кивания на трудности да невозможности. Столыпин грустно посмеивался, но при удобном случае любил ссылаться на разговор с Государем, и ему внимали. Да, он был честолюбивым человеком, и любая похвала в его адрес не оставалась им не замеченной. Более того, он всякий раз о ней вспоминал — или в письме к жене, или же в беседе. Ольга Борисовна понимала, что приглашение в царский вагон — дело не случайное. Неясно было одно: сам ли Государь надумал пригласить ее мужа или кто его надоумил. Впрочем, это было не так важно. Ясно для нее было одно — ее мужа ожидает повышение. Она полагала, что это произойдет осенью, и потому не торопилась приехать в Саратов.

«4 июля 1904 года. Саратов.

Душа, если я Тебе коротко пишу, то виною Булгак, которая пришла в 5,5 часов, обедала и только что ушла, а теперь 9 ч. Говорила, говорила без конца. А в 10 ч. придет архиерей, опять жаловаться на купцов — на него гонения.

Как это ты говоришь, что я считаю тебя попрошайкою. Я сам попрошайка твоей любви.

Душа, я думаю довольно одно платье и блузу. Я так люблю, когда ты нарядна и красива.

Завтра переводом пошлю тебе 200 руб. Сегодня кончил всеподдан. Отчет.

...Прощай, душа. Писать не хочется, а хочется тебя. Люблю. Люблю».

«5 июля.

Олинька моя, чудная Олинька.

Надоело писать, а хочется прижать тебя к своему сердцу и чувствовать биение твоего сердца. Да и писать «нет когда».

«6 июля.

...Я посылаю тебе по почте мой большой портрет, подписанный мне фотографом. Так как он не принял денег, то пришлось заказать еще 3.

...Целую тебя, обожание мое, всегда как-то тревожно без известий. Люблю».

«10 июля.

Ненаглядница, пишу тебе в час ночи, так как чувствую, что завтра не будет ни минуты свободной.

...Ревизия идет гладко, но неприятно то, что Казимир явился в Царевщину совершенно пьяный, начал шуметь и ругаться и был момент, что Нессельроде хотел его выгнать вон из дому. Это все мне рассказал Саша (брат П. А., гостивший у него в начале июля. — В. Х.). Я на Казимира страшно взбесился и объявил ему, что по прибытии в Саратов, увольняю его.

Устал, душа, хочу спать.

Целую и нежно благословляю твое драгоценное имя, моя обожаемая. Твой».

«11 июля.

Родная голубка, сегодня ложусь спать с мыслью о тебе, моей драгоценной имениннице... Драгоценная, приближается час свидания, все мое стремление — к тебе.

...В 8 часов обедали и пили за здоровье Ольги Борисовны.

Завтра ночуем у Бекетовой — ты ее знаешь. Она говорит ужасно много скучным немецким голосом.

...Целую, золотая ты моя. Люблю».

«Боевая организация» эсеров, во главе которой стояли Борис Савинков и Евно Азеф, готовила сразу несколько так называемых центральных актов. В числе предполагаемых их жертв были: министр внутренних дел Плеве, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович — дядя Николая Второго военный прокурор Павлов. Столыпина в их списке не было. Очевидно, они полагали, что саратовский губернатор еще недорос до покушения на него.

Начальник департамента полиции А. Лопухин, гимназический товарищ Столыпина, очень не любил тайный сыск, так называемых провокаторов, считая их двуличными существами. Но полиция настолько вошла во вкус их услуг, что уже не мыслила своей работы без возможности внедрения своего человека в ряды революционеров разных мастей. Надо сказать, что она в этом преуспела. Изучая документы архивов, с изумлением читаешь донесения агентов с тайных собраний и сходок чуть ли не всех известных в России политических партий. Надо сказать, что и революционеры тоже не теряли времени даром. Им удавалось внедрить в охранку своих людей. Таким образом, полицейский сыск, революционеры и охранка были тесно перепле-

тены между собой и находились в причудливой, подчас необъяснимой зависимости друг от друга, когда трудно было определить, кто на кого работает.

Лопухина считали в департаменте полиции чужаком и посмеивались над его брезгливостью, когда речь шла о тайных осведомителях. Он был сугубо человеком прошлого, XIX века, со своими представлениями о морали. Он не видел, не чувствовал, что борьба за власть обостряется и что левые пойдут на все, лишь бы приблизить Россию к массовым беспорядкам. Что они и делали. В начале века, пожалуй, самой жестокой, если не сказать, самой кровавой группой среди левых была «Боевая организация» эсеров. Она не подчинялась их центральному комитету, а только сообщала о покушениях и «эксах». То есть об экспроприациях. Зачастую БО, как они себя сокращенно именовали, сама доставала деньги на подготовку того или иного убийства. Иногда эти деньги были из так называемого «рептильного фонда» департамента полиции, который находился на Фонтанке, 16. По замыслу сыщиков, всех террористов, участвующих в том или ином акте, необходимо было брать на месте покушения, но до совершения его. Не всегда это получалось, ибо хорошо работали осведомители из департамента, сообщавшие террористам о планах охраны.

Евно Азеф, член ЦК партии эсеров, руководитель «Боевой организации», ближайший друг Бориса Савинкова, который его боготворил, в свои тридцать четыре года был самым ценным и самым дорогим агентом охраны. Он получал до тысячи рублей в месяц. Некоторые беллетристы и историки утверждают, что между Азефом и Лопухиным произошла крупная ссора из-за денег. Азеф требовал гораздо большего содержания, чем он имел. Оно и понятно. У него была семья, трое детей, любовница, он привык жить

на широкую ногу, и денег не хватало. Больше всего возмутило Азефа то, как с ним разговаривал Лопухин — высокомерно и презрительно. Когда Азеф уходил с конспиративной квартиры, где была встреча с Лопухиным, последний, стоя к своему самому дорогому агенту вполоборота, подал для прощания два пальца. Азеф пожал эти два короткие пальца, но при этом нехорошо усмехнулся. А пришел он не только для того, чтобы просить увеличения содержания, но также сообщил, что готовится покушение на министра внутренних дел Плеве. Вячеслава Константиновича предупредили, увеличили охрану сопровождения, изменили маршруты передвижения.

Савинков не мог понять, почему Азеф медлит с организацией акта. Все было готово. Добровольцев пожертвовать собой было столько, что Азеф лично отбирал людей для покушения. После разговора с Лопухиным Азеф дал команду на заключительную подготовку акта.

Писатель русского зарубежья Роман Гуль в середине пятидесятых годов написал прекрасную книгу. Она так и называлась — «Азеф». В ней замечательно изображена сцена подготовки и совершения акта. Исполнитель Егор Созонов на плече нес сверток — якобы с бельем. Там была бомба весом почти в пять килограммов.

«Карета стремительно сближалась с метальщиками. В ушах и груди секунды рвались протяжным звоном. Созонов услышал отчетливые удары копыт по торцам. И вдруг перестало биться сердце, оборвалось дыхание. «Неужели пропущу? Глупости», — пробормотал он. В этот момент Созонов заметил, карета уже близко и на обратной стороне улицы на вывеске синими буквами написано «Варшавская гостиница».

«Неужели пропущу?» Он уже видел близко несущую

щихся вороних жеребцов. Одна секунда. Они пролетят, как поезд, как гроза, и скроются, сопровождаемые пролетками, велосипедистами (в то время их называли самокатчиками. — В. Х.). Но вдруг перед каретой министра вынырнул извозчик. В пролетке, развалясь, сидел молодой офицер. Чтобы на всем ходу обогнуть извозчика, карета метнулась с середины проспекта к тротуару. Было видно, как натянул вожжи рыжебородый кучер Филиппов, как навалились друг на друга рысаки в бешеном повороте. Не рассуждая, кинулся к карете Созонов. В секунду увидал в стекле старика. Старик рванулся, заслоняясь руками. И во взгляде отчаянных глаз Плеве и Созонов в ту же секунду поняли, что оба умирают. Цилиндрическая бомба ударилась, разбив стекло...»

1 июля Столыпин написал своему непосредственному начальнику В. К. Плеве прошение об отпуске:

«Милостивый государь
Вячеслав Константинович.

Имею честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство разрешить мне двухмесячный отпуск с 1 июля сего года.

Покорнейше прошу Ваше высокопревосходительство принять уверение в совершенном почтении и искренней преданности. Ваш покорнейший слуга

П. Столыпин».

Плеве не успел подписать приказ об отпуске не потому, что у него, как всегда, было много дел. Он считал, что начинаются беспорядки и Столыпин в такое время не должен покидать свою губернию.

Из дневника Николая Второго:

«15 июля. Четверг. Утром П. П. Гессе принес тяжелое известие об убийстве Плеве, брошенной бомбой, в Петербурге, против Варш. вокзала (Плеве из министерства ехал на вокзал для поездки в Петергоф с докладом. — В. Х.). Смерть была мгновенная. Кроме него убит его кучер и ранены семь чел., в том числе командир моей роты Семеновского полка кап. Цветинский — тяжело. В лице доброго Плеве я потерял друга и незаменимого министра внутренних дел. Строго Господь посещает нас своим гневом. В такое короткое время потерять двух преданных и столь полезных слуг (в июне в здании Сената был убит генерал-губернатор Бобринков. — В. Х.). На то Его святая воля! Тетя Маруся завтракала. Принял Муравьева с подробностями этого мерзкого случая. Гуляли с Мамá. Покатался с Мишей в море. Обедали на балконе — вечер был чудный».

Общество к убийству Плеве отнеслось достаточно спокойно. К крови уже были приучены. Именно с этого убийства начался открытый террор против власти, террор, который привел к революции 1905 года. Самое удивительное, что высшие чины словно находили оправдание таким актам. В этом смысле интересно откровение тогдашнего министра финансов С. Ю. Витте: «Из списка тех лиц, которые подвергались убийству анархическо-революционной партии, ясно видна полная осмысленность этих убийств в том отношении, что они устранили тех лиц, которые действительно являлись вреднейшими реакционерами...» Витте вдруг понял, что он морально оправдывает убийства, отдавая права левым самим решать, кто реакционер, а кто нет, и, следовательно, в зависимости от этого решения приводить приговор в исполнение. Далее он, извиняясь,

записывает: «...хотя, разумеется, убийства эти представляются возмутительными, ибо убийства политические не могут оправдываться ни совестливою нравственностью, ни даже целесообразностью».

Когда спустя три года случайно было раскрыто покушение на самого С. Витте, он сразу забыл о своих философических рассуждениях, кто «достоин» жестокого внимания революционеров, а кто нет...

«15 июля 1904 года. Саратов.

Милая, безценная моя Олинька.

Сегодня день эмоций. Утром Букер по телефону сообщил об убийстве Плеве. Я сначала не поверил, пока в 6 вечера не получил подтверждения. Бедный Государь!

А затем твоё письмо про Матю. Ты своим материнским сердцем вернее чувствуешь, чем я. Разумеется, теперь, пока время не ушло, надо все сделать, чтобы она слышала. Не только в Вену, на край света пойду, чтобы хоть чуточку облегчить её страдания...»

(Любопытна реакция Столыпина. Он не написал: «Бедный Плеве, бедная его семья»... Через семь лет, когда Богров смертельно ранит Петра Аркадьевича, высшие чины также будут сокрушаться: «Бедный Государь!»).

«16 июля.

Драгоценное сокровище — сегодня от вас нет письма и я печален. Так эта смерть Плеве меня сбила с панталыку, а тут еще это опасение холеры...

Оля, как я хочу тебя. Люблю, ангел мой».

«18 июля. 1904 год, пароход.

Родная моя, ненаглядная, вот я и выехал и теперь скоро увижу тебя, моя любовь.

Я давно не испытывал такого полного отдыха, как на пароходе. Не хочется ничего делать, а только сидеть

и дышать. По правде сказать, я утомлен Саратовом. Недавно я проезжал по этим местам, но тогда по ревизии, везде утомительные встречи, а теперь еду по своей же губернии инкогнито. Я уехал не совсем спокойный, так как не имел разрешение покойного министра приехать в П., а после смерти его написал Штюрмеру, что проеду через Казань, где остановлюсь на короткое время и буду в П. в конце июля, но теперь я не знаю, кто будет новый министр и не будут ли придирааться к таким поступкам? Вообще вопрос нового министра очень для меня важен. Каковы будут политики и будет ли ко мне лично такое же доверие, как до сего времени? Тревожное время. Хочется к тебе и детям.

До свиданья, мой душёнок, я тебя крепко люблю, люби меня. Я так жажду обнять тебя, свет моей души. *Твой».*

«20 июля. Симбирск.

Драгоценная, сижу на берегу Волги в ресторане и в ожидании перевоза через Волгу пишу тебе. Так томительно быть без писем от тебя.

...Вчера я осмотрел Самару — приятный город, асфальтовые мостовые, большой городской сад, но, конечно, гораздо меньше Саратова. На беду мою меня узнал какой-то полицейский и на пристань прискакали приставы, околоточный с компанией. Мне это было неприятно.

Из Самары очевидно дали знать и тут меня встретил полицмейстер, которого я просил забыть обо мне. Поплелся в город, помолился в Соборе (сегодня Ильин день), купил себе болотные сапоги (II р.), такая досада, свои забыл в Саратове, а затем отправился завтракать в гостиницу.

...Симбирск порядочная дыра. Совсем деревня, гораздо хуже Царицына. Однако много садов и хороший вид на Волгу».

...Столыпин торопился в Петербург по двум причинам. Будучи человеком очень дисциплинированным, он волновался, почему не было ответа на его прошение об отпуске. Отпуск же был ему нужен потому, что доктор Штейн нашел очень хорошего врача по ушным болезням, этот врач проживал в Вене, и потому ему надо было сопровождать Марию, старшую дочь, для лечения. А заграничного паспорта у него не было. Разрешение на заграничный паспорт необходимо было испрашивать у самого Государя.

Поражения на Дальнем Востоке отошли на второй план в связи с рождением цесаревича. Однако весьма скоро столица снова погрузилась в мрачные предчувствия. Лучше всего о настроении в обществе повествуют письма Столыпина из Петербурга.

«31 июля. С.-Петербург.

Только что приплыли. Несколько только слов, так как дневные часы тут самые драгоценные. Подплыли к разцветенной флагами столице. Я рад, что наконец, улыбка счастья улыбнулась Царю. Народ приписывает это Серафиму Саровскому. Вера много значит! Благодаря Наследнику все в соборе и Дурново я не увижу до понедельника (П. Н. Дурново стал министром внутренних дел в 1905 году. — В. Х.).

...Получил твое письмо о недуге Наташи (дочь Столыпиных. — В. Х.). Еще-бы, во время формирования надо очень беречь.

Какая ты милая заботливая мать и как я люблю тебя. Душа, если успею, напишу сегодня еще, а теперь виц-мундир и марш. Люблю, целую».

«31 июля. С.-П.

Ты спрашиваешь про Петербург — удручение полное везде! Сегодня зловещие слухи, что адмирал Витузен убит и вся порт-артурская эскадра раз-

громлена. Господи, какие темные времена для России, и извне, и внутри! Единственный светлый луч, это рождение Наследника. Что ждет этого ребенка и какова его судьба и судьба России. Это уже Адиньке придется его слушать!

...Про заместителя Плеве никто ничего не знает, называют много имен, говорят про Васильчикова, московского Булыгина и я полагаю и предчувствую, что будет именно последний...»

«3 августа. С.-П.

...Дурново встретил меня крайне неприятно, высказал, что казалось бы я должен быть в Саратове и проч. Уходя, после длинной деловой беседы, я ему высказал, насколько неприятно меня поразила манера его встречи. Он засмеялся и сказал — не обращайтесь внимания.

...Обедал я дома с Алешей Лопухиным, а вечером, по приглашению Коти Оболенского поехали к нему на дачу на острова пить чай. Говорили, конечно, про дела, внутренние и внешние. Боже, какое горе! Теперь погиб «Рюрик» и вся Владивостокская эскадра разбита. Какой стыд и горе! Для меня поездка в Вену так горька, что стыдно в глаза глядеть этим немцам, обидно газету иностранную в руки взять. А тут настроение такое!

Поскорее к тебе, к детям в Калноберже.

Целую тебя, недосыгаемая моя, блаженство, любовь моя. *Твой*».

Обер-гофмейстер Штюрмер (в середине 1916 года он был некоторое время председателем Совета министров) подписал-таки его прошение об отпуске. Для этого Столыпину пришлось подробно рассказывать о

нездоровье своей дочери и о том, что венский доктор их уже ждет. На что Штюмерм ответил довольно сухо, что Государь отпускает его весьма неохотно, ибо в губерниях, и Саратовская не исключение, весьма неспокойно. Для исправления заграничного паспорта пришлось просить аудиенции царя. Николай принял его мило, но той сердечности, что была в царском поезде, не было. Столыпин горячо поздравил Государя с рождением наследника и заметил, как глаза Николая вспыхнули радостью. Государь заинтересовался, почему им недоволен начальник дворцовой охраны Дурново. Столыпин смутился, но честно ответил, что ему не понравился тон, которым говорил с ним Дурново, и он ему об этом сказал.

— Только и всего? — с облегчением засмеялся Государь и, прощаясь, за плечи приобнял Столыпина, чем последний был невероятно растроган.

Через полтора года, в апреле 1906-го, Столыпин сменил Дурново на посту министра внутренних дел и тем самым приобретет самого злейшего врага в так называемой «дворцовой партии». Но эти полтора тяжелейших для России года еще надо было прожить...

«Пятница, 7 августа, Вена.»

Драгоценная, вот и моя Матинька со мною тут и все хорошо.

Я приехал в три с половиною часа, взял комнаты — одну большую для M-me Sandoy с Матеем и рядом маленькую для меня — обе за 18 крон, т. е. 7 р. 20 коп. в сутки. Гостиница покойная, только обед дорог (2 р. 40 к.) и безконечный.

...У меня была минута страшного беспокойства: пришел поезд и Мати нет. Я решил ждать следующего. И вдруг вообрази мое удивление: из вагона вылезают Матя и M-me Sandoy...

Страшно весела меня видеть и все твердит: «Как хорошо, как хорошо». Что-то завтра доктор скажет? Помоги Господи.

Нежно, много, любовно целую тебя, свет мой, любовь моя».

Ольга Борисовна с отъездом в столицу просчиталась. По правде сказать, и у Петра Аркадьевича были смутные предчувствия, что скоро его служба переменится. Но он никак не мог знать, что тормозом оказался П. Н. Дурново. Государю очень импонировал прямой, открытый и, как ему казалось, искренний саратовский губернатор. Ему нравилось, что он не лебезил, не кивал на каждую фразу, сказанную самодержцем. Но эта независимость, этот слишком прямой и пристальный взгляд маленьких, глубоко посаженных глаз смущал Государя. Сам он во время бесед со своими подданными старался смотреть в сторону, особенно тогда, когда был ими недоволен: он боялся, что в его глазах собеседник увидит это недовольство, и потому свою критику Государь всегда облекал в форму комплиментарную. По всей видимости, от этого стиля и возникло мнение, что у царя семь пятниц на неделе, что сегодня вечером он говорит одно, а утром от него вручают письмо об отставке. Он считал свою жену очень умной женщиной, которая разбиралась в людях лучше, чем он. Откуда появилось у Государя такое трагическое заблуждение, осталось тайной для потомков. Так вот, когда она заметила, что во взгляде Столыпина недостаточно верноподданнического почтения, после разговора с Дурново он вспомнил это ее замечание, сказанное как бы мимоходом. Однако Аликс никогда ничего не говорила просто так. Во всяком слу-

Столыпин в Виленской
гимназии. 1876 г.



П. А. Столыпин – студент
естественного отделения
физико-математического
факультета С. Петербургского
университета. 1884 г.





Столыпин – студент университета. 1881 г.

П. А. Столыпин – ковенский
губернский предводитель
дворянства. 1899 г.



П. А. Столыпин – саратовский губернатор, в поездке в город Камышин.
31 августа 1903 г.



П. А. Столыпин – министр внутренних дел. 1906 г., с супругой.



П. А. Столыпин в его кабинете в Зимнем дворце. 1907 г.



П. А. Столыпин. 1902 г.



П. А. Столыпин с семейством своим на террасе Елагинского дворца. 1907 г.



1907 г. Императрица Александра Федоровна и фрейлина Анна Вырубова
на палубе яхты «Штандарт»



П. А. Столыпин с дочерью
Натальей Петровной. 1908 г.



П. А. Столыпин на высочайшем завтраке на «Штандарте» в финляндских шхерах,
разговаривает с германским императором Вильгельмом II, сидящим на правой
стороне от государыни императрицы. 4 июня 1909 г.

чае, Государь после разговора с Дурново решил по-временить с переводом Столыпина в Петербург. Аргумент, который убедил Государя, в устах Дурново прозвучал примерно так: Столыпин прекрасный губернатор, он положительно на своем месте. Губерния очень непростая, помяните мое слово, Ваше Величество, что вам необходимы такие слуги именно в провинции. А здесь что ему делать с его смешными усами — бумажки перекладывать?

Еще была возможность закончить миром войну на Дальнем Востоке. Унизительным миром. Но кто же знал, что через восемь месяцев будет еще более унизительное поражение? Германский император Вильгельм подталкивал племянника к более решительным действиям. К осени 1904 года японцы уже имели ощутимое превосходство на море. И Николай отдал приказ Балтийскому флоту двинуться чуть ли не вокруг света к театру военных действий. Командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Рожественский встретил этот приказ скептически, но вынужден был подчиниться. Осенью 1904 года флот отдавал салют императору, который был на своей яхте «Штандарт». По этому случаю Николай записал в дневнике: «2 октября, суббота. Сегодня около полудня 2-ая эскадра Тихого океана вышла из Либавы в дальнее многотрудное плавание. Благослови путь ее, Господи, дай ей притти целою к месту назначения, и там выполнить задачу на благо и пользу России!»

Здоровье наследника было неважным, кровотечения начинались, казалось бы, совершенно неожиданно, и медицинские светила, которых выписывали

из-за границы, ничего не могли сделать. Аликс решила, что болезнь сына — это гнев Божий. Только чем так прогневала Господа, она не знала, но винила во всем только себя. Начались бесконечные исступленные моления, в Царское Село зачастили знахарки, знахари, какие-то темные сомнительные личности. Однако улучшения не было. Да и не могло быть.

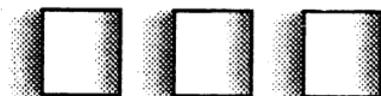
Вот что пишет о состоянии Николая Роберт К. Масси в своей книге «Николай и Александра»: «Эта боль не оставляла его до конца жизни. Именно в этот период те, кто часто видели Николая, но не знали о трагедии Алексея, стали замечать у царя проявление усиливающегося трагичного фатализма. С годами этот фатализм стал господствующим в его мироощущении. «В глубине души, тайно я убежден, что пришел в этот мир для того, чтобы нести крест страшного страдания, — сказал он как-то одному из своих министров, — и что никогда в земной жизни я не буду вознагражден за это». Величайшая ирония судьбы состояла в том, что так долго ожидаемое, благословенное рождение единственного сына нанесло царю смертельный удар. Раздавались залпы праздничного салюта, развевались флаги, а судьба уже сплела свою ужасную интригу. Не только проигранные битвы и затонувшие корабли, взрывы скрытых бомб раскачали Российскую империю. Ее гибель была предопределена незримым пороком, таящимся в теле маленького мальчика».

До появления Распутина оставалось еще целых два года. Но окружение царя, приближенные уже знали о крайних религиозных проявлениях Александры Федоровны. Те, кто писал воспоминания о жизни царской семьи в середине первого десятилетия, не знали о трагической болезни наследника. И потому оценки поведения молодой императрицы подчас

были весьма нелицеприятными. По мнению С. Ю. Витте, Александра Федоровна обладала эгоистическим, узким и упрямым характером. «Она впала всеми фибрами своего «я» в то, что я называю православным язычеством, т. е. поклонение формам без сознания духа — проповедь насилием, а не убеждением... На этой почве увлечение мистикой, гаданиями, кликушеством, поклонение «истинно русским людям...» Это свидетельство страдает однобокостью, однако многое и объясняет. Прежде всего неслучайность появления Распутина в царских покоях. Очевидно, каждый из нас находился подчас в трагической, казалось бы, безвыходной ситуации, когда кто-либо из родных и близких оказывался в таком состоянии, когда традиционная медицина была бессильна. Вспомним, что мы предпринимали в подобных случаях. Обращались к разным чудодейственным средствам, «экстрасенсам», так называемым «проводникам»... И были случаи, когда это помогало. Конечно, спустя девяносто с лишним лет после тех событий проще их оценивать, проще находить историческую правду. Однако жаль, что до сих пор иные публикаторы нет-нет да и подпускают «клубнички», когда описывают царскую семью. Очевидно, по их разумению, эта грязь должна привлечь дополнительных читателей, дополнительный тираж. То же самое касается и отношений между Столыпиным и его женой Ольгой Борисовной. Ведь до чего же, с внешней стороны, скучна их личная жизнь. Он у нее — единственный мужчина. Она у него — единственная женщина, которую он обожал до конца своих дней. Ни измен, ни душераздирающих сцен. Однако я глубоко убежден, что когда-нибудь придет Гений и расскажет о любви Мужчины и Женщины, счастливой, долгой и в этом смысле весьма однообразной...

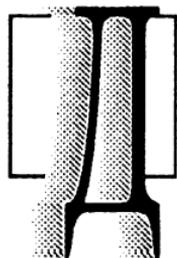
Отношения в двух семьях, Государя и Столыпина, во многом были схожи. Необыкновенная, чистая, глубокая взаимная любовь, большое количество детей, в каждой последыш — мальчик. Понятно, что их предназначение несоизмеримо. Столыпин свои силы, свою энергию, свой жизненный тонус черпал в семье, и во многом благодаря семье он достиг вершин в исполнительной власти. Семья была ему постоянной опорой, где он черпал вдохновение и силы, когда казалось, что их уже не было. Государь и молодая императрица после рождения царевича Алексея стали жить тяжелой двойной жизнью, ограждая свой и без того узкий семейный круг от какого-либо проникновения извне. Несчастье в семье Государя еще более отдалило молодую императрицу от окружения.

С рождением наследника в России пошла череда несчастий, все более страшных и все менее объяснимых. Она продолжалась несколько десятилетий, и у меня нет уверенности, что эта череда прекратилась на излете XX столетия.



Глава 8

А КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ, НО РАСКАЧИВАЕТСЯ



рама заключалась в том, что Россия и ее 135-миллионный народ уже выросли из тесных ритуальных одежд монархизма. Но никто не знал, каким должно быть устройство будущей России. Эсеры, анархисты-коммунисты — те подходили к вопросу просто: сначала все разрушим, а там видно будет. Кадеты хотели ограничить царя конституцией. Одним словом, у каждой партии или партийки — своя программа, конечно же радикальная, и никто никому не хотел уступать. Удивительная вещь: почти любой режим в состоянии серьезного кризиса очень хорошо знает, какая опасность ему угрожает, и почти ничего не может предпринять для своего спасения. За примерами далеко ходить не надо. Мощнейшая, казалось, сверхдержава — Советский Союз — рухнула в те-

чение всего нескольких месяцев, практически без кровопролития. Сейчас обиженные говорят, что в этом виноват только один человек. Глупость, конечно. Что же это за держава, если едва ее пошатнули, и она рассыпалась, как песочный замок? Внутри настолько все прогнило, а духовные ценности собственно государства оказались настолько ложными, что ничего не могло удержать его от стремительного распада. Нечто подобное происходило и в России начала века. Все знали, с какой стороны идет опасность, врагов монархии знали чуть ли не поименно, а корабль раскачивался все сильнее, пока не опрокинулся в 1917 году.

Такие люди в окружении царя, как С. Ю. Витте и его продолжатель, но антагонист П. А. Столыпин, которые не столько видели, сколько предчувствовали грядущую катастрофу, были в катастрофическом меньшинстве. Но дело в том, что Витте был гениальным конформистом, и те реформы, инициатором которых он был, еще будучи министром финансов, его самого напугали не на шутку. Но главное, возможно, в другом. Реформы в России всегда опаздывали. За них хватались, как за соломинку, и, понятное дело, ничего путного из этого не выходило. Однако я далек от мысли представлять Столыпина таким всевидящим и прозорливым реформистом. Он был человеком своего времени, своего круга, но в отличие от большинства он был жестким прагматиком, понимая, что те, кто стоит у власти, могут лишиться всего. Так лучше отдать часть и заинтересовать человека в его труде, тогда можно сохранить целое. Русские помещики привыкли жить на ренту, закладывая и перезакладывая свои усадьбы, имения. Трудиться? Это увольте. Это трудно. Потому редкие персонажи наших классиков выглядят почти как ге-

рой, если они трудятся. Тот же Лёвин в «Анне Карениной» Л. Толстого, тот же Лопахин из вечно живого «Вишневого сада» А. Чехова. Помещики задолжали государству чудовищную сумму, и никто не знал, как эти деньги возвращать.

Государь страшно боялся каких-либо перемен, ибо в любых из них ему виделось разрушение традиций, устоев.

Россия бурлила, митинговала, бастовала, чиновников убивали. К концу 1904 года обществу было ясно, что война на Дальнем Востоке проиграна, маленькая «победоносная война», развязанная для того, чтобы расправиться с революцией, оказалась той самой канистрой с бензином, которую плеснул в печь незадачливый хозяин, рассердившись, что дрова были сырые...

Идея взорвать оппозицию изнутри ненова. Сколько существует государство, столько и вынашиваются самые невероятные способы, как это сделать руками самих оппозиционеров. Начальник московского департамента полиции генерал Зубатов придумал, как многим показалось, гениальный план. Он предлагал создать на заводах и фабриках рабочие группы, которые, разумеется, должны находиться под контролем полиции. Требования этих групп не должны простираться дальше сугубо экономических. Таким образом, борьба рабочих будет направлена не против власти, как таковой, а против фабрикантов. Вот пусть последние и думают, как справляться с недовольными. В Петербурге подобное рабочее движение согласился возглавить священник по имени Гапон. По замыслу А. Лопухина и пришедшего ему на смену А. Герасимова, священник,

стоящий во главе рабочих, должен у них вызывать полное доверие. Так, собственно, и было. Вплоть до 9 января 1905 года. С предложением Зубатова вышел полный конфуз. Очень скоро тон в рабочих группах стали задавать проникшие в них социал-демократы, и они превратились в полную противоположность того, что в начале предполагалось. Зубатов с треском слетел со своей должности, был разжалован и сослан во Владимир. Так называемое рабоче-полицейское движение получило название «зубатовщины».

В Саратовской губернии было так же беспокойно, как и везде. Там так же, как и везде, возникло движение «Союз русского народа», и Столыпин некоторое время поддерживал его, пока не обнаружилось в нем то, что ему было глубоко противно. Исходя из того, что большой процент в революционной среде составляли евреи, «союзники», как их называли в быту и в прессе, выдвинули лозунг: «Бей жидов, спасай Россию». Саратовский архиепископ Гермоген был одним из самых ярых «союзников» и не раз приходил к Столыпину с предложением — выселить всех «жидов» из губернии, и сразу все станет спокойно. После нескольких таких бесед Столыпин перестал его принимать, чем вызвал в Гермогене стойкую неприязнь. Справедливости ради надо сказать, что Столыпин поначалу приветствовал это, с позволения сказать, движение еще и потому, что сам Государь император обласкал «союзников», приказав выдать им из личных сбережений царской семьи 2 миллиона рублей.

Ольга Борисовна, поняв, что в Петербург им перебираться рано, приехала с детьми в Саратов. Город

за полтора года заметно преобразился, он стал чище, как бы светлей, особенно по вечерам, когда на нескольких улицах горели газовые фонари, установленные по приказу губернатора. Но сам Петр Аркадьевич дома бывал мало, постоянно разъезжая по уездам. А вечерами он писал заметки о земельной реформе, так, как он ее себе представлял. Главной особенностью его первоначального плана было то, что он предлагал провести реформу сразу, насильно загоня крестьян на отруб. Он считал, что, пока российский крестьянин сообразит да почешется, время для реформ будет безнадежно упущено. Мне думается, что в таком подходе кроется трагическая ошибка всех российских реформаторов от Петра Первого через Столыпина и до нынешних наших лихих экономистов. По-человечески их понять можно. Они хотят увидеть плоды своего реформаторства не только при жизни, но и при власти. Но, пожалуй, это удалось только одному человеку в истории России — Сталину. Правда, ценой жизни нескольких десятков миллионов человек и сотен лагерей, но кто считает потери в пути, да и победителей не судят... Любой экстремизм оборачивается большой кровью. Но мы подчас рассуждаем так: народу у нас полно, а земель и того больше — навалом, на наш век хватит, а потому мы бываем расточительны и бесшабашны: ну ошиблись, с кем не бывает...

К чести Столыпина надо сказать, что он был достаточно гибким человеком. Особенно когда пришел к власти и стал вторым человеком в государстве.

Ольга Борисовна с присущей ей энергией занималась благотворительной деятельностью, и ее работа была отмечена вдовствующей императрицей Ма-

рией Федоровной. До начала июня 1905 года семья была вместе. Столыпин как-то позже признался жене, что, пожалуй, никогда не был так покоен и счастлив, как в этот период...

За все это время удалось обнаружить лишь одно коротенькое письмо. Вот оно.

«19 декабря 1904 года. Вагон.

Дорогая, милая моя.

Пользуюсь краткою остановкою, чтобы поцеловать тебя и сказать, что у меня перед глазами все время твое дорогое грустное личико.

Вспоминаю, как сегодня утром застал тебя окруженную детьми в симпатичной ванной комнате.

Я напился чаю с сэндвичами и скоро, до Ртищева, лягу спать. Христос с тобою, ангел мой. *Твой любящий».*

Между тем в окружении царя все громче были разговоры о предоставлении минимальных конституционных свобод. Новый министр внутренних дел князь Святополк-Мирский поддержал министра финансов Витте, который предоставил в конце 1904 года свою программу демократизации общества. Царь, одоблив ее в частностях, исключил из нее ключевые моменты. Вот как он объяснил, почему он это сделал (на беседе присутствовали генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович и С. Ю. Витте): «Да, я никогда, ни в каком случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо я его считаю вредным для вверенного мне Богом народа...» Царь, увы, не понимал, что происходит в стране, и продолжал считать, что порядка нет, потому что нет хороших исполнителей царской воли. Для того чтобы он что-то понял, необходимы были сильные встряски. Вскоре они последовали.

В начале января 1905 года Порт-Артур был захвачен японцами. Крупная военно-морская база, из которой был выход в Тихий океан, порт, которым так гордился Николай, прекратил свое существование как часть русской территории. Это было тем более неожиданным, что в последний месяц царю приходили весьма оптимистические донесения. В это время бастовали рабочие Путиловского завода. После сообщения о сдаче Порт-Артура забастовка превратилась во всеобщую. Ясно было, что армией командовали бездари. Забастовщиков было более 120 тысяч. Священник Гапон не ожидал такой мощной акции, сначала хотел устраниваться, но тщеславие оказалось выше. Он представил, как он идет во главе невиданной манифестации с хоругвями и портретами царя, представил, как Государь выйдет им навстречу. И он от имени народа изложит их чаяния... Естественно, Гапон подробно все изложил в департаменте полиции. Министр Святополк-Мирский был в курсе манифестации. Доложил об этом царю. В Питер стянули на всякий случай войска. Правда, требования, которые выдвигали манифестанты, резко выходили за рамки обычных экономических требований. Гапон был бессилен. В петиции рабочие требовали учредительного собрания, всеобщего избирательного права, амнистии всем политическим заключенным...

Государь в это время находился в Царском Селе и собирался приехать в Петербург на традиционный праздник Водосвятия. Когда церемония заканчивалась и стали палить пушки, одна из них, находившаяся рядом с Государем, неожиданно взорвалась. Никто не пострадал. А Николай даже не шелохнулся. Выяснилось, что кто-то по ошибке зарядил эту пушку шрапнелью.

Впрочем, по официальным документам все это отнесли на счет халатности...

Мирский все же доложил царю о намечающейся грандиозной манифестации и сказал, что все меры для соблюдения порядка приняты.

Царь записал в своем дневнике: «8-го января. Суббота. Ясный морозный день. Было много дел и докладов. Завтракал Фредерикс. Долго гулял. Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для усиления гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется в 120000 чел. Во главе союза какой-то священник — социалист Гапон. Мирский приезжал вечером с докладом о принятых мерах».

Воскресенье 9 января был невероятно холодный и морозный день. С Невы дул сильный ветер, снежные вихри скрывали людей, идущих с хоругвями и портретами царя. Почему-то пели «Боже, царя храни...» — то есть российский гимн. Многочисленные историки, описывавшие процессию, сходились в одном: у всех было радостное, приподнятое настроение. Однако на каждом углу стояли хмурые солдаты. Колонны сливались в одну и мощным потоком устремлялись на Дворцовую площадь. До нее дойти не удалось.

Святополк-Мирский потом оправдывался, что команду на поражение никто не отдавал, просто у некоторых солдат не выдержали нервы и они стали стрелять... По официальным данным, погибло 92 человека и несколько сотен было ранено. Мирского царь тут же отправил в отставку, и тот радовался, говорят, как ребенок, и даже по этому поводу закатил банкет, ибо его не постигла участь его предшественников — Сипягина и Плеве.

Из дневника Николая Второго: «9 января. Воскресенье. Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего Дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело! Мама приехала к нам из города прямо к обедне. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей. Мама осталась у нас на ночь».

Руководитель манифестации товарищ Гапон, едва лишь началась стрельба, незаметно скрылся. Понятно, что больше он рабочими не руководил. Он сбежал в Женеву, потом в Париж, потом по поддельному паспорту на имя Рыбницкого вернулся в Петербург. Его разыскивала охранка, был даже издан специальный секретный циркуляр. Естественно, им интересовались и эсеры. Правда, прошел слух, что он встречался с министром внутренних дел Дурново и якобы получил задание: выяснить, не готовится ли покушение на особ царской фамилии, а также на Витте и Дурново. Якобы за это задание Георгий Аполлонович Гапон получил аванс 30 тысяч рублей.

...На одной из пустующих дач под Петербургом, в Озерках, в начале апреля 1906 года обнаружили мертвого Гапона. Рассказывали, что его повесили рабочие-кружковцы, те, с которыми он начинал свою «деятельность» в конце 1904 года.

9 января называли «Кровавым воскресеньем». Николая же стали именовать в оппозиционной прессе «Кровавым». Этот день стал рубежным в русской истории. Кровь убитых и раненых на подходах к Дворцовой площади навсегда разделила народ и царя. С этого дня началась двенадцатилетняя прелюдия к событиям 1917 года.

Был огромный международный резонанс. Николай оказался в изоляции. Однако он не стал, как говорится, спасать свою честь. Ему предлагали все свалить на армию, будто бы она начала стрелять без приказа. Он категорически отказался клеветать на армию.

Вот что писала Александра Федоровна своей сестре принцессе Виктории Баттенбергской: «Ты можешь понять то ужасное положение, в котором мы сейчас находимся. Без преувеличений — это время тяжелых испытаний. Крест, который несет мой бедный Ники, мучителен, тем более что нет людей, на которых он мог бы до конца положиться и которые могли бы помочь. У него было так много разочарований. Но это его не сломило. Он не теряет мужества и веры в милосердие Божье, продолжает настойчиво трудиться и идти по заранее намеченному пути, но ему очень не хватает «настоящих», как я говорю, людей. Никчемных много, и они всегда под рукой. Есть такие, которые из ложно понятого чувства скромности остаются в тени. Мы будем стремиться расширить круг знакомств, но это очень трудно. На коленях я молюсь и прошу у Господа Бога дать мне достаточно мудрости, чтобы помочь ему в этой трудной миссии».

«Кровавое воскресенье» стало как бы толчком для развертывания серии террористических актов. Борис Савинков решил, что настала пора направить удар на царскую семью. В разработке покушения на великого князя Сергея Александровича принимал участие Азеф. Возможно, он как никто был заинтересован в удачном совершении акта, ибо уже стали ходить упорные слухи о его провокаторстве. Все-

таки по-своему он был талантливый человек. Охранка никак не могла предположить, что он организатор двух самых громких убийств — Плеве и Сергея Александровича. А эсерам в голову не могло прийти, что руководитель БО — штатный высокооплачиваемый сотрудник департамента полиции. Как ни кощунственно это прозвучит, но он добросовестно выполнял работу и «Боевой организации» эсеров, и департамента полиции, регулярно выдавая своих товарищей...

Каляев удачно бросил бомбу в карету. Генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович, дядя Николая Второго, был убит на месте. У Каляева были свои нравственные принципы. Он несколько раз мог метнуть бомбу в карету великого князя, но, каждый раз видя, что там едут дети, не решался.

Вдова, великая княгиня Элла, спустя несколько дней посетила Каляева в тюрьме и сказала, что она поможет ему сохранить жизнь, если он обратится за помилованием к царю. Каляев отказался, сказав, что его смерть будет способствовать свержению самодержавия... Через несколько лет Элла основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель и стала ее настоятельницей...

Насилие, как зараза, охватывало все большие территории России. После каждого убийства чиновники задавали вопрос: кто следующий? Царь записал в своем дневнике: «Я становлюсь больным, узнавая новости. Забастовки в школах и на фабриках, убийства полицейских, казаков. Бунты. Министры же, вместо того чтобы действовать быстро и решительно, собираются и заседают, как перепуганные куры, и кудахчут о необходимости единых действий всех министерств».

...Между тем Балтийская эскадра, весной прибыв к месту военных действий, была уничтожена японцами в течение сорока минут. Цусима... Еще одна позорная страница в истории России.

Естественно, Саратовскую губернию также не обошли волнения, но в отличие от многих губернаторов, боявшихся прежде всего за свою собственную жизнь и потому пребывавших в параличе страха, Столыпин решительно принял вызов. От уговоров он перешел к действиям. Во взбунтовавшихся селениях его казачки налево и направо размахивали нагайками, устраивались публичные порки. В феврале Столыпин усмирил крупные беспорядки в Балашовском уезде. Министр Дурново в секретной телеграмме выразил ему горячую благодарность и доложил о деятельности саратовского губернатора Государю. Очевидно, после этого доклада вновь встал вопрос о том, чтобы Столыпину предложить должность в Петербурге. Зашла речь о том, чтобы он возглавил Крестьянский банк. Этот банк позднее сыграет важную роль в проведении земельных реформ. Через него крестьяне смогут под ничтожный процент выкупать бросовые земли или земли в Сибири, куда впоследствии устремятся сотни тысяч переселенцев...

Столыпин серьезно раздумывал над предложением, единственное, что его останавливало, так это петербургская бюрократия. Каждый шаг необходимо будет согласовывать, а он привык к самостоятельности и не мог терпеть приказов, особенно если они исходили от высокопоставленных дураков.

«19 февраля 1905 года.

Дорогая Олюшка. Только что решил послать нарочного в Саратов, скоро идет поезд и пишу наскоро. Пришли сто рублей на всякий случай, еще

две смены белья, кофе. Посылаю чемодан, в который все уложишь. Здесь мужики упрямятся, и не дают арестовать зачинщиков. Передо мною однако становятся на колени. Я беру их измором и надеюсь ко вторнику все покончить. Надеюсь, что в Царицыне к тому времени все будет спокойно и в среду я буду дома.

Я здоров, благополучен. Целую нежно. *Твой».*

В начале марта Столыпина срочно вызвали в Петербург. Очевидно, Государь всерьез подумывал о назначении его руководителем Крестьянского банка. В придворных кругах сложилось мнение, что Столыпин как никто другой разбирается в земельном вопросе. Возможно, потому, что в каждой реляции на высочайшее имя Петр Аркадьевич поднимал вопрос о реформе.

«4 марта 1905 года. С.-Петербург.

...я уехал из Москвы под грустное впечатление, проезжал мимо места убийства Великого Князя. Приехал в Петербург — яркое солнце, движение на улицах, как будто бы и не нависла гроза над Россиею...

Пока мылся пришел Кноль. Уверял, что в Петербурге много говорят о моей деятельности, что он повсюду слышит разговоры обо мне. Пошел постригся, встретил нашего Давыдова, который со слов Львова спел мне на улице похвальные дифирамбы и придет ко мне вечером.

Завтракал у Саши, который от Лопухина знал о сделанном мне предложении и написал длинное письмо в Саратов с уговором принять...

На меня все это наводит грусть!

Саша страшно уговаривает принять Банк.

...Коковцов сказал ему, что он сам чиновник и

поэтому хотел бы во главе Банка не чиновника, а человека независимого, известного, с именем и положением и потому остановился на мне...»

Однако банкира из Столыпина не получилось. По размышлении он отказался от этого довольно высокого поста. Трудно сказать, в чем была главная причина. Возможно, он не хотел в столь сложное время покидать Саратовскую губернию, к которой он привязался всем сердцем, а главное, видел плоды своих усилий. Что может быть важнее для человека, занимающегося созидательной деятельностью? Его брат Александр, разбитной малый, посредственный журналист, как-то в разговоре обмолвился, что ему отсоветовала Ольга Борисовна, потому что уже тогда предполагала, что ее муж заслуживает более высокой должности.

Через некоторое время в Петербурге уже стало не до Столыпина. Революция в России разгоралась все сильнее. К тому же — унижительное поражение в войне с Японией. Заключать мир с ней уполномочили С. Ю. Витте. Он сделал невозможное. Мир был подписан, и Россия в результате уступила Японии южную часть Сахалина. Весь мир удивлялся такой весьма скромной контрибуции. Однако все объяснялось просто. Япония тоже была истощена войной до крайности. А главное, возможно, заключалось в том, что известный еврейский банкир Шиф, один из самых богатых американских бизнесменов, финансировавший военные расходы Японии, прекратил вливания в ее милитаристскую экономику. О его роли в русско-японской войне писал в своих воспоминаниях В. В. Шульгин, который объяснял участие Шифа тем, что его возмущало притеснение евреев в России. Так или иначе, почетный мир был заключен, Витте вернулся из Северо-Американских

Соединенных Штатов (так в начале века именовались США), где проходили переговоры, триумфатором, создав себе более чем прочный фундамент для того, чтобы осенью 1905 года, когда в пожаре революции полыхала уже вся Россия, занять пост председателя Совета министров. Витте в своих воспоминаниях не жалеет красок, рассказывая о себе, как он талантливо провел переговоры. Однако, увы, есть и другие мнения, причем мнения людей, достаточно независимых от симпатий или антипатий к фигуре и деятельности Витте. Вот как о нем отозвался американский президент Теодор Рузвельт: «Я никак не могу сказать, что он мне понравился, мне кажется, что его крик и хвастовство выглядят не только как дурость, но и как крайняя вульгарность, особенно в сравнении с деликатной сдержанностью японцев. Более того, он поразил меня как человек эгоистичный, не имеющий никаких идеалов».

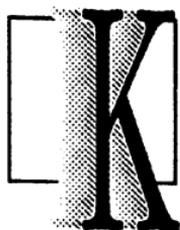
Итак, война с Японией закончилась. Полвека Южный Сахалин находился у японцев. После окончания второй мировой войны остров снова стал частью России.

Как говорят современные экономисты, в результате мирного договора «высвободились средства», которые направили на подавление революции. Но в России, увы, все делают или слишком рано, или слишком поздно.



Глава 9

1905 год



то-то из классиков марксизма сказал, что история повторяется и если сначала была трагедия, то спустя время она оборачивается фарсом. Не уверен, что «маленькую» показательную войну с Чечней можно назвать фарсом. А ведь сначала наши brave генералы заявляли, что вопрос с Чечней — это дело нескольких часов... Но в результате позор, экономические неурядицы, перешедшие в хронические забастовки, президент без конца тасует свою команду и... ничего не происходит в смысле позитивных сдвигов. Подозрительно все похоже на ситуацию, сложившуюся в начале 1905 года. Забастовки в то время перешли в открытые столкновения с правительственными войсками, которых не хватало, и их лихорадочно перебрасывали из одного горячего места в другое. В Финском заливе неподалеку

от Царского Села наготове стоял крейсер, чтобы в спешном порядке принять всю царскую семью и морским путем отправить ее в Германию. Александра Федоровна всерьез подумывала о бегстве из России.

Герой дня Витте торопил царя с реформами. Кажется, Государь стал понимать, что одним насилем революцию не остановить. А времени с каждым днем, с каждым часом катастрофически становилось все меньше и меньше.

С февраля 1905 года по май 1906 года было совершено 15 покушений на губернаторов и градоначальников, 267 — на строевых офицеров, 12 — на священников, 29 — на торговцев. Террор стал неотъемлемой частью общественной жизни России. Менее всего мы склонны анализировать свои поступки и свои ошибки. Гораздо проще искать врага и обвинять его в своих бедах и несчастьях. То это был царь и верхушка власти, то евреи, то большевики, то снова евреи, то Горбачев и опять евреи, то Ельцин... Шарль Морис Талейран, известный французский дипломат, как-то философски заметил: «Никто не устраивает революцию, и никто в ней не повинен. Виноваты все». Парадоксальную мысль высказал Н. Бердяев в статье «Духи русской революции»: «Возвышенность толстовской морали есть великий обман, который должен быть изобличен. Толстой мешал народному и развитию в России нравственно ответственной личности, мешал подбору личных качеств и потому был злым гением России, соблазнителем ее... В нем русское народничество, столь роковое для судьбы России, получило религиозное выражение и нравственное оправдание». Возможно, Бердяев в чем-то прав. Вспомним великий роман «Война и мир», вспомним размышления Ку-

тузова, который предполагал, что все предопределено. И личность, какая бы она ни была, подчиняется судьбе, уже предначертанной...

Столыпину не нравился этот роман, он с жаром спорил с Ольгой Борисовной, большой почитательницей всего творчества Льва Николаевича. Он убеждал ее, что, стоит только сказать себе, что все заранее решено Богом ли, судьбой ли, человек сразу станет обречен. Он безволен, у него всегда есть оправдание, что за него уже однажды все кто-то решил. И если во главе злого дела станет негодяй, то толпа превращается в стадо послушных баранов. Так он объяснял беспорядки в России, которые в середине 1905 года становились массовыми.

Однажды Столыпин весьма напугал Ольгу Борисовну. Он поздно вернулся домой. Дети спали. Они вдвоем сидели в столовой, пили чай. Лицо у него было серым от усталости. Расстегнув китель, он правой рукой потирал себе грудь. Жена тревожно смотрела на него и ничего не спрашивала. Он заговорил с болью, отчаяньем, какого она никогда от него не слышала. Он сказал, что мечтает только об одном — скорее уйти в отставку, уехать в Калноберже. Потом, помолчав, добавил, что и там не будет покоя, и там скоро заполыхает. Среди земских оказалось довольно много людей, которые поддерживают революционеров. Губерния раскололась. Впрочем, как и вся Россия. В тот поздний час он впервые вслух высказал мысль, что самодержавие в том виде, в каком существует, себя изжило.

В столовой повисла тяжелая пауза.

— Ты полагаешь... что без царя... — Ольга Борисовна не договорила, со страхом глядя на мужа,

полагая, что он так переутомился, что несет невесту что.

Столыпин заметил страх на лице жены, грустно усмехнулся:

— Я здоров, не беспокойся. Мы отстали от Европы на десятки лет. Государь, наш милый, добрый Государь, пребывает еще в прошлом веке, когда для народа было жизненно важно, кто им правит: добрый царь-батюшка или не очень.

— Прости, Петр, но ты говоришь ужасные вещи, вроде этих бунтовщиков.

— Нет, милая, ты не поняла. Должно быть настоящее общественное управление, а не говорильня. Вроде этих болтунов, земских. Должна быть конституция. И должен быть царь. Общество, законы его должны резко измениться. Иначе мы все погибнем. Эти на наших собраниях орут: «Россия гибнет, Россия гибнет». А Россия без нас проживет. Не эта, так другая. Россия-матушка никогда не погибнет.

— Ты им так и сказал?

— Им это говорить бесполезно. Я только призывал к одному — честно трудиться каждому на своем месте... Как от стенки горох...

— Подавай в отставку, — решительно сказала Ольга Борисовна. — Ты и так столько сделал для губернии. Государь тебя отпустит.

— Государь-то отпустит. Да только я сам себя не отпускаю. Видишь, что делается? Они только и ждут, что я смалодушничая. Они провоцируют меня.

Петр Аркадьевич поднялся — большой, огромный. Жена смотрела на него. Ни усталости, ни намека на растерянность. Как она гордилась им в эти ночные минуты, как она его любила! Он подошел к ней. Поцеловал в губы, она прильнула к нему всем телом. Они молча обнявшись стояли.

— Меня могут убить, Оленька. Я им всем попе-рек горла стою. И земским, и тем, кто воду мутит.

— Тебя не убьют, милый, — жарко зашептала она, покрывая его лицо, бороду, глубоко сидящие глаза поцелуями. — Тебя не убьют, потому что ты не сделал и сотой доли того, что тебе предназначено Богом.

— Если бы так... — Он ласково и долго смотрел в ее глаза, взяв в свои большие теплые ладони ее лицо, потом подхватил ее на руки и понес в спальню.

— Что ты делаешь, сумасшедший, у тебя рука больная, отпусти немедленно, — счастливо шептала она, прижимаясь к его горячей груди и трепеща в его объятиях.

Письмо Ольги Борисовны — Петру Аркадьевичу:

«5 мая 1905 года. Среда. Саратов.

Ангел мой, вот уже 4 часа, а телеграммы от тебя нет, и не знаем ничего, ни о тебе, ни о мамá. Тревожиться уместно. Дети немного отвлечены мыслью об экзаменах. Адя прямо тоскует по тебе. Он не знает слова «мама», но когда слышит «Ольга Борисовна», то жалобно пищит. Вчера он прекрасно сходил, спал, ел, но был как-то грустен и все замечают, что он по тебе скучает. Сегодня он совсем здоров и все идет как по маслу. У меня второй день аферы...»

Трогательные женские тайны, которые Ольга Борисовна поверяет своему мужу. Взаимное чувство, которое с годами не притупляется, как принято считать, а становится все глубже и значительнее. Семейные заботы, связанные с детьми, их болезнями и развитием, нежная, не показная забота друг о друге...

Ольга Борисовна не замыкается семейными проблемами, она интересуется делами мужа. Она его советчик, друг. А вокруг — беспорядки, бунты, поджоги. В Саратовской губернии полыхают усадьбы одна за другой.

Имение Столыпиных тоже сожгли.

«17 июня 1905 года.»

Сегодня я устал и пишу 2 слова своей дорогой.

Такая масса помещиков теперь приезжает и все напуганы. Теперь главная забота это доктора. Я телеграфировал в Петербург, прося выслать хоть несколько человек, чтобы объездить деревни. Но думаю, что ответят, что врачей нет.

Сегодня долго беседовал с членом Управы Сумароковым и мягко высказал ему, что «гносно пользоваться ложью и клеветою на губернатора, чтобы вызвать забастовку и возбудить население». Он лепетал, что это направление не против меня, что мне отдают должное, но что доктора избрали такой способ борьбы».

Действительно, с саратовскими врачами неожиданно возникли трудности. Кое-где в губернии были вспышки холеры. Врачи выезжали на места этих очаговых эпидемий. Их там запугивали и избивали, говорили, чтоб они носа не высовывали из Саратова. Они потребовали у губернатора навести порядок, иначе они не смогут исполнять должность. И пригрозили забастовкой. Когда «Союз русского народа» узнал о готовящейся забастовке врачей, самые активные его члены, вооружившись камнями, палками, металлическими прутами, решили сами навести порядок и окружили здание, где врачи заседали.

Потребовалось личное вмешательство Столыпина, чтобы спасти докторов от расправы.

В начале июня Ольга Борисовна с детьми уехала к свое имение, в Кейданы. На отъезде настоял Столыпин, хотя ситуация была достаточно парадоксальная: в губернии разворачивались беспорядки, а в Саратове — все тихо. И даже в самые драматические дни октября 1905 года смерч революции город обошел стороной. Во многом это была заслуга Столыпина.

«4 июля 1905 года. Саратов.

...Ты пишешь, что пало 6 лошадей, а ведь это рублей 500! И в такой тяжелый год. Послезавтра уезжаю в Сердобский и Петровский уезды до 12 июля... Везде хочу лично воздействовать на крестьян...

...Оля, ты так хорошо пишешь, что молишься за меня. Господь наша крепость и защита, спасет и сохранит нас. Страха я не испытывал еще и уповаю на Всевышнего. *Твой».*

«12 июля 1905 года. Петровская Станция.

Дорогая моя, сегодня день твоего рождения. Нежно, нежно целую и грущу о разлуке.

2 последних дня бегал по 100 верст и не было времени и возможности писать. Тревожно было ночами.

Меня огорчает поведение здешнего земства — собрали крестьян на экономический совет и говорили против губернатора, земских начальников и священников. Решили, что надо землю землевладельцев поделить и уничтожить войско. Это постановление они распечатали и разослали по уезду».

Столыпин в ответ на «постановление» вызвал казаков, арестовал зачинщиков. Крестьян на сей раз уладили...

«13 июля.

Ангел, родная, вчера, в день твоего рождения писал из вагона, сегодня я уже дома после утомительного и угнетающего нервы путешествия. Боже, как все напорчено и как трудно будет поправить. В начале августа, как только будет назначен Кноль, я буду проситься в Петербург, чтобы дать там картину всего происходящего. Оттуда — хоть на 2 недели к тебе, мое сокровище. При теперешних обстоятельствах недобросовестно бросать было надолго. Ужасно утомлен, 12 часов и глаза слипаются.

Целую, люблю, не верю счастью скоро увидеться. *Твой*».

Телеграмма в Кейданы из Балашова, 22 июля 1905 года:

«Сегодня Балашове погромчески настроенная толпа на врачей, которых мне удалось спасти несколько врачей избито два дома разгромлены защищая врачей и я получил незначительный ушиб пальца совершенно здоров».

Все было немного не так. Сначала из толпы в Столыпина бросили бомбу, прямо ему под ноги. Она не взорвалась. Казаки вытащили из толпы метателя и стали остервенело полосовать его нагайками. Столыпин прекратил избиение. Молодого окровавленного парня связали и отвезли в Саратов. На следующий день, когда губернатор защищал врачей, из толпы бросили в него булыжником и попали в больную руку. Столыпин, увы, переставал быть гарантом безопасности, он это понимал, чувствовал, у него сдавали нервы, и он все чаще обращался за помощью к казакам... Но и они всюду не поспевали. И Столыпин послал телеграмму в Петербург. Стол Го-

сударя был переполнен письмами и телеграммами со всех концов России с просьбами о помощи. Столыпину помогли тем, что направили в Саратов генерала Сахарова, чтобы тот непосредственно руководил карательными экспедициями.

«Милая, душка моя, хотя я изнурен работою с 8 ч. утра безоглядно до 1 ч. ночи (а еще папка с бумагами не тронута), но хочу поговорить с тобою.

Дни идут плохо. Сплошной мятеж в пяти уездах. Почти ни одной уцелевшей усадьбы. Поезда переполнены бегущими... Войск мало и прибывают медленно. Пугачевщина! В городе все спокойно. Я теперь безопасен, чем когда-либо, т. к. чувствую, что на мне все держится, и что если меня тронут, возобновится удвоенный погром. В уезд выеду конечно только с войсками — теперь иначе нет смысла.

До чего мы дожили. Убытки — десятки миллионов. Сгорели Зубриловка (имение Столыпиных. — В. Х.)... исторические усадьбы. Шайки вполне организованы.

Целую, обожаю тебя, ангел. Деток целую».

(Письмо без даты, скорее всего — конец сентября — начало октября 1905 года.)

«...дорогая, глаза слипаются, утомлен, но боюсь новой забастовки и пишу. Вчера часа два просидел в Ртищеве и не дождался Сахарова, ночью вернулся в Саратов по тревожной телеграмме, о том, что в Петербурге началась опять всеобщая забастовка. Какой ужас! Неужели я опять буду разобщен с тобою. Сегодня приехал Сахаров, он очень мил, говорит — что приехал помогать нам. Также говорит о том, что меня прочт в Министры, а ты, душа, уже

горевала. Слава Богу, мне никто ничего не предлагал, а уже газеты начали по этому поводу ругаться. Да минует меня чаша сия.

Целую, люблю, *твой*».

(Это уцелевшая часть письма, без даты, очевидно, написана перед приездом Сахарова в Саратов.)

Столыпин вздохнул облегченно. Он страшно переживал, когда проливалась кровь. Что греха таить, он рад был, что эту грязную работу возьмет на себя генерал Сахаров. Столыпин предложил ему разместиться в его доме и отвел ему угловые комнаты своего кабинета на втором этаже. Там же Сахаров иногда принимал посетителей с их просьбами и жалобами. Все знали, что генерала прислал сам Государь. Пребывание Сахарова в Саратове закончилось трагично. Он был убит в сентябре 1905 года. Вот как описывает А. И. Солженицын его последние мгновения жизни в романе «Август четырнадцатого»:

«А Биценко-Камеристая? Из замечательных актов, проведенных женщиною самой, в одиночку. И как драматично придумано! — она не просто пришла к Сахарову с прошением, как Засулич, но в прошении написала Сахарову смертный приговор — и дала ему время прочесть несколько строк, дала осознать, поднять удивленные глаза — и только тогда выстрелила! Подлинно: приговор — и исполнение! Ее адвокат начал с того, что послал ей в камеру большой букет цветов».

Биценко-Камеристую приговорили к вечной каторге. Она освободилась после февральской революции. Ее имя еще раз мелькнуло в составе делегации в 1918 году, когда большевики заключали с немцами Брестский мир...

Когда произошло убийство Сахарова, Столыпина не было в городе. Он все чаще пропадал в поездках по уездам. Смерть Сахарова, да еще в собственном доме губернатора, потрясла Столыпина. Он понял, что никакая охрана, никакие заградительные барьеры не спасут его от пули или бомбы, которая будет предназначена ему. Когда Ольга Борисовна узнала об убийстве, она была в шоке. Она не знала, что ей предпринять, но почему-то ей стало казаться, что если она будет рядом с мужем, его никто не тронет. Вот уж поистине любящая женщина для своего мужа — и жена, и мать... Он всячески отговаривал ее от поездки...

Когда он понял, что за ним началась охота, а она продолжалась шесть лет, он записал такую фразу: «Каждое утро творю молитву и смотрю предстоящий день как на последний в жизни... Я понимаю смерть как расплату за убеждения».

Настало такое время, когда письма писать стало некогда. Саратовская губерния в буквальном смысле слова осенью 1905 года полыхала огнем. Уже много позже, когда Столыпин станет председателем Совета министров и министром внутренних дел, в Государственном совете и в Думе ему будут пенять, что и губернатор он был не ахти какой: ведь по статистике сожженных имений в Саратовской губернии было больше, чем в других областях.

И все же в Кейданы каждый день шли короткие весточки в виде телеграмм. Они плохо сохранились, потому что написаны карандашом, очевидно, отправитель сам заполнял телеграмму и ее посылали так, как она была написана.

«21.10.

Еду благополучно. Здоров. Целую».

«21.10.

Опаздываю на сутки в следствие бури здоров безпокоюсь без известий».

«22.10.

Сильно безпокоюсь безо всяких известий. Здесь теперь спокойно. Вчера были убитые и раненые порядок установлен».

«23.10.

Здоров Городе спокойно уездах беспорядки сегодня безмерно счастлив получил первое от тебя известие».

«25.10.

Здоров Городе благополучно уездах бунты погромы целую писать некогда».

«26.10.

Здоров городе спокойно уездах очень тревожно движение еще не вполне возстановилось вагоны едва ли могут придти раньше десяти дней».

Эта последняя телеграмма требует пояснений. Конечно же Ольга Борисовна была в курсе того, что происходит в губернии ее мужа. Ко всему прочему, она получала и саратовские газеты. Публикации легого толка нагоняли страхи и были переполнены злобой и ненавистью. Объектом травли номер один был ее муж. Чуть ли не в каждом номере такой газетки публиковались угрозы убийства губернатора со дня на день. И Ольга Борисовна принимает решение. Она настояла на том, чтобы как можно скорее приехать в Саратов. Причем сказала, что приедет со всеми детьми! В такое трагическое время, когда практически в России не осталось ни одного спокойного уголка, она решила быть вместе с мужем, хотя знала, какой опасности она подвергала жизнь всей семьи. Ольга Борисовна женщина порази-

тельного мужества и поразительной жертвенной любви. Это был тот случай, когда муж вынужден был подчиниться решению жены.

«27.10.

Здорово беспокоюсь без известий городе спокойно уездах очень плохо».

«27.10.

Телеграмму получил здоров уездах не улучшаетя городе спокойно ни разу не успел написать по-прошу писать тебе наших друзей».

«29.10.

Здоров Положение то же Вчера писал первый раз Сегодня некогда».

Письмо от 30 октября 1905 года из Саратова:

«Драгоценная, целую тебя перед сном. Теперь час ночи — работаю с 8 утра.

В приемной временная канцелярия. Околоточные дежурят и ночью. И вся работа бесплодна. Пугачевщина растет — все уничтожают, а теперь еще и убивают... Войск совсем мало, и я их так мучаю, что они скоро совсем слягут. Всю ночь говорил по аппарату телеграфному с разными станциями и разсылал пулеметы. Сегодня послал в Ртищево 2 пушки. Слава Богу, охраняем еще железнодорож. путь. Нужны войска — до их прихода если придут, все будет уничтожено. Вчера в селе Малиновка осквернили божий храм, в котором зарезали корову и испражнялись на образе Николая Чудотворца. Другие деревни возмутились и вырезали 40 человек. Малочисленные казаки зарубают крестьян, но это не отрезвляет. Я к сожалению не могу выходить из города, так как все нити в моих руках. Город совсем спокоен, вид обычный, ежедневно гуляю. Не бойся, меня охраняют,

хотя никогда я еще не был так безопасен. Революционеры знают, что если хотя бы один волос падет с моей головы, народ их всех перережет. Лишь бы пережить это время и уйти в отставку, довольно я послужил, больше требовать с обычного человека нельзя, а сознаешь, что бы ни сделал, свора, завладевшая общественным мнением, оплывает. Уже подлая здешняя пресса меня, спасшего город (говорю это сознательно) обвиняет в организации черной сотни.

Я совершенно спокоен, уповаю на Бога, который нас никогда не оставлял. Я думаю, что проливаемая кровь не падет на меня. И ты, мой обожаемый ангел, не падай духом...»

«31 октября.

Оленька моя, кажется ужасы нашей революции превзойдут ужасы французской. Вчера в Петровском уезде во время погрома имения Аплечева казаки (50 чел.) разогнали тысячную толпу. 20 убитых, много раненых. У Васильчиков 3 убитых, еще в разных местах 4. А в Малиновке казаки по приговору перед церковью забили насмерть 42 человека за осквернение святыни. Глава шайки был в мундире отнятого у полковника, местного помещика. Его тоже казнили, а интеллигентов держат под караулом до прибытия высшей власти... Жизнь уже не считают ни во что...

А еще много прольется крови.

В городе завтра хоронят убитого рабочего и готовятся опять демонстрации — весь гарнизон на ногах. Дай Бог силы пережить все это.

Целую тебя много нежно...

Как только уляжется, вышлю вагон».

Телеграмма от 31.10:

«Здоров положение без изменений городе спокойно уездах много человеческих жертв».

Телеграмма от 2.11:

«Здоров телеграфируй какого числа ты могла бы выехать для посылки вагона».

Телеграмма от 3.11:

«Здоров, благополучен не беспокойся если будет перерыв известиях при первой возможности высылаю вагон с надежным жандармом».

Телеграмма от 13.11:

«Благополучен. Жду нетерпением».

И наконец, его последнее письмо перед приездом семьи в Саратов:

«20 ноября.

Душка. Родная моя. Я так измучился за эти два дня, что решаюсь отправить тебе навстречу, хотя бы до самых Кейдан, околоточного надзирателя Равшу. По моим расчетам, выехав 16-го, ты должна была быть здесь вчера 19-го со скорым... Вообрази мою тревогу, когда мне из Ртищева сообщили, что и сегодня ты не поедешь со скорым. Действует только междугородний телефон на малых расстояниях и ничего узнать про тебя не могу, надеюсь на Бога и верю в тебя, что за тобою дети не пропадут. Я решил, что или кто-то из детей заболел, или ты посчитала, что забастует и железная дорога. Железные дороги действуют и пока не хотят бастовать и ты-бы проскочила. Боюсь теперь и думать за тебя.

...Аграрные беспорядки пока затихли. Все гимназии и школы бастуют и бунтуют. Творится что-то неопишваемое. Я, кажется, безопасен. На меня не озлоблены...»

...А в Петербурге царь лихорадочно «тасовал карты» в поисках сильной личности. Новый генерал-губернатор Д. Ф. Трепов внушал доверие Государю своей бравой наружностью, резкой прямоотой солдатской речи и страшными глазами, которые он тарачил на своего собеседника.

Забавно пишет о нем С. Витте в своих «Воспоминаниях»:

«На Невском проспекте вдруг я слышу голос «смирно!». Я невольно поднял глаза и увидел молодого офицера, который при приближении духовенства и гроба с телом Александра Третьего, скомандовал своему эскадрону «смирно», он скомандовал еще следующее: «Голову направо, смотри веселей!» Я спросил своего соседа:

— Кто этот дурак?

На что мой сосед ответил, что это ротмистр Трепов, тот самый Трепов, который впоследствии сыграл такую удивительную роль, сначала в качестве градоначальника Москвы, генерал-губернатора Петербурга, потом товарища Министра внутренних дел, а в сущности диктатора — впрямь до 17 октября 1905 года. Потом сделался дворцовым комендантом».

Война кончилась. Денег в стране не было. Министру финансов С. Витте удалось сделать на Западе заем для России в размере 800 миллионов рублей. Эти деньги почти все ушли на подавление революции. Если учесть, что долг помещиков-землевладельцев государству к началу 1906 года составил около одного миллиарда рублей, то нетрудно понять — экономическое положение в России было тяжелейшим. С. Витте настаивал на скорейших ре-

формах, царь медлил. Реформ он боялся, может быть, даже больше, чем беспорядков.

Осенью 1905 года С. Витте стал во главе Комитета министров, который позднее был переименован в Совет министров. 6 октября он письменно просил разрешения царя принять его. Царь два дня раздумывал. 9 октября в Царском Селе состоялась, можно сказать, историческая встреча. К этому времени уже бастовала Балтийская железная дорога и в Царское из Петербурга можно было попасть только водным путем. По этому поводу Государь жаловался великому князю Александру Михайловичу в телеграмме, что «положение постыдное».

Витте разговаривал с царем без подобострастия и даже, как показалось барону Фредериксу, без приличествующего моменту пиетета. Сергей Юльевич сказал, что есть два выхода из сложившегося в стране положения: или установление диктатуры, или переход к конституционному правлению. Если Государь примет второе решение, то у него, Витте, есть программа мероприятий. Государь, по своему обыкновению, ничего определенного не сказал. Так в неведении прошло еще четыре дня, которые резко ухудшили положение во всей стране. Наконец, 13 октября государь известил, что он назначает С. Ю. Витте председателем Совета министров. На что Витте ответил, что он примет назначение с условием, если будет принята его программа стабилизации в стране.

15 октября в Петергофе под председательством Государя прошло совещание, на котором кроме Витте присутствовали барон Фредерикс, генерал-адмирал Рихтер и специально вызванный с охоты (!) великий князь Николай Николаевич. Витте огласил проект манифеста, который был написан им лично.

Все проект одобрили, но царь опять не сказал ничего определенного. Тогда, как позже свидетельствовал барон Фредерикс, великий князь Николай Николаевич заявил, что он тут же на глазах Государя застрелится, если Государь не одобрит манифест. Очевидно, он очень торопился вернуться на охоту и у него не было желания быть свидетелем нерешительности царя.

17 октября царь подписал манифест. Объявлялось, что все законы будут издаваться Государственной думой, выборы в которую состоятся в ближайшее время. А назначенное царем правительство должно обеспечить народу неприкосновенность личности, свободу слова, совести, собраний и союзов. На следующий день подписанный царем манифест и доклад Витте о конституционных гарантиях были опубликованы.

В день публикации почти во всех крупных городах юго-запада России произошли еврейские погромы. Самый большой был в Киеве. В. В. Шульгин рассказывал, что он начался с того, что кто-то порвал портрет царя, в дыру просунулась голова подростка-еврея, тот, кривляясь, кричал, что он теперь царь...

В прессе появились стишки, мы их заучили наизусть еще в школе, когда «проходили» этот исторический период:

Царь испугался,
Издal манифест —
Мертвым свободу,
Живых под арест.

В этих виршах правда — только первая строка. Ибо свободы, объявленной правительством, вдруг стало так много, что народ чуть ею не подавился.

Однажды актер и режиссер Никита Михалков, которого я снимал в своем фильме «Время любить и время ненавидеть», сказал многозначительную фразу о том, что часто наш народ путает понятия «свободы» и «воли». Так вот мы до сих пор зачастую «свободу» подменяем «волей», когда все дозволено, когда кажется, что с помощью указов сняты все запреты, все ограничения, в том числе и моральные. Манифест привел к тому, что Россия катастрофически быстро прошла извилистый путь политического развития. На этот путь Западной Европе потребовалось несколько столетий. С уверенностью говорю, что Россия в 1905 году не готова была цивилизованно освоить «дарованные» свободы. Это слово я поставил в кавычки, потому что «подарок» был оплачен кровью и страданиями. А с другой стороны, власти предержавшие, как и всегда, опоздали и с реформами и с манифестом. И потому он не принес сразу желаемого результата, в чем сразу обвинили Витте, а Государь после того, как его заставили подписать манифест, буквально возненавидел председателя Совета министров. Сразу после опубликования манифеста стала выходить новая газета «Известия». В ней Лев Троцкий, большевик номер два во время Октябрьской революции, писал следующее: «Пролетариат знает, чего он не хочет. Он не хочет ни уголовного преступника Трепова, ни либеральной финансовой акулы Витте — ни волчьей пасти, ни лисьего хвоста. Пролетариат отвергает конституцию, которую создают под ударами полицейского хлыста».

Положение в стране не улучшалось. Витте пребывал в замешательстве. Царь после подписания манифеста, который не привел к мгновенным результатам, как ожидалось, впал в депрессию. Он

писал своей матери, Марии Федоровне: «Странно, что такой умный человек, как Витте, мог ошибиться в своих предположениях о легкости восстановления мира и порядка... Все боятся предпринять решительные действия, я продолжаю делать попытки заставить их — включая самого Витте — действовать более энергично. Никто из моего окружения не имеет привычки брать на себя или разделять ответственность. Все ожидают приказаний, которым они слишком часто не подчиняются и не выполняют... Витте теперь собирается арестовать всех основных главарей происшедших беспорядков. Некоторое время назад я неоднократно пытался заставить его сделать это, но он всегда говорил, что надеется все урегулировать, не прибегая к насильственным методам... после событий в Москве он радикально изменил свою точку зрения: теперь он всех хочет только вешать и расстреливать. Я никогда не видел человека, который был таким хамелеоном. Вот причина, по которой теперь никто ему больше не верит».

Витте почувствовал, что его положение при дворе резко пошатнулось. Он решил дать «задний ход» и смягчить некоторые статьи манифеста, подчеркнув в них главенствующую роль царя. Это были жалкие попытки. Тогда он зашел с другой стороны. Используя свой авторитет во Франции, он добился там невероятного по размерам займа — более двух миллиардов франков. Царь смягчился...

1 ноября 1905 года в Царском Селе впервые появился Григорий Распутин. Его туда привел великий князь Николай Николаевич. С этого дня Россия еще стремительнее понеслась к хаосу.

Николай лихорадочно искал противовесы тому разгулу либерализма, который, с его точки зрения,

мог погубить самодержавие. Этим противовесом, как ему казалось, были черносотенные организации и небезызвестный «Союз русского народа», во главе с доктором Дубровиным (в 1906 году Дубровин организовал покушение на Витте, которое не состоялось по чисто техническим причинам). В конце декабря Государь принял депутацию во главе с Дубровиным. Тот прочел самодержцу приветственный адрес и вручил два знака «Союза» для него и для наследника. Царь был растроган до слез.

Еще до недавнего времени у нас господствовал стереотип, будто значительная часть научной, творческой интеллигенции начала века сочувствовала революции. Очевидно, так оно и было. Но в то же время выдающиеся умы категорически отвергали революционный путь развития России и предлагали свое решение вопроса. Так, например, великий русский ученый, биолог с мировым именем Илья Ильич Мечников предлагал свой путь борьбы с революцией. По его теории надо было отдать Петербург и Москву или какую-нибудь губернию, не важно какую, на откуп революционерам. Затем через несколько месяцев осадить и взять, причем расстрелять при этом несколько десятков человек. Тогда, по его мнению, революции был бы положен конец. Эту теорию он изложил С. Ю. Витте, придя к нему на прием. Витте вспоминал, что он смотрел на великого ученого как на городского сумасшедшего...

Между тем беспорядки в Саратовской губернии медленно шли на спад. Правда, не обходилось без угроз в адрес губернатора и гнусных анонимных писем. Левые в середине декабря требовали, чтобы им разрешили провести собрание в оперном театре.

Столыпин запретил. Тогда стали приходиться анонимные угрозы: если губернатор не разрешит, то отравят его сына... Можно себе представить состояние родителей. Ольга Борисовна лично снимала пробу со всех блюд, которые готовились у них на кухне.

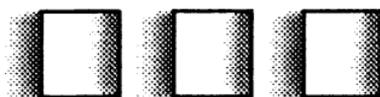
Так называемая либеральная интеллигенция на излете 1905 года восхищалась Витте. Под его обаянием была и старшая дочь Столыпиных Мария. Ей в ту пору уже было двадцать лет. Взрослая девушка. Однажды она с восхищением говорила о Витте с отцом. Столыпин слушал, молчал, словно выбирал слова. Потом, по свидетельству дочери, ответил:

— Он умный человек и достаточно сильный. Возможно, он удержит Россию на краю пропасти. Но он это не сделает...

На недоуменный вопрос дочери Петр Аркадьевич добавил:

— Это человек, думающий больше всего о себе, а потом уже о Родине. А Россия, наша требует себе служения настолько жертвенно-чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует всю работу.

Золотые слова.



Глава 10

ДМИТРИЙ

В

мае 1905 года Митя Богров с отличием окончил Первую киевскую гимназию и осенью поступил в университет, как потом вспоминали его товарищи, «вполне сформировавшимся революционером-социалистом». В это время ему исполнилось восемнадцать лет. Как метко подметил А. И. Солженицын, «он родился в день, когда умер Пушкин, но ровно через 50 лет, через поворот века, на другом конце диаметра. И — в Киеве».

Мать Дмитрия Богрова увезла его в Мюнхен на следующий день, после того как в Киеве начались еврейские погромы. Позднее, на допросах в сентябре 1911 года, он скажет, что хотел отомстить за угнетенных евреев. Все это ложь. Мстить за бедных евреев он мог начать прямо с 18 октября, но поехал в Мюнхен, где спокойно почитывал книжки «о рабочем

движении» и жил довольно бурной жизнью, посещая предмет своей страсти — игорный дом. На этой почве с родителями были конфликты, в основном с матерью, ибо отец сам был игроком, но старший Богров играл умно, осмотрительно и часто выигрывал. В этом плане яблоко от яблони упало далеко. Возвращаясь к вопросу о мести, я решительно настаиваю на том, что Мите Богрову не было никакого дела до притесняемых евреев, до черты оседлости, до ограниченного процента поступления в гимназии и другие учебные заведения. Он был с самого детства настолько сконцентрирован на самом себе, на своем внутреннем мире, на своих амбициях чудовищного размера, о которых, быть может, догадывался только один человек — его мать. И увезла она его не как потенциальную жертву погрома, а как потенциального участника, которому необходим театр, но исключительно театр одного актера. Возможно, Дмитрий и сам об этом не подозревал...

Его добровольное обращение к охранке с предложением собственных услуг, понятное дело, менее всего касалось материальной выгоды. Хотя история тесных и запутанных отношений между охранкой и революционерами разных мастей знает случаи вполне анекдотичные. Преемник А. Лопухина на посту начальника департамента полиции А. Герасимов в своих воспоминаниях пишет, как к ним пришел молодой человек в довольно поношенном костюме и сказал, что он хочет добровольно доносить на эсеров. Когда его спросили, чем вызван его столь ответственный шаг, он, помявшись, сказал, что эсеры уже давно обещали купить ему «калоши», но не купили, а у него прохудилась обувь и ходить не в чем. Вот он на них и обиделся. Герасимов дал

ему денег на «калоши» и выгнал. Не очень верится в столь благородный поступок одного из самых жестоких людей в этом департаменте, но, согласитесь, история звучит забавно. У Богрова было довольно денег на личные нужды. Хотя, если постоянно находиться в проигрыше, их много не бывает. И потому те 100—150 рублей, которые он получал от охраны, вряд ли могли удовлетворить его азарт игрока. Ему было интересно находиться над схваткой. Ему интересно было наблюдать, как по его воле решаются судьбы людей по обе стороны баррикад. Это тоже была своеобразная игра, правда, игра жестокая, игра с огнем, где от каждой стороны можно получить или пулю, или петлю. Но тем острее ощущения. Иногда у меня создается впечатление, что Богров, чуть ли не на клеточном уровне, был лишен чувства страха. А следовательно, и чувства сострадания. Это особый тип человека, который нормально живет и нормально себя чувствует только тогда, когда адреналин поступает в кровь. Все же остальное время — лишь подготовка к действиям, которые вызывают столь острые ощущения. В то жестокое и удивительное время (можно подумать, что сегодня оно менее жестокое!) очень модно было уходить в террор и подполье. Это как-то сразу вызвало в глазах окружающих, в гостиных, где барышни, округлив глаза, слушали небрежные намеки на какие-то невероятно страшные и таинственные дела...

Хочу привести маленькую справку. В особенности для тех, кто до сих пор считает Богрова истинным революционером-одиночкой.

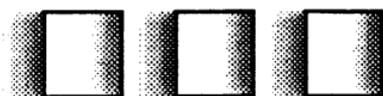
«Дело Департамента полиции, 7 делопроизводства, № 1902, о Дмитриии Григорьеве Богрове...

Справка: В декабре 1905 года в бытность сту-

дентом университета св. Владимира в Киеве, Богров по агентурным указаниям начальника киевского губернского жандармского управления, доставил мешанину Фридману тюк с нелегальными изданиями, прося его распространить среди крестьян. О Фридмане было возбуждено дознание. В 1908 году, уже состоя охранником и принадлежа к группе киевских анархистов-коммунистов, Богров при ликвидации (арестах. — В. Х.) группы, был подвергнут обыску, но по безрезультатности такого арестован не был. По агентурным сведениям, Богров в мае 1909 г. получил из Парижа два письма, в которых его просили, если возможно, сообщить по телеграфу адрес для присылки нелегальной литературы, которая уже была отправлена в Россию, и, кроме того, просили дать явку киевской группе...»

Бесстрашие. Выдержка. Страсть к эффектным театральным позам. Еще до отъезда с матерью в Мюнхен Богров пришел на чтения в так называемое литературно-артистическое общество. Это общество раздражало киевскую полицию. Она, не всегда разобравшись, что там читают, разгоняла их, иногда применяя и шашки. Так вот, во время чтения какого-то реферата нагрянули жандармы и стали разгонять публику с шашками наголо. Публика, естественно, бросилась врассыпную. Не побежал один только Митя Богров, который загородился палкой. И она была перерублена пополам. Молодец Митя ходил на артистические чтения исключительно с палкой. Моя ирония, возможно, уместна потому, что этот случай, описанный в газете неким А. Мушиным, автор статейки узнал из уст самого Мити Богрова. Но, так или иначе, в Киеве у него была репутация храброго человека.

На студенческих сходках его появление встречали оживленно и радостно, хотя многие его сторонились, считая «белоподкладочником». У него даже появилась кличка среди приятелей: Митька-буржуй. Не очень любили его за высокомерие и черный юмор. Богрова угнетало одно — в Киеве ему трудно было развернуться, уж больно город маленький для его честолюбивых замыслов, которые в 1906 году еще не успели оформиться в некую совершенную, законченную цель.



**Часть
вторая**

Глава 1

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН

В

первые месяцы 1906 года Россию еще сотрясали забастовки, поджоги имений, покушения и убийства, зачастую людей, ни в чем не повинных. Но таков уж русский бунт: все идет на слом, что попадает под горячую руку. Однако было заметно, что революция понемногу идет на спад. Тому несколько причин. Одна из них, возможно, заключалась в том, что в России на ту пору не было одной мощной революционной организации, которая объединила бы под свое начало выступления разрозненных групп. Вторая причина заключалась в том, что шли первые в тысячелетней истории России выборы в Государственную думу. У правых было такое отвращение к новой общественной организации, что они устранились от выборов. Социал-демократы их тоже решили бойкотировать. Правда, спустя некоторое время

Владимир Ульянов (Ленин) признал это тактической ошибкой. Либеральная общественность решила: Дума — вот спасение от всех бед, и стоит только народным избранникам собраться вместе и начать говорить о нуждах и бедах народа, как сразу все изменится к лучшему. Как все это знакомо!..

В семье Столыпиных были радостные новости. Они тем более были приятны, что пришли неожиданно. Из Царского Села сообщили, что двадцатилетнюю Машу Столыпину назначили фрейлиной императорского двора. Ольга Борисовна понимала, что это не случайно и что грядут перемены в государственной деятельности ее мужа. Снова возникли разговоры о назначении Петра Аркадьевича управляющим Крестьянским банком. Откровенно говоря, Столыпин хотел покинуть Саратовскую губернию, потому что невероятно устал. И вместе с тем у него было чувство вины оттого, что он не устоял против насилия. Он понимал, что другого выхода не было, что он с чистым сердцем имел право сказать: «Я сделал все, что мог. Теперь пусть придет тот, кто сделает больше». Пролитая кровь не давала ему покоя, он потерял сон, впервые ощутил, как жмет сердце. Да, он хотел служить Государю, России, однако думал, что в Крестьянском банке ему будет покойнее, да и к царю все же будет легче попасть на аудиенцию, чтобы более обстоятельно рассказать о планах земельной реформы. Вот уже прошло несколько месяцев, как С. Ю. Витте возглавил кабинет министров, получив полномочия, которых никогда раньше не было у российских министров, — сдвигов никаких. Больше всего удивляло Столыпина, что Витте все чаще высказывался о том, что Россия еще не созрела для реформ. «Испугался», — думал про него Столыпин и решил, что «хитрый банкир» недолго усидит в своем кресле.

Петр Аркадьевич был в стороне от выборов, но

удивлялся тому, кто попадал в депутаты. Вот, например, «Союз русского народа» и «Союз Михаила Архангела», две организации, по мнению Петра Аркадьевича, мало чем отличавшиеся друг от друга, смекнули, что, имея своих представителей в Думе, они могут добиться еще большего влияния в борьбе с самым главным, с их точки зрения, злом России — с евреями. Как позднее выяснилось, все еврейские погромы, по странному стечению обстоятельств произошедшие одновременно 18 октября, сразу после опубликования манифеста, были организованы этими «союзниками» при попустительстве полиции, которая хорошо была осведомлена о готовившихся погромах. В Саратове их удалось предотвратить из-за личного вмешательства Столыпина.

Между тем в Петербурге политическая жизнь бурлила. Государь уже не скрывал своей неприязни по отношению к Витте. Кроме того, Николай не без оснований полагал, что Россия, получив из его рук Государственную думу, должна иметь другое правительство. Атака на Витте шла со всех сторон. В начале апреля 1906 года критика превратилась в откровенную травлю. Витте написал прошение об отставке. В глубине души он надеялся, что она не будет принята. Ведь это он спас Россию и царя от революции. Витте довольно часто говорил об этом в различных аудиториях. Понятно, что его высказывания стали известны Николаю. Прощение об отставке было подписано царем мгновенно. Здесь он был решителен как никогда. Однако он лично попросил Сергея Юльевича помочь в создании нового кабинета министров. Эту просьбу тот понял таким образом, что царь отправил его во «временную отставку», и потому рьяно взялся за дело. Председателем Совета министров стал Иван Логгино-

вич Горемыкин. Его настойчиво рекомендовал царю начальник дворцовой охраны Трепов. Самые большие споры были вокруг должности министра внутренних дел. При Витте ее занимал Дурново. На этом совещании впервые прозвучала фамилия Столыпина. Большинство из собравшихся считали, что Столыпин — самая подходящая фигура. Многие пересказывали эпизоды его деятельности в Саратове, особенно в 1905 году. Витте сначала согласился. Однако ночью он позвонил Дурново и сказал, что тот остается министром внутренних дел. Дурново был вне себя от радости, а его супруга на следующий день поехала на Аптекарский остров выбирать государственную дачу...

18 апреля Столыпин получил телеграмму из Царского Села за подписью Государя. Петру Аркадьевичу предписывалось срочно приехать в Царское «для серьезного и обстоятельного разговора».

Супруги терялись в догадках, зачем Государь спешно вызывает Столыпина в Петербург. Для того чтобы назначить его управляющим Крестьянским банком, достаточно аудиенции у министра финансов В. Н. Коковцова.

Так или иначе, Столыпин спешно прибыл в Петербург. Брат ему сказал, что его прочт в министры внутренних дел. Столыпин окаменел. Да, он понимал, что у министра практически почти вся исполнительная власть, что Горемыкин — человек старый и равнодушный, что такое назначение — поразительный взлет. Но он хорошо помнил, на кого в России охотились в первую очередь и каких министров чаще всего убивали...

Был понедельник. Столыпин удивился, в городе было много теплее, чем в Саратове. Он не помнил, как оказался у Князь-Владимирского собора, что

находился по другую сторону Невы, почти напротив Зимнего. Столыпин стоял перед иконой Казанской Божьей Матери и молил ее об одном: «Да минует меня чаша сия». Он вышел из храма, вдохнул полной грудью, ощутив волнуемый с юности запах набухших почек, и вздрогнул оттого, что кто-то держал его за сапог. Он посмотрел вниз. На него глядел юродивый с вытекшим глазом, требовательно протянув руку за подаванием. Столыпин кинул ему серебряный рубль. Рубль зазвенел, ударившись о камень. Нищий ловко схватил монету. Столыпин уходил.

— Бери, что дают! — закричал юродивый злобно вслед. — И не верь им никому, омманут! Барин!

Столыпин торопливо удалялся от него, словно стараясь избавиться от мерзкого запаха, исходившего от юродивого, который все кричал:

— Омманут, барин! Погибнешь!...

«Принесло его на мою голову», — бормотал расстроенный Петр Аркадьевич, укладываясь спать в своем номере «Отель-Европа», и все думал, как ему разговаривать завтра с Государем, представ перед ним в Царском.

С тех пор как на Столыпина совершили покушение, он постоянно думал о том, как придет к нему смерть, и решив, что лишь Господь знает, когда ему уготован конец жизни земной, он успокоился. Ибо у каждого свой срок. Кому суждено утонуть, в огне не сгорит. А бояться... Глупо. В Саратове на него было около пяти покушений, но все какие-то не-серьезные. Однажды в Балашове в него два раза выстрелили из-за кустов. Он погнался за террористами. Погнался один, без казачков, не думая, что те двое могут остановиться и пристрелить его. Но стрелявшие настолько привыкли, что их все боятся, что испугались сами. Им удалось убежать.

Уже засыпая, Столыпин понял, что должен быть

честен с Государем и прямо сказать, что он пока не готов к исполнению столь высокой должности. С тем и заснул. Утром проснулся в прекрасном настроении: ему приснилась Ольга, совсем юная, еще девочка, и будто он купал ее в речке, она смеялась и все отворачивала свое прелестное лицо, когда он пытался ее поцеловать.

Железнодорожных забастовок в апреле 1906 года в Питере уже не было, и он спокойно добрался до Царского Села. Каждый раз, когда Столыпин приезжал сюда, он не уставал восхищаться великолепием парка, изумительной красоты зданиями, возведенными несколькими поколениями русских царей. Столыпин вдруг подумал, что ежели сюда попасть волшебным образом, не видя ни лапотной России, ни грязных окраин городков и посадов, можно подумать, что здесь резиденция мощной и процветающей страны — настолько поражало изысканное богатство Царского Села, особенно тех, кто сюда попадал впервые. Не считая казаков, спокойствие царской семьи и их окружения охраняло более полутысячи солдат, отобранных из различных воинских частей. На территории присутствовало огромное количество полицейских в штатском. Этот народец Столыпин сразу узнавал по тем пристальным и быстрым взглядам, какие на него бросали незнакомые люди, пока он шел к Александровскому дворцу.

Его встретил барон Фредерикс любезной, даже слишком приторной улыбкой и сразу незамедлительно провел в кабинет к Государю. Едва Столыпин вошел, как тут же отворилась противоположная дверь и появился Николай.

— У вас усталый вид, Петр Аркадьевич, — произнес искренно и озабоченно Государь после ритуальных приветствий. — Но, увы, я не могу вас отправить в отпуск...

Столыпин почтительно склонил голову.

— Надеюсь, вы догадываетесь, зачем я вас столь спешно вызвал из Саратова. Порой я не успею подумать о назначении, как о нем уже говорит весь Петербург, — засмеялся царь.

Столыпин вежливо улыбнулся.

— Я хочу вас назначить на пост министра внутренних дел...

Столыпин хотел было что-то сказать, но Государь жестом руки остановил его:

— Петр Николаевич¹ хорошо поработал в должности, я ему признателен. Но он противник нашего народного веча. Ему непросто будет служить с тем же рвением в совершенно новых условиях. Дума же открывается через несколько дней, и я хочу, чтобы кабинет министров был готов к новым условиям жизни, в каких оказалась наша многострадальная Россия.

Столыпин почти с обожанием смотрел на Государя и молчал. Он ждал, что Государь скажет еще что-то.

— Отчего вы молчите, Столыпин? — спросил Государь, приблизившись к Петру Аркадьевичу почти вплотную. Столыпин впервые видел царя так близко, видел его большие, чуть навывкате серо-голубые глаза, он заметил уже намечавшиеся мешки под ними, и еще он увидел в глубине царского взгляда такую печаль и тоску, что понял, как одинок и несчастен его Государь. Он почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, и, чтобы не дать волю чувствам, внезапно нахлынувшим на него, Столыпин быстро заговорил:

— Я безмерно счастлив и взволнован, Ваше Величество! Я понимаю ваше предложение как оценку моей скромной службы... Не хочу вас огорчить, но я должен вам сказать прямо. Я не знаю этой службы,

¹Дурново. — В. Х.

я не знаю особенности Петербурга, и я не уверен, что мои скромные возможности будут соответствовать вашему высокому доверию. Простите, Ваше Величество, но я вынужден отказаться... Я могу подчиниться только в одном случае...

— В каком же? — безразлично спросил Николай. Он уже отошел к окну и задал вопрос, стоя спиной к Столыпину.

— Если вы мне прикажете, Ваше Величество, — совсем тихо произнес Столыпин и замер.

Государь повернулся. Он смотрел на Столыпина с восхищением.

— Я вам приказываю, Петр Аркадьевич, — мягко и тихо произнес он.

Ольга Борисовна, узнав о новом назначении, почувствовала, как у нее оборвалось сердце. Она поднялась в свою спальню и разрыдалась, боясь, что ее услышат дети. Девятилетняя младшая дочь Сашенька робко постучалась в дверь. Ольга Борисовна как можно спокойнее произнесла: «Я занята». Она думала о том, что Саратов остался в прошлом, вероятней всего, навсегда. Она так и не смогла полюбить этот приволжский город. Да, она мечтала о Петербурге, она хотела жить в своем любимом городе, городе ее девических мечтаний. Но — такое назначение!.. В такое время!.. Совершенно ясно, что ее муж, семья сразу становятся объектом охоты. Ибо в последнее десятилетие в России чаще всего убивали министров внутренних дел. Ольга Борисовна понимала, что если *они* поставят задачей убить ее мужа, ничто не сможет его спасти. Она знала, однако, что стоит ей сказать слово, и он откажется от должности. Она знала также слишком хорошо, что такое двор. Все страшно напуганы революцией — и решили, что ее Петр Ар-

кадьевич их спасет. Но едва опасность минует, надобность в нем отпадет. Как отпала надобность в Витте да и в целой веренице преданных царю людей. А ее муж доверчив, он искренно полагает, что его деятельность нужна России, нужна Государю. Он часто не хочет видеть подводных течений, истинных пружин сложнейших дворцовых интриг. Там не бывает дружбы, не бывает сердечной привязанности. Впрочем, этих качеств не может быть там, где власть. Там существуют лишь сиюминутные интересы, и потому враги становятся друзьями и, наоборот, принципы меняются в зависимости от ситуации. Все старо, как мир. Ольга Борисовна давно поняла, что страной правит не Государь, а его окружение. Царь в нем, очевидно, разочаровался и потому призвал Столыпина. Надолго ли? Впрочем, говорила она себе, возможно, его смерть придет раньше этого...

Да, он откажется от поста, станет управляющим каким-нибудь банком или уйдет в отставку и никогда не попрекнет ее, но камень у него на сердце останется. Он будет истязать себя мыслью, что мог сделать для России гораздо больше, но... смалодушничал, испугался.

Ольга Борисовна подошла к зеркалу, строго и придирчиво осмотрела свое лицо, тщательно припудрила его и вышла к притихшим детям, ожидавшим ее внизу...

Письмо Столыпина — Ольге Борисовне:

«...Если ждет меня неуспех, если придется уйти через два месяца, то надо быть снисходительным — я ведь первый в России конституционный Министр внутренних дел.

Пишу подробно, так как завтра будет открытие Думы и целый день церемонии. Я надеялся, что назначение мое состоится после открытия, но сейчас мне сообщили, что оно завтра будет напечатано в

Прав. вестнике и мне уже прислали билет в Тронный зал.

На днях переберусь на Мойку, 61, где займу две-три комнаты на первое время до дачи. Дача, говорят, сухая, хотя и немного темна... В П. будет свой катер — безопасно и приятно.

Горемыкин просил ему предоставить дом на Фонтанке (раззолоченный саркофаг Сипягина) или дом на Мойке. Это остается открытым до осени, решаюсь взять дом на Мойке, где много хороших, на Фонтанке только внешнее великолепие, а жить негде.

Мои отношения с Горемыкиным самые приятные и он мешать делу не будет. Я должен себе заказать у Ненги целый гардероб. Завтра позову смотрителя домов и подробно напишу тебе про укладку и прочее...

Сегодня весь день сидел у Дурново и Горемыкина и не успел отдать визит массе лиц у меня побывавших.

Устал я, ангел, здоров, люблю, люблю тебя. *Твой.*

Дочек милых моих целую...»

(Очевидно, это письмо без начала и даты, было написано 25 апреля 1906 года.)



Глава 2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА. ПЕРВЫЙ ОПЫТ



етверг 27 апреля 1906 года стал историческим днем для России. Начала работу Первая Государственная дума. В то время она не называлась первой, потому что еще никто не знал, что Думу будут разгонять, и не один раз. Для этого существовала так называемая 87-я статья «уложений о законах». Этот день многие считали поворотным в судьбе России. Из 478 депутатов самая большая фракция состояла из партии кадетов. Их было 179 человек. Потом шли крестьяне-трудовики, они выражали интересы партии эсеров. Левые называли эту Думу — «Думой народного возмездия».

Вот что писал Николай Второй в своем дневнике по поводу открытия первого заседания Думы: «Знаменательный день приема Государственного Совета и Государственной Думы

и начало официального существования последней. Мамá приехала в 8 час. из Гатчины и отправилась с нами морем в Петербург. Погода была летняя и штиль. На «Петергофе» пошли к крепости и оттуда на нем же к Зимнему. Завтракали в 11. В час начался выход в Георгиевскую залу. После молебна я (сказал) прочел приветственное слово. Государственный Совет стоял справа, а Дума слева от престола. Вернулись тем же порядком в Малахитовую. В 3 часа сели на паровой катер и, перейдя на «Александрию», пошли обратно. Приехали домой в четыре с половиной. Занимался долго, но с облегченным сердцем после благополучного окончания бывшего торжества...»

Некоторые историки впоследствии писали, что Дума встретила речь царя чуть ли не гробовым молчанием, а императрица Александра Федоровна, сидевшая в ложе, покрылась вся яркими пятнами и последовала за царем, когда он раскланивался перед думцами и Госсоветом в полной тишине.

Обер-гофмейстер барон Фредерикс вспоминал, что он более мерзкого сборища в своей жизни не видел.

Валентин Пикуль так описывал открытие Думы: «Еще никогда Зимний Дворец не видел столько крестьянских свиток, восточных халатов, малороссийских жупанов и польских кунтушей. Для апреля день был на диво жаркий, почти удушливый... Громко хрустели платья придворных дам, осыпанные драгоценностями. Вот пронесли корону с рубином в 400 каратов.

...На хорах разместились наемная клака, получившая от Фредерикса по 20 копеек с возгласа «Слава Государю!»... Николай Второй зачитал обращение к депутатам:

«Всевышним промыслом врученное мне попечение о благе отечества побудило меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа...» А вот последняя фраза речи царя: «Приступайте с благоговением к работе, на которую я вас призвал, и оправдайте достойно доверие царя и народа!»

...Случилось непоправимое: Дума молчала. Николай попросту растерялся... Акт церемонии закончился. Настроение царской семьи и свиты было подавленным. Эта злоба комком застряла в горле царя, и два часа подряд Николай, несмотря на все старания лейб-медиков, не мог произнести ни слова — у него образовалась спазма глотки».

Хотелось бы задать вопрос: а как же клака, оплаченная обер-гофмейстером бароном В. Фредериксом? Ведь этих людей было на хорах больше сотни. Неувязка! Реакция на выступление царя была самая разнообразная. Понятно, что гробового молчания не было. И не могло быть.

Однако есть и другое свидетельство, которое мне хотелось бы привести.

Письмо Столыпина — Ольге Борисовне:

«29 апреля 1906 года. С.-П.»

Обожаемая, пишу в интервале между иркутским генерал-губернатором и Д-ром Департамента. Хотя я еще докладов не принимаю, но трудиться приходится сплошь 18 часов. Со временем все это упростится. Градоначальник с рапортами является в 12 часов ночи, а начальник охранного отделения в 11,5, чтобы доложить за сутки.

Про открытие Думы и Гос. Совета я не пишу, так как все было в газетах. Скажу только, что Государь

свою речь (которую сам сочинил) сказал с таким чувством, что надо было быть каменным, чтобы не расчувствоваться. Это была не речь, а пламенная молитва. Что будет в Думе, какие там образуются партии, я не знаю, но большинство очень крайнее.

Покуда я, несмотря на чудную погоду, не переехал на дачу, чтобы быть тут поближе. Вообще я устраивался только на лето, т. к. не знаю, что будет осенью...»

Едва начав работать, Столыпин приобрел двух мощных и влиятельных врагов, правда, поначалу не подозревал об этом. Первый был в лице отставного премьера С. Ю. Витте, которого царь назначил членом Госсовета. Сергей Юльевич был человеком честолюбивым до крайности и злопамятным. В результате вмешательства начальника дворцовой охраны Трепова царь назначил Столыпина министром, хотя за два дня до этого сам пообещал Дурново, что тот останется в своей должности. Дурново, естественно, бросился за разъяснениями к Витте. Тем более что жена министра внутренних дел уже присмотрела себе неплохую дачку на Аптекарском острове, которую уже через два дня пришлось освободить. Ужасное унижение! Понятно, что виноват крайний, то есть Столыпин. Таким образом Дурново стал врагом Петра Аркадьевича номер два. Николай, понимая, что он весьма обидел Дурново, распорядился выдать ему из государственной казны «отступного» в размере 200 тысяч рублей. Увы, эта гигантская сумма не сделала Дурново сторонником нового министра.

Весьма скоро в работе Думы обозначилась тенденция. Любое предложение со стороны правительства подвергалось уничижительной критике

и обструкции. Однако Столыпин не терял надежды найти общий язык с Думой. Вот что писала газета «Новое время» о взаимоотношениях Думы и Столыпина: «Столыпин выдвинулся и определился в Думе. Но в то же время он в значительной степени определил собой Государственную думу. Если Государственная дума в настоящее время работает и законодательствует, то этим, до известной степени, обязана Столыпину. Столыпин интуитивно почувствовал Думу. С самого первого же выступления основной тон был взят им совершенно правильно...»

В конце мая Столыпины перебрались на государственную дачу на Аптекарском острове. Ольге Борисовне она показалась темной, сырой, неуютной, да и территория вокруг была слишком маленькой, не сравнить с Калноберже. Рядом протекала Невка, в которой вода была по большей части свинцового цвета из-за низкого сырого петербургского неба. Девочки возбужденно носились по дому, Маня на них притворно покрикивала, а больше всех радовался трехлетний Адя. Ольга Борисовна смотрела на своих детей, на хлопотавших слуг и вдруг успокоилась, решив, что Господь будет милостив и что совсем необязательно, чтобы кто-то в них стрелял или метал бомбы. С тем она и стала заниматься наведением порядка, отчаянно и безуспешно борясь с затхлым казенным запахом, который, казалось, пропитал всю дачу насквозь. Петр Аркадьевич, по обыкновению, занял верхнюю угловую комнату под кабинет. Наташе очень нравился балкон, выходящий на прилегающую улицу. С балкона всегда было интересно наблюдать, как к

даче подъезжают в экипажах или просто в колясках чиновники, просители, разный служивый народ. А вечерами, в тишине, слышно было с Невки, как волны накатывались на маленькую деревянную пристань. «Все будет хорошо», — твердо сказала себе Ольга Борисовна, оглядывая мощный забор вокруг дачи, видя многочисленную охрану на территории и прилегающих улицах. Оно и понятно: летом здесь жили большинство из министров нового кабинета Горемыкина.

Неожиданно у Петра Аркадьевича разболелась рука. Очевидно, спало напряжение, в котором он находился последний месяц, когда весь организм мобилизован. Левой рукой он поддерживал кисть правой, когда писал. В эти последние дни мая он чуть не скрежетал зубами от боли, хотя что-что, а боль он умел терпеть. Кисть невероятно распухла. Началось воспаление. Домашний доктор Штейн настаивал на операции. Столыпин нервничал: 8 июня ему предстояло первое выступление в Думе. Отменить или перенести его он никак не мог. Левые тут же заявят, что испугался. Операцию переносить тоже нельзя, доктора твердят, что могут случиться еще большие неприятности... 3 июня ему сделали операцию.

8 июня с забинтованной рукой он впервые выступал перед депутатами Государственной думы. Он сделал это вместо Горемыкина, который возненавидел Думу сразу же после ее торжественного открытия и заявил, что ноги его в Думе не будет. Надо сказать, что слово свое председатель Совета министров сдержал...

Между тем работа в министерстве внутренних дел отнимала у Столыпина много сил. Когда-то в молодости он служил здесь рядовым чиновником,

сейчас приходилось вникать в такие вопросы, о которых он раньше не имел представления, — в частности, тайный сыск, работа тайных агентов, или провокаторов, как их называли в либеральной прессе. Его близкий товарищ по гимназии А. Лопухин, заведовавший департаментом полиции, был отправлен в отставку за то, что разоблачил подпольную черносотенную типографию в одном из полицейских участков. Лопухин слабо разбирался в оперативной и розыскной работе. Более того, он даже пытался ликвидировать провокаторскую деятельность, за что восстановил против себя чуть ли не весь департамент. Его подчиненный полковник А. Герасимов пытался объяснить, что без тайных агентов нынешняя полиция беспомощна. Лопухин стоял на своем. Его место занял А. Герасимов, а Лопухина назначили губернатором Эстляндии. Он очень обиделся. И обиду эту затаил. Столыпин принял департамент и всячески стал поддерживать практику тайного доносительства, агентов, внедряемых в левые организации. Но он, разумеется, не подозревал, какие сложные, запутанные отношения и связи существуют между тайными осведомителями двух противоборствующих сторон...

Сорок дней работы Госдумы окончательно развеяли иллюзии относительно того, что в России начинается новая эпоха. Ни о каком созидании речи быть не могло. И если царь во всем винил Витте, который настаивал на создании Думы, то другие, более дальновидные политики видели, что были совершены очевидные ошибки, когда шла предвыборная кампания. Левые категорически не хотели сотрудничества с правительством. Складывалось впе-

чатление, что главная цель думцев — свалить правительство и сильнее раздуть пожар беспорядков, ибо революция шла на спад.

Дума Столыпина приняла враждебно. Едва он поднялся на трибуну, как послышались насмешливые и злобные реплики слева. Он спокойно стоял, забыв о больной руке, и смотрел прямо перед собой. Подождал, пока стихнет шум. И добился того, что установилась тишина. Он знал, как разговаривать с толпой. Не важно, где она собирается, на церковной площади, в каком-нибудь саратовском уезде, в городе или здесь, в Думе. Он почувствовал, что волнение улеглось и, обладая мощным баритоном, способным перекрыть крики разъяренного люда, стал говорить нарочито тихим голосом. Думцы, сиюсь услышать, что там говорит новый министр внутренних дел, окончательно замолчали.

«Меня интересует не столько ответственность отдельных лиц, сколько степень пригодности опороченного орудия моей власти. Не предпослав этому объяснения, мне было бы трудно говорить о происшествиях настоящего. Поэтому остановлюсь сначала вкратце на инкриминируемой деятельности департамента полиции в минувшую зиму и оговариваюсь вперед, что недомолвок не допускаю и полуправды не признаю».

Левые очень быстро разобрались, что перед ними стоит сильный, властный человек, который не намерен им уступать, не намерен с ними заигрывать. Его стали прерывать, свистеть, шикать. Столыпин замолкал, а потом спокойно продолжал:

«Власть не может считаться целью. Власть — это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка; поэтому, осуждая всемерно произвол и са-

мовластие, нельзя не считать опасным безвластие правительства. Не нужно забывать, что бездействие власти ведет к анархии, что правительство не есть аппарат бессилия и искательства. Правительство — аппарат власти, опирающейся на законы, отсюда ясно, что министр должен и будет требовать от чинов министерства осмотрительности, осторожности и справедливости, но также твердого исполнения своего долга и закона... все меры, принимаемые в этом направлении, знаменуют не реакцию, а порядок, необходимый для развития самых широких реформ...

...Согласно понятию здравого правосознания, мне надлежит справедливо и твердо охранять порядок в России. (*Шум, свистки.*) Этот шум мне мешает, но меня не смущает и смутить меня не может. Это моя роль, а захватывать законодательную власть я не вправе, изменять законы я не могу. Законы изменять и действовать в этом направлении будете вы. (*Шум, крики: «Отставка!»*).

На дачу Столыпин вернулся совершенно разбитым, расстроенным, он уклонился от объяснений с Ольгой Борисовной, сказав, что хочет побыть один. Он надеялся, что ему удастся найти общий язык с думцами. Он надеялся, что может спокойно и доказательно объяснить, что в порядке заинтересованы все. Не получилось. Он еще раз просмотрел наброски к своему выступлению. Нет, себя он ни в чем не может обвинить. Значит, придется бороться. Или думцы его скинут, или... Он даже не стал договаривать себе, что может скрываться под этим «или». С тоской он размышлял, как найти такие слова, чтобы могли их убедить, и все больше приходил к мыс-

ли, что таких слов нет. А есть противостояние, есть вражда.

Больше всех радовался тому, что Столыпина ошкарал, Сергей Юльевич Витте. Он четко осознал: пока у власти Столыпин, ему, Витте, во власть не вернуться. Прочитав его «Воспоминания», чувствуешь, сколь пристальным было внимание Витте ко всем без исключения выступлениям Столыпина. Он писал по поводу его первой речи в Думе: «Явился галантный, обмазанный с головы до ног русским либерализмом, оратор школы русских губернских и земских собраний...»

В июне Столыпину еще дважды пришлось выступить в Государственной думе. Революция 1905 года аукнулась голодом. Прошлым летом казалось: еще немного — и самодержавие рухнет. Оно устояло. Весной выяснилось: резко сократились посеы, к тому же неурожай. 24 губернии были охвачены голодом. Как уже говорилось, министерство внутренних дел было занято не только наведением порядка. Оно отвечало за многие хозяйственные вопросы. 12 июня Столыпин отвечал на запрос правительству о том, какие меры принимаются для оказания помощи голодающим. Это выступление окончательно определило позиции Думы и Столыпина. Он понял: примирения не будет. Горемыкин настаивал на разгоне в соответствии со статьей 87. Царь внимательно выслушивал доводы Ивана Логгиновича. Столыпин надеялся, что еще можно найти компромисс. По прошествии девяноста с лишним лет можно оценивать ситуацию с первой Думой с известной долей объективности. Сегодня кажется, что правительство не было заинтересовано в разгоне Думы, боясь нового революционного всплеска. А большинство думцев страстно желали

ее разгона, надеясь на то, что революция снова наберет обороты.

В такой ситуации и произошло выступление Столыпина, которое окончательно восстановило прогив него большинство думцев. Из стенограммы этого выступления:

«Затем скажу еще относительно тех лиц, которые, входя на эту трибуну слева, заявляли, что они не обладают ни самомнением, ни самообольщением; я скажу на их клеветы, на их угрозы, на их... (шум, крики: «Довольно!»), на их угрозу захвата исполнительной власти (шум, крики: «Довольно!»), что министр внутренних дел, носитель законной власти, им отвечать не будет... (Шум, крики: «Довольно! Погромщик! Довольно! Долой!»)



Глава 3

ВЗЛЕТ



В конце июня в Царском Селе произошло событие, о котором знали всего несколько человек. Оно держалось в строжайшей тайне. У царевича Алексея после ушиба началось кровотечение, коленка распухла, посинела, мальчик, которому не было еще двух лет, без конца стонал. Александра Федоровна, бессильная, вконец измученная, была на грани помешательства. Врачи скорбно говорили, что надо готовиться к худшему. Великий князь Николай Николаевич посоветовал пригласить Распутина. О нем в Петербурге уже шла слава чудотворца. В гостиных и салонах рассказывали о чудесах, творимых тридцативосьмилетним «старцем». Когда Распутин приехал в Царское, он потребовал выгнать из спальни наследника всех докторов, включая Боткина. Цесаревич лежал в своей кроватке, закрыв

глаза. Лицо у него было землистого цвета, такие лица бывают обычно у тех, кто готовится покинуть этот мир. Старец подошел к кровати, бесцеремонно взял мальчика на руки. Тот открыл глаза, взглянул на незнакомого мужика с всклокоченной бородой и... заулыбался. Распутин стал ходить с ним по комнате, прижимая его к груди, и что-то ласково бормотал. Потом бережно уложил наследника в его кровать и молча направился к выходу. Обернулся и сказал:

— Поправится мальчонка, — и, не попрощавшись, ушел.

Через некоторое время кровотечение остановилось. На следующий день Алексей выглядел так, словно он и не болел вовсе. С этого дня Александра Федоровна уверовала, что Распутин — святой. И ее можно понять. Ведь никто из врачей не мог объяснить болезнь цесаревича, ни один из них не смог сделать того, что сделал Распутин за несколько минут своего пребывания в Царском. С этого дня Распутин стал приобретать необыкновенное влияние в Царском. Этим влиянием он умело пользовался на протяжении последних десяти лет существования царского режима и, вне всякого сомнения, ускорил его падение, менее всего того желая...

В 1906 году от рук террористов погибло 768 человек — высокопоставленных чиновников, полицейских. Более 800 ранено. Среди них было достаточное количество людей, к власти непричастных. Случайные прохожие, домочадцы, нежелательные свидетели. Но это обстоятельство мало беспокоило эсеров и максималистов: лес рубят, щепки летят.

Думцы категорически отказались осудить террор. В начале июля ситуация накалилась до предела. Горемыкин настаивал на роспуске Думы. Столыпин колебался.

6 июля Иван Логгинович с фамильной иконой явился в Царское. Едва он вошел в кабинет Государя, как повалился на колени и пополз, держа перед собою икону, к царю. Государь пытался его поднять, но председатель Совета министров заявил, что встанет с колен лишь после того, как Государь даст согласие на роспуск Думы. Только этот шаг, по мнению Горемыкина, может спасти Россию. Вечером того же дня царь подписал указ о роспуске Думы. Зная характер своего Государя, Горемыкин вернулся домой, обрезал телефонный провод, принял снотворное и строго-настрого приказал не будить его, кто бы ни пришел. Он предполагал, что царь может передумать. Так оно и случилось. Николай, решив помедлить с опубликованием указа, прислал ночью к Горемыкину нарочного, но председатель Совета министров спал крепким сном, и нарочного не приняли. Утром 8 июля указ о роспуске Думы был опубликован. Николай, может быть первый раз в своей жизни, был в ярости. Он тут же подписал приказ об отставке Горемыкина и вызвал в Царское Столыпина. Государь сообщил, что назначает его председателем Совета министров. Столыпин пытался объяснить, что он еще не освоился с должностью министра внутренних дел, а к тому ответственному посту он не готов вовсе... Николай, прервав его, довольно резко сказал:

— Довольно, Петр Аркадьевич. Вот икона, перед которой я часто молюсь. Осеним себя святым крестом и помолимся Господу о ниспослании по-

мощи нам обоим в это трудное, возможно, историческое время.

Государь обнял, поцеловал и перекрестил Столыпина.

8 июля думцы, придя в Таврический дворец, увидели на дверях большой амбарный замок...

Первая Государственная дума была распущена. Но... ничего не произошло. В расчетах и опасениях ошиблись и левые и правые. Народ устал от революции, к тому же очень скоро понял, что думские баталии — это борьба за власть и большинству из думцев до народа никакого дела нет.

Витте, узнав о назначении Столыпина, пришел в полное уныние. Зная настроения нового премьера, зная его отношение к земельной реформе, которую начал разрабатывать Сергей Юльевич, он ни секунды не сомневался, что все его разработки будут присвоены Столыпиным. Исторически так и произошло. Сейчас же хочу еще раз вернуться к «Воспоминаниям» Витте:

«Что он был человек мало книжно-образованный, без всякого государственного опыта и человек средних умственных качеств и среднего таланта, я это знал и ничего другого не ожидал, но я никак не ожидал, что он был человек настолько неискренний, лживый, беспринципный, вследствие чего он свои личные удобства и свое личное благополучие и в особенности благополучие своего семейства и своих многочисленных родственников поставил целью своего премьерства».

Надо сказать, что Витте был не одинок в своем отношении к Столыпину. Одни им искренне восхищались, другие говорили, что это человек с

замашками диктатора, имея в виду его саратовский опыт. Но высший свет более всего возмущало то, что какой-то саратовский губернатор сделал за два с половиной месяца головокружительную карьеру. Многие полагали, что он калиф на час, как и его предшественники. Надо сказать, что и Петр Аркадьевич думал, что осенью он уйдет в отставку и после нее уже никаких постов принимать не будет.

Но Господь распорядился по-другому.

После разгона Думы большая часть депутатов, состоящая из кадетов и трудовиков, собралась в Выборге. Они опубликовали воззвание, где призывали народ к открытому неповиновению и рекомендовали не платить налоги и уклоняться от воинской службы. Столыпин настоял на возбуждении уголовного дела против всех, кто подписал воззвание. Эти люди навечно отстранялись от участия в выборах в Государственную думу. И действительно, во Второй Думе, кстати не менее, а, может, даже более радикальной, чем первая, «подписантов» не было, но в последующем многие из кадетов были опять выбраны...

Снова начался террор. Не было массовых волнений. Но эсерам удалось организовать мятеж военных в Свеаборге и Кронштадте.

«Боевая организация» партии эсеров приняла решение организовать покушение на Столыпина. Особенно на нем настаивал Б. Савинков. Они установили плотную слежку за премьер-министром. Им было известно о любом передвижении Столыпина. Как ни странно, Евно Азеф под разными предложениями оттягивал исполнение акта. Он моти-

вировал это тем, что нет стопроцентной уверенности в его осуществлении, а риск потерять товарищей — очень большой. Ему удалось убедить в этом своего друга Савинкова, и вскоре эсеры отказались от плана. Параллельно с эсерами московские максималисты тоже стали готовить покушение на Петра Аркадьевича. Лидер московских максималистов Соколов, по кличке Медведь, организовал ограбление одного московского банка. Московская охранка знала о готовившемся ограблении. Были расставлены посты наблюдения. И все же ограбление удалось. Максималисты присвоили около миллиона рублей... Вот на часть этих денег они и стали тщательнейшим образом готовить убийство Столыпина.

Новый председатель Совета министров (кстати, он не оставил пост министра внутренних дел) несколько сместил акценты своей деятельности. Он работал над проектом земельных реформ.

Россия — страна особенная. На протяжении многих столетий ее сотрясают реформы, и ни одна из них, увы, не приносит желаемых результатов. Все упирается в земельный вопрос!

Историкам предстоит еще разобраться, почему никому не удается решить его. Или реформы медленно начинают сходить на нет, или же все превращается в кровавую и безостановочную резню. То, что предлагал Столыпин (а в какой-то степени до него и Витте), возможно, является самым оптимальным вариантом разрешения земельного вопроса. В 1906 году три четверти населения России жило за счет дохода от обработки земли. Крестьяне после отмены крепостного права были членами сельских общин и работали на общинных началах. К началу XX столетия эта система была

неэффективна. Каждый крестьянин как член общины мог иметь до пятидесяти маленьких полос земли. Ясно, что они не были равноценными. Тот, кому полосы доставались хуже, имел право требовать, чтобы на следующий год ему нарезали другие полосы. И так продолжалось бесконечно. Только крестьянин обустроит свои клочки, как община их отнимает и дает ему новые нарезы. Зачастую эти полосы находились далеко друг от друга. Для того чтобы их обработать, надо было потратить уйму времени. Это вот и называлось чересполосицей. Столыпин предлагал ликвидировать общинную систему земледелия, уничтожить чересполосицу, с тем чтобы крестьянин мог иметь единый надел земли. Впервые возникало понятие частной собственности на землю, которую можно было передать по наследству.

Забегая вперед, надо сказать, что Николай поддержал Столыпина в его начинаниях. Несмотря на возражения вдовствующей императрицы и многочисленных родственников, царь распорядился продать правительству около 1,6 миллиона гектаров земли, принадлежавших царской семье. Эту землю на весьма выгодных условиях правительство продавало крестьянам. Государь был уверен, что крупные помещики последуют его примеру. Кроме Столыпина и еще нескольких человек, никто этого не сделал... Да, мы знаем, что реформа не была доведена до своего логического конца. Однако известно, что к 1914 году около 9 миллионов крестьян стали собственниками земли.

Окрыленный поддержкой Государя, Столыпин задался целью создать коалиционное правительство. Он вел переговоры с кадетами. Они ни к чему не привели. Знакомая ситуация, не правда ли?

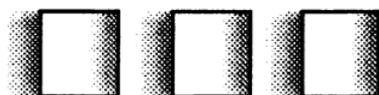
Быть в оппозиции очень удобно, потому как никакой ответственности. Кто-то принимает решения, иногда ошибочные. А ты критикуешь, указываешь на недочеты, ошибки... и зарабатываешь политический капитал. Один мудрец сказал, что правда без любви оборачивается самым мерзким экстремизмом.

20 июля по настоянию Столыпина Государь принял лидера кадетов А. Гучкова и князя Львова. Встреча получилась весьма странной. Гучков все хотел казаться независимым и часто был бестактным, а Государь словно не замечал этого. И почему-то был необычайно весел. Об этой встрече князь Львов позднее рассказывал: «Я ожидал увидеть Государя убитым горем, страдающим за родину и за свой народ, а вместо этого ко мне вышел какой-то веселый, разбитной малый в малиновой рубашке и широких шароварах, подпоясанный шнурком...» Львов настолько был потрясен этой аудиенцией, что у него на следующий день случилось нервное расстройство.

24 июля Государь записал в своем дневнике, что он долго беседовал со Столыпиным. Именно в этот день Столыпин подробно рассказывал Государю о том, какой должна быть земельная реформа. Николай слушал очень заинтересованно, задавал точно сформулированные вопросы и мечтательно говорил о том, какая будет Россия через 10—15 лет, если все удастся сделать...

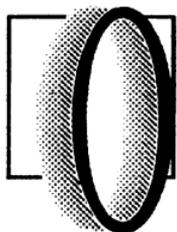
Вечером Столыпин на катере приехал домой на Аптекарский, окрыленный, взволнованный. Он подробно рассказывал Ольге Борисовне о разговоре, о той безусловной поддержке, которую ему хочет оказать Государь. Ольга Борисовна слушала его с осторожным оптимизмом. Она, как каждая жен-

щина, хорошо понимала психологию мужчин. Она уже изучила царя и знала, что его одобрение еще ничего не значит и все может сто раз перемениться. Петр Аркадьевич почувствовал, что жена не разделяет его восторга, и обиделся. Пожалуй, никогда еще он не чувствовал такого необычайного прилива сил, как в этот вечер 24 июля. Ушли прочь опасения за жизнь семьи, за свою жизнь, ему хотелось, чтобы все видели, как он счастлив, и чтобы все разделяли это счастье. И жизнь казалась бесконечной и радостной. Ибо впереди ожидалась великие свершения.



Глава 4

ВЗРЫВ НА АПТЕКАРСКОМ ОСТРОВЕ



Он стоял в огромном непонятном помещении с серыми стенами, уходящими ввысь. Он поднял голову, пытаясь разглядеть, где находится, но стены со всех четырех сторон исчезали в сгущавшейся мгле. Откуда-то сверху из серой мглы возникала узкая лестница без перил. По ней вереницей шли люди, проходили мимо него, поднимались на другую лестницу и исчезали. Поток этот был бесконечен, он наводил ужас. Люди — мужчины, женщины, дети, старики, старухи, младенцы — были одеты в светло-серые хитоны, они шли друг за другом медленно, неторопливо и почему-то с закрытыми глазами. Вдруг он увидел, как по лестнице спускаются его дети. Впереди шел маленький Адик, за ним Наташа, за нею остальные девочки. «А где

мама?» — хотел он крикнуть, но горло сдавили спазмы. Дети проходили мимо него молча и торжественно. Он хотел к ним ринуться, хотел схватить на руки маленького Адю, но не мог пошевеливаться. Его охватил ужас. Он подумал, что, если он сейчас же не скажет им что-то очень важное, все пропало. А дети уже поднимались по узкой, без перил лестнице, он смотрел им вслед и боялся, как бы они не оступились...

...Столыпин резко сел на кровати и безумным взглядом обвел спальню. Ольга Борисовна, увидев его глаза, вздрогнула:

— Что с тобой, Петр? Ты здоров?

Он глубоко и с облегчением вздохнул и улыбнулся:

— Чертовщина какая-то приснилась...

— Боже, как ты меня напугал... Я тебе говорила, не надо есть мясного на ночь.

Он поцеловал жену, встал, подошел к окну. За деревьями шумела Невка, моросил дождь.

— Кажется, лето кончается.

Ольга Борисовна вскочила с постели, подошла к нему и обняла его сзади.

— Оленька, ты меня любишь?

— А ты меня?

— Я тебя о-бо-жа-ю.

— Значит, не любишь, — притворно вздохнула она.

Он подхватил ее на руки и понес к кровати.

— Ты с ума сошел! Сейчас дети будут стучаться, а потом... — Она что-то зашептала ему жарко, нежно, чуть виновато.

— Ну вот, так всегда...

— Не торопись. Полежим немножко... На улице так холодно.

Она положила ему голову на грудь, он обнял ее, и они молчали и слушали, как мелкий дождь вызванивал по стеклам окна грустную мелодию о том, что петербургское лето, не успев начаться, скоро уйдет совсем.

Наступила суббота 12 августа 1906 года.

На Морской улице, той, что примыкает прямо к устью Невского проспекта, московские максималисты сняли роскошную квартиру. В ней под видом барыни расположилась внешне неприметная девушка двадцати одного года Наталья Климова. Ее отец был октябристом, членом Государственного совета и находился в добрых отношениях со Столыпиным. «Прислуживала» Климовой еще одна девушка, примерно такого же возраста. Они вели рассеянный образ жизни. Их постоянно навещали два изящно одетых молодых человека, которые приезжали на Морскую в роскошных экипажах. Дворники и прислуга были в восторге от молодых людей. Они были вежливы и невероятно щедры. Еще бы: Медведь выделил почти 200 тысяч рублей на организацию убийства Столыпина. И потому можно было себе позволить роскошествовать. Однако полицейские репрессии усиливались, «химики», изготавливавшие бомбы, ушли в глубокое подполье, и цены на их товар, естественно, резко подскочили. А так как они решили действовать наверняка — а это означало, что, возможно, придется заплатить и своими жизнями, — то решено было изготовить сверхмощные бомбы. По замыслу максималистов, если их взорвать все вместе, то дачу разнесет в щепы. Еще бы, 19 килограммов взрывчатого вещества! Такого мощного акта в истории русского терроризма еще не было.

Медведь резонно полагал, что, если взрыв состоится и Столыпин будет уничтожен, его небольшая московская организация сразу превратится в российского лидера терроризма, оттеснит на второй план БО эсеров, которые, с его точки зрения, уже выдохлись, а может, просто стали трусить. Вообще, в этой организации много чего загадочного. Про Азефа ходят упорные слухи, что он провокатор. Савинков странным образом избежал виселицы. Якобы ему организовали побег. Медведь не верил в такие побегии. Значит, все складывается так, что именно он должен стать во главе российского терроризма. И произойдет это сегодня, в субботу 12 августа, когда именно он, Медведь, повернет колесо российской истории, как это сделал Гриневицкий, убив Александра Второго. Но Александр Второй, по мнению Медведя, — дитя по сравнению с этим провинциальным выскочкой, возомнившим себя спасителем престола. По большому счету, убивать Александра Второго не было острой необходимости. Этот акт двадцатипятилетней давности был самоцелью. Другое дело — Столыпин. Он не боялся террористов или делал вид, что не боялся их. «Медведь» чувствовал, что Столыпин не остановится ни перед чем, чтобы установить в России порядок по своему образцу. Полицейский порядок. И во всем мире есть только один человек, который ему может воспрепятствовать. Это он, Медведь. Завтра о нем заговорит вся Россия, послезавтра — весь мир...

Столыпин после завтрака прошел в свой нижний кабинет. Рядом находился большой зал для приемов посетителей. Сегодня как раз такой день, ему доложили, что народу будет больше, чем обычно, пото-

му что в прошлую субботу он не принимал — находился в Царском по приглашению Государя.

Дождь прекратился, но небо оставалось низким, без единого просвета. В помещении было темно, и Столыпин работал при свете электрической лампочки. Ольга Борисовна находилась в комнате с Еленой, которая уже почти поправилась от тифа. Мария с Александрой занималась математикой. Ольга с Наташей и Адиком рисовали. Вернее, рисовала Ольга, а Наташа с трехлетним братом смотрели. Потом Аде надоело, и они ушли из Олиной комнаты и поднялись на застекленный балкон посмотреть, кто подъезжает к их даче.

Примерно в два часа дня Наталья Климова наняла ландо. По приказу Медведя акт должны были совершить три человека. Климова рвалась в участники. Медведь не разрешил. Трое молодых мужчин в начале третьего отъехали от фешенебельного дома на Морской. Один был в штатской одежде, а двое напялили на себя форму жандармских ротмистров. Каждый держал на коленях кожаный портфель с раздутыми боками. Странно, что на всем протяжении пути никто не обратил внимания на эту особенность. Выворачивая на Каменноостровский проспект, их лошадь едва не задавила мальчишку, перебежавшего дорогу. Терентьев, бывший по легенде мужем Климовой, натянув вожжи, матерно выругался, лошадь захрапела. Они не знали, что по приказу А. Герасимова с 1 августа у жандармов сменили форму фуражки, и опять, пока они ехали мимо городских, никто не обратил на это внимания. Впрочем, некоторые трудности, связанные с маскарадом, у них все же возникли. По утвержде-

нию историка С. Степанова, им понадобилось напоить дворника до бесчувствия, чтобы он не забил тревогу, увидев своих богатых и щедрых постояльцев в жандармской форме.

Народ в приемной был самый разный — от камергера Воронина до простой женщины, приехавшей с ребенком из Смоленской губернии. Пожилой служивый, взявший своего сына, очевидно, для того, чтобы разжалобить премьера. Старый швейцар, служивший еще со времен Александра Второго. Начальник охраны премьера генерал Замятин. Воронежский губернатор... На даче находилось вместе с прислугой более сорока человек.

Адя носился по коридору второго этажа. Его увещевала няня, семнадцатилетняя Таня, всеобщая любимица, воспитанница Красностокского монастыря. Адя вбежал на застекленный балкон. Там стояла Наташа и смотрела, как к подъезду подкатило ландо. Из него вышли трое мужчин, один в темной пиджачной паре, двое других в жандармской форме. Дворник, стоявший у ворот, усмехнулся: мол, втроем, а приехали в складчину. Держа бережно совершенно одинаковые портфели, они направились к дверям, которые вели в приемную. На пути у них встал швейцар. Он первый обратил внимание на раздутые портфели и сказал, что с ними нельзя. Незнакомцы настаивали. Швейцар крикнул охрану. В комнату вошел генерал Замятин. Мужчины в это время оттерли швейцара и тоже оказались в приемной. Замятин увидел, что у обладателей портфелей фуражки старого образца, и двинулся к ним навстречу. Они пошли напролом. Замятин крикнул помощников,

удерживая мужчин. Первый из них, это был Терентьев, поняв, что план провалился, с отчаяньем швырнул портфель себе под ноги...

Столыпин глянул на часы, стоявшие в углу кабинета. И потянулся к чернильнице обмакнуть перо. В тот же момент он услышал невообразимый грохот, а чернильница, поднявшись в воздух, пролетела у него над головой, облив его чернилами. Он бросился из кабинета, но дверь заклинило. Он разбежался и вышиб ее плечом, не почувствовав боли.

Мария Петровна Бок, урожденная Столыпина, в своей книге «Воспоминания о моем отце» описывает последствия этого чудовищного взрыва. В то время ей исполнился двадцать один год. Столько же, сколько и Н. Климовой.

«...Я направилась к себе через коридор, когда вдруг была ошеломлена ужасающим грохотом и... увидела на том месте, где только что была дверь, которую я собиралась открыть, огромное отверстие в стене и под ним, у самых моих ног, набережную Невки, деревья и реку... Я побежала к окну, но тут меня встретил Казимир и успокоительно ответил мне на мой вопрос: «Ничего, Мария Петровна, это бомба». В этот момент увидела я мамá с совершенно белой от пыли и известки головой. Я кинулась к ней, она только сказала: «Ты жива, где Наташа и Адя?» Почти сразу, как только мы вошли в гостиную, услышали мы снизу голос папá: «Оля, где ты?» Мама вышла на балкон, под которым стоял мой отец, и я никогда не забуду тех двух фраз, которыми они тогда обменялись.

Вопрос папá:

— Все дети с тобой?

И ответ мамá:

— Нет Наташи и Ади.

Надо видеть все описанное, чтобы представить себе, как это было произнесено, сколько ужаса и тоски могут выразить несколько слов.

Княжна Кропоткина и я, желая сойти вниз, побежали тогда к лестнице, но ее не было. Было ступенек десять, а дальше — пустота. Тогда мы обе недолго думая прыгнули вниз, упав на кучу щебня, и побежали дальше. Я отделалась благополучно, а Маруся отбила почки. Остальных спустили на простынях подоспевшие на помощь пожарные. Выйдя в сад, я сразу, перед балконом, увидела идущего мне навстречу папá... Я пошла дальше в сад, откуда раздавались душераздирающие стоны и крики раненых, а папá с появившейся в эту минуту моей матерью побежали в другую сторону, отыскивать своих пропавших детей... Наташа и Адя были найдены живыми под обломками дачи...

В нашем саду был второй дом, где жили гостящие у нас друзья, гувернантки и часть прислуги. Дом этот от взрыва не пострадал, туда и перенесли Наташу и Адю и некоторых других раненых. Наташа была ранена очень серьезно, и странно было видеть, когда ее переносили, это безжизненно лежащее тело с совершенно раздробленными ногами и спокойное, будто даже довольное лицо. Не издавала она ни одного звука: ни крика, ни стона, пока не переложили ее на кровать. Но тогда она закричала и кричала уже все время — так ее и в больницу увезли, — кричала так жалобно и безнадежно, что мороз по коже пробегал от крика этой четырнадцатилетней девочки. У Ади были маленькие раны на голове и перелом ноги, и все последующее время бедный

ребенок страдал больше от нервного потрясения, чем от ран. Он несколько дней совершенно не мог спать: только задремлет, как снова вскакивает, с ужасом озирается и кричит: «Падаю, падаю!»

После взрыва застекленный балкон обрушился и дети попали под копыта обезумевшей лошади, на которой приехали террористы. Очевидно, Наташу от верной гибели спасла большая доска, упавшая на нее и как бы прикрывшая ее тело от копыт лошади.

На другой стороне Невки от взрывной волны вылетели стекла в окнах небольшой фабрики. Террористы, генерал Замятин, старый швейцар, еще несколько человек охраны, прибежавшие на помощь, были разорваны в клочья. Стоявшему у стены камергеру Воронину оторвало голову. Погибло тридцать пять человек. Единственное место, которое почему-то обошла взрывная волна, был нижний кабинет Столыпина.

Наташу и Адю отвезли в ближайшую больницу доктора Калмейера. Ольга Борисовна поехала с ними и жила там, пока не миновала опасность. Наташе грозила ампутация обеих ног. Столыпин умолял врачей подождать с операцией хотя бы сутки. Нехотя они согласились, они боялись общего заражения крови.

На следующий день консилиум принял решения отказаться от ампутации. Наташа на всю жизнь осталась калеккой...

Через некоторое время были арестованы «прислуга» Терентьева и Наталья Климова. На допросе Климова совершенно невозмутимо рассказывала:

«Мы решили убить Столыпина во что бы то ни стало. Так как были уверены, что исполнители в помещение министра допущены не будут, то изготовили разрывные снаряды особой силы, весом в 16 фунтов каждый, долженствовавшие совершенно разрушить строение дачи; при этом, конечно, мы не могли не знать о могущих быть случайных жертвах в виду того, что 12 августа был прием у министра. Хотя решение принести в жертву посторонних лиц далось нам после многих мучительных переживаний, однако, принимая во внимание все последствия преступной деятельности Столыпина, мы сочли это неизбежным».

Это поразительное по своей откровенности признание, ибо в нем — идейная сущность любой революции. Ради достижения цели можно идти на любые жертвы. Понятно, почему большевики, придя к власти, стали богоборцами. Ведь одна из христианских заповедей гласит, что нет такой цели, которая оправдывает любые средства.

Медведь на этом покушении не остановился. На следующий день, в воскресенье 13 августа, был убит командир Семеновского полка, подавлявшего беспорядки в Москве, генерал Мин.

Дневниковые записи Николая Второго:

«12-го августа. ...Узнал о взрыве в доме Столыпина; он, слава Богу, остался невредим, но сын и дочь его ранены. Много убитых и раненых, полдома разрушено...

13-го августа. Вечером на станции Новый Петергоф убит добрый Мин...

14-го августа. В 8 час. поехали в Луцино на дачу семейства Мин — на панихиду. Больно и грустно смотреть на их горе...»

13 же августа Государь принял Столыпина, вы-

разил ему свое сочувствие и предложил помощь в виде денег. Столыпин, бледный и осунувшийся за эти кошмарные 24 часа, что ему пришлось пережить вместе с Ольгой Борисовной, ответил отказом: «Благодарю вас, Ваше Величество, но я не торгую кровью своих детей». Государь удивленно поднял бровь и холодно попрощался с премьер-министром. Вечером он пожаловался своей матери. Ответ Столыпина показался ему бестактным. Увы, надо признать, так оно и было. Но вдовствующая императрица вступилась за Петра Аркадьевича, сказав, что это извинительно, ведь дети его находятся в таком трагическом положении.

Очевидно, фраза эта вырвалась у Столыпина произвольно; возможно, это стало своеобразной реакцией на предложение царя, совершенно искреннее, пригласить Распутина для скорейшего выздоровления детей. Столыпин был уже достаточно о нем наслышан, так как по его распоряжению за Григорием Ефимовичем была установлена негласная слежка. И предложение Государя его втайне возмутило, что и выплеснулось наружу громкой и действительно бестактной фразой.

Трехлетний Адик, оправившись от потрясения, еще в больнице спросил маму:

— А что, этих злых дядей, которые нас скинули с балкона, их поставили в угол?

Государь, узнав об этой фразе, растроганно сказал Столыпину:

— Передайте вашему сыну, что эти дяди сами себя наказали.

Царь предложил незамедлительно перебраться Столыпину с семьей в Зимний дворец.

Им отвели комнаты над покоем Екатерины Второй. Это было угловое здание Зимнего. В левые высокие, чуть ли не до потолка, окна была видна уходящая вдаль Миллионная улица, по которой сновали экипажи, их обгоняли еще нечастые автомобили, обдавая прохожих дымом и грохотом. Справа высился Александрийский столп. Столыпин, обняв жену за плечи, задумчиво смотрел на ангела смерти, склонившего голову перед Зимним, и во всей его фигуре виделось Петру Аркадьевичу что-то непреклонное и упрямое. Лево́й рукой ангел обнимал крест. «Почему-то католический», — с удивлением заметил Столыпин, но промолчал.

Ольга Борисовна из больницы ненадолго приехала посмотреть их новое жилище.

— Золотая клетка, — вздохнула она.

— Я вот что подумал, Олюшка... Они не остановятся. Они успокоятся только тогда, когда убьют меня или всех нас.

— Ты хочешь уйти в отставку?

— Нет, — быстро ответил Столыпин. — Этого они не дождутся. Но я не переживу, если кто-то из вас... — он недоговорил.

Она отстранилась и смотрела на него снизу вверх, на своего измученного, несчастного и бесконечно любимого мужа.

— Что ты предлагаешь? — Ольга Борисовна гладила его лицо теплыми ладонями, ей казалось, что боль, которую она видела в его взгляде, сейчас уйдет. Она полагала, что была сильнее его. Она вспоминала, как он всю ночь рыдал, когда вечером приехал к ней в больницу и сказал, что, если Наташе отнимут ноги, он этого не переживет. — Что ты предлагаешь, мой любимый муж?

— Мне кажется... — Он смутился и отвел взгляд. Она хотела убрать руки с его лица, но он задержал их в своих огромных ладонях. — Может быть, вам уехать? Ненадолго, пока все здесь уляжется? Как ты полагаешь?

— Какой ты эгоист, — с мягкой укоризной сказала она, выделяя «о», это словечко стало модным в Петербурге. — И ты полагаешь, что я, твои дети, будем спокойно жить в какой-нибудь Германии и совершенно не волноваться о тебе? Как ты себе это представляешь? Да я на второй день с ума сойду, не зная, где ты и что ты. И как ты мог такое предложить?

Она уткнулась ему в грудь и разрыдалась. Она впервые плакала навзрыд, от накопившихся переживаний и страхов, от невероятного потрясения, полученного несколько дней назад, и, как каждая русская женщина, на которую свалилось огромное горе, она своим мужеством, своей выдержкой держала в эти тяжелые дни всю семью, и в первую очередь мужа, ибо она видела, что он сломлен. Ей вдруг показалось невероятно обидным предложение мужа. Ведь они вместе прошли такие испытания!

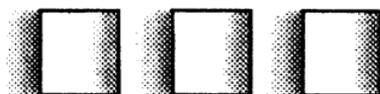
Петр Аркадьевич растерялся. Его жена вообще редко плакала и терпеть не могла, если кто-то из домочадцев видел ее слезы. И вдруг такие рыдания. Он понял, что она уже больше не в силах себя сдерживать, он понял, что все, что она делала в эти несколько дней, как она себя держала, — это ее великий подвиг, о котором знает только он. И как он мог ей такое сказать...

— Господь милостив и справедлив, — жарко зашептала она, поднимая лицо, мокрое от слез. — Больше никогда так не говори, Петр. Мы всегда будем вместе, что бы ни случилось. У всяких испыта-

ний есть предел. Каждому из нас отпущена своя мера. Мы с тобой столько пережили за эти четыре года, столько всего было. Вот и еще одно испытание, самое страшное, и его мы прошли. А дальше все будет чудесно, и тебе не надо бояться за нас...

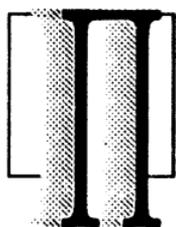
Они стояли у окна обнявшись и молча смотрели на Дворцовую площадь. Ангел смерти, упрямо склонив голову, как бы шагнул вперед и застыл в своей никому не ведомой поступи.

Начинался последний и самый выдающийся период в жизни Столыпина. Петру Аркадьевичу Господом было отпущено еще пять лет и двенадцать дней...



Глава 5

ВЫЗОВ



о инициативе царя военный прокурор Павлов разработал положение о военно-полевых судах. В конце августа 1906 года они уже начали действовать по всей России. На либеральную общественность введение военно-полевых судов произвело шоковое впечатление. Тройка из офицеров на местах в течение 24 часов принимала решение о судьбе террориста. Все понимали, что эти «тройки», получившие зловещее продолжение спустя двадцать лет, в основном не обладали юридическим опытом. А следовательно, под расстрел или повешение могли попасть и люди невиновные. Правда, таким крайним мерам подвергались только те, кто был застигнут на месте самого тяжкого преступления с точки зрения христианской морали, чья первая заповедь гласит: «Не убий!»

Столыпин, ни минуты не колеблясь, подписал все необходимые документы, связанные с военно-полевыми судами. И потому до сих пор считается, что он их автор и инициатор, что не соответствует исторической правде.

А. Гучков, лидер кадетов, в начале сентября иронически спросил Столыпина, как же обстоит дело с успокоением общества, о чем с таким жаром говорил Столыпин в еще не разогнанной Думе. Петр Аркадьевич мрачно ответил:

— Это все было до бомбы на Аптекарском острове, а теперь я стал другим человеком. Я полагаю, мой ответ вас удовлетворит, — не то вопросительно, не то утвердительно сказал Столыпин и отошел от собеседника, не дожидаясь его ответной реплики.

Взрыв на Аптекарском, безусловно, прибавил популярности Столыпину, некоторые его враги, и в их числе Витте, язвили, что Столыпин умело обратил несчастье в свою пользу, ибо стал страдальцем в глазах общественности. Но в политической борьбе все средства хороши, и не грех опорочить своего соперника или преемника. Так было и так будет, увы! Ибо слаб человек. Вот только Столыпин никогда не опускался до низких и мелких клевет, как говорили в старину. Он не занимался наветами и гнусными интригами, он не вел подковерную борьбу и, возможно, этим был опасен многочисленным дворцовым интриганам и в то же время уязвим для их тайных выпадов.

Жизнь в Зимнем дворце для семьи Столыпина была малорадостной. Огромное количество охраны, внутри и снаружи, невозможность выйти за пределы Зимнего, так чтобы об этом не знала охрана... Огромные пустые, мрачные анфилады залов, увешанные портретами строгих мужчин и женщин, два

скудных внутренних сада — все это на детей произвело угнетающее впечатление. И в то же время произошло одно удивительное событие. Однажды Мария утром обнаружила письмо без подписи.

«Писал какой-то незнакомый мужчина, — вспоминала она в своей книге об отце, — начиная свое послание словами: «Зная, что Вы разделяете наши взгляды и что, несмотря на Ваше чудовищно отсталое воспитание, Вы достаточно культурны, чтобы интересоваться музеями и картинными галереями и посещаете их...» Дальше же мне предлагалось в одном из музеев встретиться в определенный час с моим корреспондентом, который введет меня в кружок «наших с Вами единомышленников» и где я, наконец сбросив мучащие меня, по его мнению, «нравственные цепи», могу свободно предаться счастьем партийной работы».

Маша разорвала это письмо и никому ничего не сказала. Через некоторое время пришло второе, по ее словам, наглое и вызывающее. Она зачеркнула адрес и только после этого показала письмо отцу. Удивительный поступок. Тем более после того, как они чуть было все не погибли. Но Маша решила, что, если человек ей доверился, она не может на него доносить. Естественно, Петр Аркадьевич поручил расследовать это дело. Спустя несколько месяцев выяснилось, что группа эсеров, не входящая в команду Савинкова и Азефа, решила организовать новый акт. Для этого они пригласили гипнотизера, который, по их мнению, должен был воздействовать на старшую дочь, через нее внедриться в семью Столыпиных и при удобном случае убить ненавистного премьера. Сегодня это кажется верхом глупости. Однако этот почти анекдотический случай говорит о том, что охота на Столыпина продолжалась...

Охраной Столыпина были выработаны особые меры предосторожности. Каждый раз, отправляясь на службу или к Государю с докладом, он выходил из разных подъездов и порой сам не знал предстоящий свой маршрут. Его это невероятно раздражало, однако начальник охраны сказал, что может поручиться за его жизнь только в случае, если премьер будет полностью доверять своей охране. Человек по натуре деятельный, привыкший много двигаться, Столыпин вдруг очутился взаперти. Особенно унижительным для него казались моменты, когда его с усиленной охраной вывозили за город на прогулку. Но человек так устроен, что ко всему привыкает; если бы этого не происходило, человечество давно бы уже вымерло. Столыпин смирился с жестким режимом своих передвижений и целиком сосредоточился на двух вопросах, которые, с его точки зрения, должны были резко преобразовать Россию. Несмотря на настойчивое сопротивление царя, Столыпин настоял на том, чтобы начались выборы во Вторую Думу. Царь нехотя согласился. Пока же все законы принимались на основании пресловутой 87-й статьи. Так были введены положения о военно-полевых судах. Так был в начале ноября утвержден закон о новом землепользовании. Столыпин первым из крупных помещиков продал в Крестьянский банк свое нижегородское имение. Он торопился. Он, как и большинство политиков всех времен и народов, хотел видеть немедленно плоды реформ. В России это невозможно... Во многих губерниях крестьяне настолько привыкли к общинному землевладению, что не хотели переходить на отруба, боялись приобретать земли, крестьянским умом полагая,

что все эти реформы — дело нечистое и опять государство хочет их обмануть. Ведь неизвестно, что там будет с этой землей. Сегодня разрешили купить, завтра опять отнимут, а верить можно только своему труду и тому, что у тебя есть — хоть плохое, но все привыкли... Были случаи, когда крестьян убивали за то, что они выходили из общины. Много чего было на Руси, что понять и оправдать невозможно, однако за тысячелетнюю историю российской государственности так уж приучили народ, что властям и их обещаниям доверять нельзя...

Столыпин быстро понял, что реформа должна быть очень гибкой, и если крестьяне не хотят выходить из общины, насильно их нельзя заставлять, иначе вся реформа теряет смысл. Возможно, он один из первых русских государственных деятелей понял простую истину, что должны быть многообразные формы хозяйствования на земле.

Природа благоволила столыпинским начинаниям. С 1906 по 1911 год в России были невиданные доселе урожаи. Вскоре Россия избавилась от огромного внешнего долга. Реформа приобретала гибкость, без которой в России ни одно начинание не получит развития. На Алтае с конца первого десятилетия вплоть до 1917 года существовала одна крестьянская община. Она так хорошо вела свое хозяйство, что вскоре во все избы было проведено электричество, несколько поселков были телефонизированы. Община построила народный дом, в котором существовал синематограф. Началась политика переселения. Полтора миллиона крестьян отправились в Сибирь, где получали почти за бесценок земельные наделы; правительство платило этим семьям довольно внушительные подъемные.

Россия, как мощный неповоротливый, огромный корабль, медленно разворачивалась и медленно набирала скорость, чтобы в ближайшие годы догнать по уровню жизни, по своей военной мощи крупнейшие мировые державы. Западные политики страшно перепугались.

Столыпин не забывал свою главную идею, которую он не раз выражал еще в Первой Думе: через успокоение — к реформам. Осенью 1906 года он разрабатывал проект новых законов, с тем чтобы отменить целый ряд ограничений в отношении евреев. Поразительно, но именно отношение Столыпина к так называемому еврейскому вопросу породило огромное количество непримиримых врагов как со стороны ярых антисемитов, так и со стороны российского еврейства. Будучи националистом, Столыпин всегда говорил, что любая народность, проживающая на территории России, должна относиться к русской культуре, ее народу, ее обычаям с уважением и любовью, ибо это есть залог процветания каждой народности. Никогда ни в своих поступках, ни в своих высказываниях Столыпин не говорил с небрежением ни об одной народности, населяющей Российскую империю. Национальный вопрос — один из самых болезненных и неразрешимых в современном мире. Бесконечные кровавые конфликты в различных уголках мира, в том числе на территории бывшего Советского Союза, — тому свидетельство. Как только начинается притеснение одного народа другим, жди беды. История знает пока только один способ решения национального вопроса — полное уничтожение того или другого народа.

Сталин переселял народы с одного места на другое, вменяя им в вину многие прегрешения. Хотя известно, что целый народ никогда не бывает виноват в тех или иных событиях. Это политики свои просчеты и провалы ловко маскируют под чудовищные националистические идеи. Примеров в XX веке — хоть отбавляй.

Столыпин решил, что и в этом вопросе ему будет сопутствовать удача.

В. Н. Коковцов, министр финансов в правительстве Столыпина, вспоминал:

«Столыпин просил всех нас высказать откровенно, не считаем ли мы своевременным поставить на очередь вопрос об отмене в законодательном порядке некоторых едва ли не излишних ограничений в отношении евреев, которые особенно раздражают еврейское население России и, не внося никакой реальной пользы для русского населения, только питают революционное настроение еврейской массы и служат поводом к самой возмутительной противу-русской пропаганды со стороны самого могущественного еврейского центра — в Америке... В его личном понимании было бы наиболее желательно отменить такие ограничения, которые именно отвечают потребностям повседневной жизни и служат только поводом к систематическому обходу законов и даже злоупотреблениям низших органов администрации... Во время исполнения подготовительной работы у всех нас было ясное представление о том, что Столыпин возбудил вопрос с ведома Государя... все мы понимали, что он не решился бы поднять такой щекотливый вопрос, не справившись заранее с взглядом Государя...»

Правый кадет, член трех последующих Государственных дум В. А. Маклаков в своих парижских воспоминаниях писал в 1942 году:

«Для более полного понимания того, к чему **стремился** Столыпин, полезно иметь в виду и те законы, которые изготовлялись, но не увидели света.

Был один закон, который мог бы **своей** цели достичь и стать предвестником новой эры; правительство его приняло и преподнесло Государю на подпись; это закон о еврейском равноправии. При диких формах современного антисемитизма тогдашнее положение евреев в России может казаться терпимым. Но оно всех тяготило, как несправедливость; потому такая реформа была бы полезна. Коковцов вспоминает, что в этом Указе полного равноправия не было. Но евреи были так неизбалованы, что оценили бы и это...»

Царю был направлен так называемый «Особый журнал Совета министров». Так назывался документ, где излагался проект того или иного закона, который представили на визу Государю.

Это был длинный и трудно читаемый, особенно сегодня, канцелярский опус. Главное в нем было то, что предполагалось изменить черту оседлости — увеличить количество губерний, где разрешалось жить евреям, а кроме того, несколько расширить круг их профессиональной занятости. Проект реформ отнюдь не был революционным, ибо Столыпин справедливо полагал, что здесь, как нигде, нужна осторожная постепенность.

В придворных кругах «Особый журнал» вызвал бурю негодования. Он пролежал у царя очень долго. В. Н. Коковцов и другие министры спрашивали,

почему нет ответа. Столыпин совершенно спокойно отвечал, что он ждет положительного решения. Ему верили.

10 декабря «Журнал» вернулся от царя неутвержденным.

Письмо Николая Второго — Столыпину:

«Царское село. 10 декабря 1906 года.

Петр Аркадьевич.

Возвращаю вам журнал по еврейскому вопросу неутвержденным.

Задолго до представления его мне, могу сказать, и денно и ночью, я мыслил и раздумывал о нем.

Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу, — внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. Поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям.

Я знаю, вы тоже верите, что «сердце царево в руках божиих».

Да будет так.

Я несу за все власти, мною поставленные, перед богом страшную ответственность и во всякое время готов отдать ему в том ответ.

Мне жалко только одного: вы и ваши сотрудники поработали так долго над делом, решение которого я отклонил. *Николай».*

В тот же вечер Столыпин написал большое письмо царю. Позволю себе привести его полностью.

«Ваше императорское величество.

Только что получил ваше повеление относительно оставления без последствий журнала по еврейскому вопросу.

Вашему величеству известно, что все мои мысли, стремления направлены к тому, чтобы не создавать вам затруднений и оберегать вас, Государь, от каких бы то ни было неприятностей.

В этих видах, а не из желания испрашивать каких-либо изменений решения вашего по существу, я осмеливаюсь писать вашему величеству.

Еврейский вопрос поднят был мною потому, что, исходя из начал гражданского равноправия, дарованного манифестом 17 октября, евреи имеют законные основания домогаться полного равноправия; дарование ныне частичных льгот дало бы возможность Государственной Думе отложить разрешение этого вопроса в полном объеме на долгий срок.

Затем я думал успокоить нереволюционную часть еврейства и избавить наше законодательство от наслоений, служащих источником бесчисленных злоупотреблений.

Все это послужило основанием в обнаруженном с одобрения вашего величества правительственном сообщении объявить, что коренное решение еврейского вопроса является делом народной совести и будет разрешено Думой, до созыва которой будут отменены не оправдываемые обстоятельствами времени наиболее стеснительные ограничения.

Затем еврейский вопрос был предметом обсуждения совета министров, журнал которого и был представлен вашему величеству, что, несмотря на полное соблюдение тайны, проникло, конечно, в прессу и в общество, ввиду участия многих лиц в составлении и печатании этой работы.

Теперь для общества и еврейства вопрос будет стоять так: совет единогласно высказался за отмену

некоторых ограничений, но Государь пожелал сохранить их.

Ваше величество, мы не имеем права ставить вас в такое положение и прятаться за вас.

Это тем более неправильно, что вы, ваше величество, сами указывали на неприменимость к жизни многих из действующих законов и не желаете лишь в порядке спешности и чрезвычайности даровать от себя что-либо евреям до Думы.

Моя всеподданнейшая просьба поэтому такова: положите, Государь, на нашем журнале резолюцию приблизительно такого содержания: «Не встречая по существу возражений против разрешения поднятого советом министров вопроса, нахожу необходимым провести его общим законодательным порядком, а не на основании 87 статьи законов основных, так как 1) вопрос этот крайне сложен, 2) не представляется, особенно в подробностях, бесспорным и 3) не столь спешен, чтобы требовать немедленного разрешения за два месяца для созыва Государственной Думы».

При таком обороте дела и министерство в глазах общества не будет казаться окончательно лишенным доверия вашего величества, а в настоящее время вам, Государь, нужно правительство сильное.

Затем, если бы вашему величеству было угодно, можно было бы резолютивную часть журнала переделать и, не настаивая на 87 статье, испрашивать разрешения вашего величества, внести ли вопрос в Думу, или разрешить его в порядке чрезвычайном.

Простите мне, ваше величество, но я знаю, чувствую, что вопрос этот громадной важности. Если ваше величество не одобрите мои предположения и не разрешите мне прислать для наложения резолю-

ции журнал, о возвращении которого никто пока не знает, позвольте приехать со словесным докладом в среду в 9,5 часов вечера.

Вашего императорского величества
верноподданный П. Столыпин
10 декабря 1906 г.».

На следующий же день последовал ответ Государя:

«Царское Село. 11 декабря 1906 г.

Из предложенных вами способов я предпочитаю, чтобы резолютивная часть журнала была переделана в том смысле — внести ли вопрос в Думу или разрешить его в порядке ст. 87.

Это самый простой исход.

Приезжайте, когда хотите, я всегда рад побеседовать с вами. *Николай».*

На этой милой фразе закончилась полемика о законопроекте между царем и Столыпиным. Ни Вторая, ни Третья Дума законопроект не обсуждали. Для оппозиции, которая во Второй Думе составляла большинство, такое решение вопроса стало самым приемлемым. Она не могла допустить, чтобы «погромщик и антисемит» Столыпин стал инициатором законопроекта. В то же время, если бы Столыпину удалось его внести на обсуждение, они не смогли бы его провалить из опасения стать гонителями евреев...

Не любящий отступать, не умеющий проигрывать, Столыпин переживал, что потерпел первое, но весьма ощутимое поражение. Будем откровенны: уязвленное самолюбие волновало его больше, нежели судьба обиженных российских евреев. Кроме того, в Совете министров некоторые сделали вывод, что их шеф отнюдь не всемогущ. Некоторые даже

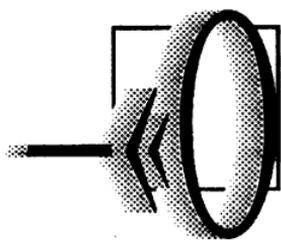
решили, что возвращение царем «Журнала» — первый звонок на пути к отставке.

Но надвигались другие проблемы, которые нужно было решать незамедлительно. Львиную долю времени занимал подписанный царем указ о земельной реформе. Из истории нам всем известно: очень трудно сочинить умный государственный указ, значительно труднее утвердить, провести его через многочисленные законодательные рифы и почти невозможно претворить в жизнь. Вот этим последним занимался Столыпин, пытаясь преодолеть враждебность богатых землевладельцев и настороженную инерцию тех, для кого и осуществлялась реформа.



Глава 6

НОВЫЕ ТРЕВОГИ



еже ниспослатися им любви совершенней, мирней и помощи, Господу помолимся», — как бы дышала вся церковь голосом протодьякона.

Левин слушал слова, и они поражали его. «Как они догадались, что помощи, именно помощи? — думал он, вспоминая все свои недавние страхи и сомнения. — Что я знаю? Что я могу в этом страшном деле, — думал он, — без помощи? Именно помощи мне нужно теперь».

Ольга Борисовна оторвалась от книги, взглянув на мужа:

— Да ты не слушаешь, Петр, для кого я читаю? Сам просил меня, а теперь не слушаешь.

— Внимательно слушаю, и опять ты забыла, моя дорогая, что надо читать не «Левин», а «Лёвин». Это его любимый персонаж, хотя, по-моему, самый скучный.

Поздним декабрьским вечером они сидели в угловой комнате и уже в который раз перечитывали «Анну Каренину». Когда еще были молодыми, они по вечерам читали роман друг другу вслух, в эти минуты он думал, что вот это и есть счастье и ничего больше в жизни не надо.

— Ну хорошо, Лёвин, Лёвин, — милостиво согласилась Ольга Борисовна.

Он смотрел на промерзшие стекла высоких окон, там была сплошная темень, и он почему-то подумал, что дальше в его жизни тоже все темно и неясно. Она отложила книгу.

— Прости меня, милый, но тебе иногда не хватает гибкости. Мне не понравилось твое письмо Государю.

— Мне оно самому не понравилось, — угрюмо ответил Петр Аркадьевич. — Но продержать «Журнал» почти два месяца... мы с ним столько раз встречались, и ни словом, понимаешь, ни словом не обмолвиться, что он его вернет. Каково?

— Тебя это удивляет? Я была уверена, что он его вернет. Победоносцев, царствие ему небесное, так уж воспитал нашего Государя, да и покойный Александр не жаловал евреев. Это мы с тобой жили в их окружении...

— Сейчас другие времена, Оленька, — перебил Столыпин. — Наш Государь все еще живет представлениями прошлого века. Он никак не может понять, что наступили другие времена. — Столыпин помолчал. Потом тихо сказал: — Если хочешь знать, самодержавие погибает...

— Ты с ума сошел, — с ужасом сказала Ольга Борисовна. — Ты меня прости, но как ты можешь служить царю с такими мыслями? И только потому, что он вернул вам сырой, недоработанный закон.

Столыпин усмехнулся, и эта усмешка не понравилась Ольге Борисовне.

— Я его верный слуга. И останусь им по гроб жизни. Ты это знаешь лучше меня. Может быть, даже самый верный... Если он от кого и узнает о том, что происходит в России, так это от меня... Другие холуйствуют. Фредерикс уже ничего не соображает. Вообрази, жду приема почти час, оказывается, барон забыл, куда шел... Я царю сказал, что надо отменить полевые суды. Он ни в какую. А революция уже захлебнулась, зачем лишние жертвы?

— Как только вы отмените полевые суды, террор снова возобновится, — твердо сказала Ольга Борисовна.

— Вот-вот, — засмеялся Столыпин, — и наш царь-батюшка так говорит.

Он поднялся, обнял жену:

— Ну что? Баиньки? Что-то мне сегодня действительно Лев Николаевич не впрок. Завтра я поеду-таки на открытие.

Ольга Борисовна заволновалась:

— Я не пойму, Петр. Открытие нового факультета — не Бог весть какое событие, ну почему именно премьер должен ехать? Достаточно, что там будет Лауниц.

— Ты что, не знаешь Лауница? Он первый скажет, что я испугался.

— Ты никак не можешь понять, что здесь не Саратов и твоя личная храбрость никому не нужна. Достаточно ею бравировать.

— Олюшка, я не бравирую. Это мой долг.

— Ты сам сказал, что готовится акт. Ну чего ты лезешь под пули, тебе мало Аптекарского? — Она готова была разрыдаться и смотрела на своего мужа

чуть ли не с ненавистью, оттого что он видит слезы на ее глазах.

— Вот их там и возьмут, — с улыбкой сказал он, пытаясь ее обнять.

Она отстранилась.

— Возьмут. После того как вас перестреляют. Или взорвут. Они же не дорожат своими жизнями. А чужая для них тем более ничего не стоит. Делай что хочешь, но я тебя не пушу.

Она сказала так строго и непреклонно, что Петр Аркадьевич от души рассмеялся, обнял ее, и она прильнула к нему.

— Будь по-твоему, не поеду. А Лауницу так и скажу: мол, жена не пустила.

Борис Савинков, отчаявшись провести акт против Столыпина, поручил его своим молодым соратникам. Вместе с Азефом они в короткий срок подготовили боевую группу, состоящую в основном из студентов. Это была как бы школа для террористов. Они знали, что 21 декабря состоится открытие факультета кожных заболеваний в здании Петербургского университета. Знали также, что на открытие приедут петербургский градоначальник генерал фон Лауниц и премьер Столыпин. Решено было провести двойной акт. Азеф сообщил в департамент полиции о готовящемся покушении. Переодетые агенты, казалось, контролировали все выходы и входы, прилегающие улицы. Лауницу сообщили о террористах и предпринимаемых мерах. Когда все собрались на открытие, Лауниц был очень удивлен, узнав, что Столыпин не приедет. Среди приглашенных были два молодых человека во фраках. Эти фраки и сбили с толку охрану. У них не осмелились проверить

документы, тем более что они показали пригласительные билеты. Некто Сулятицкий должен был стрелять в Столыпина. Второй — Кудрявцев — взял на себя градоначальника. Когда стало известно, что Столыпин не приедет, Сулятицкий ушел. Едва Лауниц стал подниматься по мраморной лестнице, как из публики к нему быстро подошел Кудрявцев и выстрелил подряд несколько раз, после чего хладнокровно застрелился сам.

Столыпин был потрясен. Но более всего его поразили две вещи — необычная настойчивость жены, спасшей ему жизнь, и полная беспомощность полиции.

Но то, что случилось на следующий день, потрясло его еще больше. Кто-то из ретивых начальников департамента полиции отдал распоряжение отделить голову Кудрявцева от туловища, поместить ее в стеклянный куб и выставить на всеобщее обозрение. Целый день заспиртованная голова в стеклянном кубе стояла у входа в новый факультет, и горожане с содроганием и ужасом взирали на нее. И ничего, кроме ненависти к властям, они, конечно, не испытывали.

Ситуация с убийством петербургского градоначальника создалась довольно двусмысленная. Он был ярым антисемитом, и отношения между ним и Столыпиным резко ухудшились после того, как ему стало известно о проекте нового законоположения о евреях. Лауниц не скрывал своего презрительного отношения к Столыпину, полагая, что он с евреями заигрывает потому лишь, что боится их пули. Столыпин избегал объяснений с ним, считая это ниже своего достоинства. В департаменте знали о том, что на открытии факультета кожных заболеваний будут террористы, они знали также, что туда соби-

рается их шеф. И вдруг он в последний момент передумал. А террористы убили Лауница, врага Столыпина — всем было известно, что они враждуют... Столыпин ждал, что его призовет Государь для объяснений. Однако этого не произошло, и министр внутренних дел распорядился выгнать нескольких человек, причастных к организации охраны и слежки, еще раз проверить картотеку тайных агентов и навести там должный порядок. Его недоброжелатели говорили, что порядка в министерстве никогда не будет. По крайней мере до тех пор, пока им руководит дилетант. Возможно, в какой-то степени они были правы.

Сложилась парадоксальная ситуация. Революция шла на убыль, а террор усиливался. Эсеры и максималисты полагали, что таким образом они подбрасывают в пламя горючие материалы, и события 1905 года повторятся с новой невиданной силой. Но этого не происходило, и потому убийства не прекращались. Был убит главный военный прокурор Павлов. Убили начальника тюремного управления Максимовича. Вместо него назначили бывшего минского губернатора Павла Григорьевича Курлова, генерал-лейтенанта от кавалерии. Человек с хорошим юридическим образованием, прекрасной военной выправкой, он сразу понравился Государю, и царь благоволил к нему на протяжении почти всей его карьеры. По мнению Витте, Курлова двигал «Союз русского народа», прежде всего один из его лидеров — Дубровин. Столыпин знал о «подвигах» Павла Григорьевича, помнил, как по его приказанию в 1905 году в Минске расстреляли несколько десятков евреев. Петр Аркадьевич во всеуслышание говорил, что он не допустит Курлова на высокие должности в министерство

внутренних дел, ибо вреда от его энергической деятельности будет больше, чем пользы. Однако с течением времени Курлов сделался товарищем (заместителем) министра внутренних дел, и Столыпин не смог этому противостоять...

Наступил 1907 год. 1 января царь подписал указ о поименном составе Государственного совета. С этого дня Столыпин стал членом Госсовета. Надо сказать, что царь не обходил его милостями и наградами. Ордена и звания сыпались на Столыпина на протяжении всех последующих четырех лет, и даже в начале 1911 года, когда Столыпин вызывал у царя только одно чувство — раздражение, награды его не обходили. Очевидно, таковы были традиции.

После убийства Лауница многие стали замечать, что Столыпин стал замкнут, раздражителен, все чаще повышал голос на своих подчиненных, чего раньше не наблюдалось. Именно в это время его посетил председатель московской губернской земской управы, а через некоторое время председатель Второй Государственной думы Ф. А. Головин. В своих воспоминаниях, которые не были опубликованы, он пишет:

«Когда я вошел в большой уютный кабинет, мне навстречу поднялся из кресла у письменного стола высокий с резкими и решительными движениями человек. Он подал мне дряблую, калеченую правую руку и указал на кресло. Во всей его крупной фигуре, в резких и решительных движениях, в холодном, с металлическим оттенком голосе, в тяжелом взгляде злых глаз, в неприятном очертании крупных красных губ на бледном лице — во всем было что-то неприятное, властно тупое и жестокое.

Он мне очень не понравился, хотя разговор был вполне корректен, даже любезен.

Из нашего разговора я понял, вышел убежденным, что передо мной был хороший губернатор, но не премьер и даже не министр Внутренних дел».

Между тем земельная реформа, не спеша и раскачиваясь, все же набирала скорость. В стане радикальной оппозиции одним из первых это заметил В. И. Ленин. Он жил на Западе и кочевал из одной библиотеки в другую: Цюрих, Женева, Берн, Париж... «Если это будет продолжаться и дальше, — писал он в одном из своих писем, — нам придется отказаться от какой-либо аграрной программы». Заканчивались выборы во Вторую Государственную думу. Социал-демократы решили участвовать в ней. По замыслу Ленина, депутаты от большевиков должны будут разоблачать реакционную политику Столыпина и «столыпинщины» (ленинский термин). Реформа наносила мощные удары общинному земледелию. Ленин справедливо видел в этом угрозу существованию его партии. Он писал: «Самодержавие поняло, что без ломки старых земельных порядков не может быть выхода из того противоречия, которое глубже всего объясняет русскую революцию: самое отсталое земледелие, самая дикая деревня — самый передовой промышленный и финансовый капитализм...» И вот, пожалуй, самое удивительное ленинское откровение: «...общину, как демократическую организацию местного управления, как товарищеский или соседский союз, мы безусловно будем защищать от всяческого посягательства бюрократов...» Что, собственно, и делали во Второй Думе депутаты от социал-демократической партии.

...Вторая Дума открылась 20 февраля 1907 года. Царь к ее работе отнесся в высшей степени настороженно, и, увы, оказался прав. Она мало чем по составу отличалась от Первой Думы, а по своему настроению и выпадам против правительства продвинулась далеко вперед. Во время одного из самых первых заседаний произошло событие, которое позднее многие назвали символическим. В Таврическом дворце перед началом заседаний не успели закончить ремонт. Рабочих торопили... Внешне все выглядело пристойно. Однако в тот день, когда Столыпин пришел в Думу для выступления, в перерыве в главном зале заседаний обвалился потолок. По счастью, это произошло во время перерыва. Потолок рухнул как раз по центру, где несколько минут назад стоял в окружении депутатов Столыпин. Никого не задело...

Одно из первых заседаний началось со скандала. Его виновником стал В. В. Шульгин, один из самых восторженных почитателей Столыпина. Левые партии получили во Второй Думе более двухсот мест — треть от общего числа депутатов. С первых же заседаний они задавали скандально-агрессивный тон, не стесняясь в угрозах и выражениях. Шульгин одно из своих выступлений начал так: «Я, господа, прошу вас ответить: можете ли вы мне откровенно и положиа руку на сердце сказать: «а нет ли, господа, у кого-нибудь из вас бомбы в кармане». После этих слов в Думе началось что-то невообразимое. Левые повскакали с мест и пытались стащить Шульгина с трибуны, правые стали его защищать. Началась драка. Шульгин с олимпийским спокойствием взирал на потасовку. Председательствующему пришлось вызвать жандармов. Когда порядок был восстановлен, Шульгина заставили

удалиться из зала. Он был отлучен от Думы на пять заседаний.

Отношения между Столыпиным и царем стали более прохладными в основном из-за Думы. Но Столыпин не терял надежды. Он все-таки верил, что ему удастся примирить два враждующих крыла, ведь ситуация в стране резко отличалась от той, что была год назад. Ему казалось, что левые пойдут на переговоры.

Он жестоко ошибался. Для левых и правых Дума стала неким полигоном для взаимных нападков и оскорблений. Они вели себя как драчуны, которые перед тем как броситься в драку, «разогреваются» обоеюдным потоком брани. И тем и другим казалось, что скоро, очень скоро словесные баталии перерастут в кровавые битвы. Особенно в это верили правые, они полагали, что Дума отомрет сама собой, как только революцию окончательно раздавят...

Для чего же Столыпину нужна была Дума? Он никогда не был либералом в том смысле, какой вкладывала в слово русская интеллигенция начала века. Он не считал «права» и «свободу» пропуском в мир благополучия и согласия. Более того, он полагал, что русский народ еще не готов к тем свободам, какие он получил в результате революции 1905 года, для того чтобы воспользоваться свободами, необходимо время. Иначе все превращается в анархию и беззаконие. Для такой точки зрения у него был неотразимый аргумент — революция, нескончаемый террор крайних левых в лице эсеров и максималистов. В конце концов, он располагал своим собственным горьким опытом. Но он справедливо решил, что Россия может двигаться по пути прогресса, только имея мощную законодательную базу. За восемь месяцев между двумя Ду-

мами Совет министров во главе со Столыпиным подготовил такое количество законопроектов, что с ними до конца так и не разобралась ни одна Дума до наступления рокового 1917 года. Количество законопроектов исчислялось несколькими сотнями. Используя чрезвычайную 87-ю статью, Столыпин провел ряд законов, которые позволяли создать правовую базу для дальнейших шагов реформы. В частности, указ от 5 октября 1906 года о равноправии крестьян, от 9 ноября — о выходе из общин и целый ряд указов о передаче некоторых земель Крестьянскому банку. Вот как комментирует эти «подготовительные» указы В. А. Маклаков, член Второй, Третьей и Четвертой Думы: «Эти указы в своей совокупности должны были начать в крестьянском быту новую эру. Но настоящего государственного смысла этих реформ Столыпин в то время еще не высказывал. Может быть, он не хотел идеологических возражений и справа и слева. «Справа» потому, что эта программа была, по существу, «либеральной», так как ставила ставку на личность, «слева» потому, что там издавна питали слабость к коллективу, демократической общине».

Столыпин полагал, что основные законы он сможет провести через Думу, и потому надеялся на сотрудничество с ней. Первое же его выступление 6 марта 1907 года все поставило на свои места. Уже один вид Столыпина у левых вызывал такой приступ ненависти и ярости, что буквально через несколько минут его пребывания на трибуне в зале возникла напряженная враждебная обстановка, которую премьер почувствовал мгновенно. Однако он обладал одним удивительным качеством. Когда он видел враждебность к себе или просто недоброжелательность, он обнаруживал та-

кой необыкновенный прилив сил и энергии, такую мощь, что оппоненты не могли ее не заметить. По правде сказать, сегодня, с высоты прошедших девяноста с лишним лет, непонятно, на что рассчитывал Столыпин, когда проводились выборы во Вторую Думу. К этим выборам присоединились эсеры и социал-демократы. Было очевидно, что Государь и правительство получают в лице Думы мощного и вполне легального противника. Если в Первой Думе настоящих ораторов можно было сосчитать по пальцам и в этом коротком счете не было Столыпина, то во Второй было достаточно депутатов, умевших говорить ярко и убедительно. Именно в речах перед Второй Думой открылся необыкновенный ораторский талант Столыпина. Внушительная медвежья фигура, мощный голос, способный перекрыть свист и улюлюканье левых, а главное — убедительность и искренность. Витте никогда не был оратором, и потому он завидовал Петру Аркадьевичу.

Итак, длинное и подробное выступление во Второй Думе, где Столыпин пытается раскрыть сущность реформ, пытается рассказать о том, в каких направлениях работало и работает его правительство. После него слово берет депутат от социал-демократов Церетели. Его речь полна брани, угроз, он просто и прямо говорит, что нужно вести речь о насильственном свержении власти. Этот день был днем социал-демократической фракции большевиков. Пожалуй, именно тогда Столыпин понял, что со Второй Думой ни о чем нельзя договориться и нужно искать другие пути. Но он не мог оставить без внимания то, что услышал, и опять попросил слово.

Разъяснение П. А. Столыпина, сделанное после думских прений, 6 марта 1907 года:

«Господа, я не предполагал выступать вторично перед Государственной думой, но тот оборот, который приняли прения, заставляет меня просить вашего внимания. Правительству желательно было бы... найти тот язык, который был бы одинаково нам понятен. Я отдаю себе отчет, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы; я им пользоваться не буду...

...когда начал царить ужас и террор, правительство должно было или отойти и дать дорогу революции, забыть, что власть есть хранительница государственности и целостности русского народа, или действовать и отстоять то, что было ей вверено. Ударяя по революции, правительство несомненно не могло не задеть и частных интересов... Борясь исключительными средствами в исключительное время, правительство вело и привело страну во Вторую думу. Я должен заявить и желал бы, чтобы мое заявление было слышно далеко за стенами этого собрания, что тут волею Монарха нет ни судей, ни обвиняемых и что эти скамьи — не скамья подсудимых, это место правительства.

За наши действия в эту историческую минуту, действия, которые должны вести не ко взаимной борьбе, а к благу нашей родины, мы точно так же, как и вы, дадим ответ перед историей...

...В тех странах, где еще не выработано определенных правовых норм, центр тяжести, центр власти лежит не в установлениях, а в людях. Людям, господа, свойственно и ошибаться и увлекаться и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут разоблачаемы... но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление. Эти

нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли, все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «Руки вверх». На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: «Не запугаете».

Очевидцы рассказывали, что первые несколько секунд в зале установилась гробовая тишина. Столыпин покидал трибуну, и у него почему-то было предчувствие, что сейчас выстрелят или бросят бомбу. И когда он почти дошел до своей ложи, раздались овации и восторженные возгласы, в которых тонули редкие свистки и выкрики слева. Столыпин растерянно оглядывал зал, не понимая, что он такого сказал, ведь он говорил так, как думал и чувствовал. Да, к этому выступлению он готовился как никогда тщательно, да, у него было что ответить, если левые примут его речь в штыки. Нет, он не ожидал такой бурной реакции. И опять, уже в который раз, Столыпин надеялся, что все обойдется, что большинство думцев ему поверят, отменят военно-полевые суды, это позорище России, которое поставило ее в ряд самых варварских режимов, по утверждению западных либералов... Он стоял у своей ложи и ощущал, как слезы наворачиваются на глаза от чувства благодарности тем, кто стоя ему аплодировал. На галерке, где располагалась пресса и приглашенные (эти места думский руководитель фракции от «Союза русского народа» В. М. Пуришкевич прозвал «чертой оседлости»), происходила настоящая буря. Казалось, вот-вот обрушатся перила, через которые свешивались люди, чтобы еще раз поглядеть на Столыпина, с растерянной улыбкой взирающего на беснующийся зал.

С этого мгновения Столыпин стал самой популярной личностью в России. И как это часто бывает, он вызывал диаметрально противоположные чувства. Одни его считали надеждой России, тем лидером, по которому истосковалась страна — невероятно богатая, щедрая, но, увы, традиционно бедная на тех, кто стоит у кормила власти. Другие поняли, что Столыпин — враг номер один в достижении их политических целей. А цель была одна: захват власти. И чем больше восторженных откликов печаталось в прессе, тем мрачнее становилось ближайшее окружение царя, ибо оно понимало, что тягаться со Столыпиным невозможно, что у него самостоятельный взгляд на то, по какому пути должна двигаться Россия, а следовательно, царь уже не сможет держать его в узде. Первой, кто это понял, была Александра Федоровна, мысль, что кто-то в России может быть выше ее мужа, была для нее невыносимой. Увы, любящей женщины в ней было гораздо больше, чем императрицы. Царю речь Столыпина понравилась, но он удивленно пожимал плечами, читая неумеренные, с его точки зрения, восторги правой прессы.

Петр Аркадьевич собирал все положительные отзывы о себе и самолично наклеивал вырезки из газет в специальный альбом. Он также коллекционировал поздравительные адреса и письма, присланные ему лично. Об этой его привычке язвительно отзывался Витте, подтверждая свой тезис о непомерном тщеславии Столыпина. Не думаю, что это так. Скорее всего, тут дело в другом: с помощью открыток, поздравлений легче вспоминать те или иные события в твоей жизни, а также вереницу людей, которые приходят в нашу жизнь и уходят из нее. Отрицательные же отклики, комментарии,

публиковавшиеся в российской и зарубежной печати, по его указанию тщательным образом систематизировались в аналитическом отделе департамента полиции.

А дома Столыпина ждала еще большая радость. Наташа в этот день впервые поднялась с кресла и на костылях самостоятельно прошла несколько шагов.

Очевидно, Ольге Борисовне уже телефонировали о его выступлении. Когда Петр Аркадьевич вышел к обеду, она встретила его стоя, подошла к нему, обняла и сказала, глядя прямо в глаза:

— Я горжусь тобой, Петр. Вот увидишь, это только начало.

— Какие пустяки, право... — Столыпин был невероятно растроган и даже смущен. — Вот Ната поднялась, вот радость так радость. А там... — Он махнул рукой. — Я знаю эту публику. Сегодня визжат от радости, а завтра — от злобы. Но... все равно приятно... Как же я люблю тебя, даже выразить не могу.

Они стояли и тихо разговаривали, и дети молча смотрели на них, а у Мати слезы навернулись на глаза от нахлынувшего счастья, и она думала, неужели на свете есть люди, которые могут не любить такого человека — такого умного, доброго... такого ее отца!

Они сидели за столом. Прислуга быстро и бесшумно приносила и уносила тарелки. Впервые за последнее время Столыпин и Ольга Борисовна выпили по бокалу шампанского.

Поздно вечером стали приносить телеграммы и приветственные адреса.

Вот некоторые из них.

«Первое выступление министерства в Государственной думе в лице вашем было полно достоинства, авторитета и власти. Сердечно вас приветствую и призываю Божие благословение на дальнейшие труды ваши. Да направит Господь членов Думы к мирной работе на благо Родины. *Митрополит Антоний*».

Ответ Столыпина:

«Счастлив был получить ваш привет, Владыко. Глубоко верю, что молитвы русских людей спасут нашу православную Русь. Испрашиваю вашего благословения и молитв. *Столыпин*».

Адрес Столыпину, подписанный несколькими тысячами людей:

«Глубокоуважаемый Петр Аркадьевич. Ваше спокойное, убежденное слово, сказанное в Государственной думе, еще раз показало России, что власть, вверенная вам Государем, находится в чистых, честных и твердых руках. Измученная невзгодами Родина нуждается прежде всего в таком правительстве, которое, проявляя широкое понимание народных нужд, ставило бы вместе с тем своей основной задачей охранение порядка и законности. В вас мы видим главу такого правительства. Приветствуя вас, желаем вам сил и здоровья на исторически великое служение Родине в столь тяжелое для нее время».

Письмо П. А. Столыпина А. С. Суворину, написанное в ответ на получение адреса:

«Милостивый государь, Алексей Сергеевич.

Вчера при письме без подписи мною получен был приветственный адрес от лиц разных слоев общества, покрытый несколькими тысячами подписей.

Вполне оценивая ту необычайно высокую честь, которой я удостоен, я хорошо понимаю, что отклик общества относится ко мне лишь постольку, поскольку я являюсь верным исполнителем воли и предначертаний моего Государя.

Благодарить в отдельности каждого подписавшего приветствие я лишен возможности, вследствие чего и обращаюсь к посредству вашей уважаемой газеты (с 1876 года Суворин был главным редактором петербургской газеты «Новое время». — В. Х.), чтобы выразить всем оказавшим мне глубоко тронувшее меня внимание мою самую сердечную благодарность и уверение, что в сочувствии общества Правительство почерпнет новые силы продолжать, с верою в светлое будущее России, порученное ему Государево дело.

Примите уверение в искреннем моем уважении и преданности. *П. Столыпин*».

Из ответа П. А. Столыпина на адрес, подписанный группой москвичей:

«Не могу выразить, до какой степени меня тронул бодрящий, живой голос родной Москвы. Москва для меня — олицетворение святой Родины. Москва — живая история России, живая летопись былых подвигов русских людей. В числе подписей — много имен, напоминающих мне дни детства, проведенного в Москве, и неизвестные, но дорогие отныне имена крестьян. Обращаюсь к вам с большой просьбой: доведите, когда и как это представится вам возможным, до сведения лиц, сделавших мне великое благо, подаривших меня откликом своей души, что чувствую и ценю духовное с ними общение и твердо верю и надеюсь не на себя, а на ту собирательную силу духа, которая уже не раз шла из

Москвы, спасала Россию и которой служить во славу Родны и Царя для меня высшая цель и высшее счастье...»

С. Ю. Витте, обнаружив столь бурную положительную реакцию в обществе на выступление Столыпина, поразмыслив, тоже направил Петру Аркадьевичу поздравительную телеграмму. На нее Столыпин незамедлительно ответил:

«Милостивый государь, граф Сергей Юльевич.

Примите мою глубокую благодарность за ваш теплый привет, особенно для меня ценный, как идущий от государственного человека, перенесшего столько испытаний, как Вы.

Прошу вас верить в искреннее уважение мое и преданность. *П. Столыпин*».

Почти в то же самое время Витте записал в своем дневнике:

«К этому времени Столыпин приобрел уже значительную силу и в глазах императора, и в придворной партии. Сила Столыпина заключается в одном его несомненном достоинстве — в его темпераменте. По темпераменту Столыпин — государственный человек, и если бы у него был соответствующий ум, соответствующее образование и опыт, то он стал бы вполне государственным человеком. Но в том-то и беда, что при большом темпераменте Столыпин обладает крайне поверхностным умом и почти полным отсутствием государственной культуры и образования. По образованию и уму ввиду неуравновешенности этих качеств Столыпин представляет собой тип штык-юнкера. Государю и придворной партии, по-видимому, нравятся его отважность и его храбрость».

И, наконец, отрывок из передовой статьи немецкой газеты «Tagliche Rundschau»:

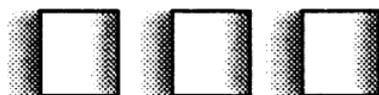
«У г. Столыпина нет правительственного большинства, но зато большинство, выступающее против него, распалось в вопросе о тактике. Государственная дума, по-видимому, решила относиться к г. Столыпину с доверием. Без преувеличения можно сказать, что будущее России покоится на плечах г. Столыпина. Очень возможно, что он и есть тот герой-рыцарь, которого ждет Царь для спасения России...»

Больше всего радовало Столыпина то, что после его выступления в Думе шаги реформы стали более уверенными и размашистыми. Когда некоторые безапелляционно утверждают, что в Думе, в дореволюционной или нынешней, одна сплошь говорильня, позволю себе с этим не согласиться. Ибо, как сказал кто-то из российских мудрецов, в России слово — уже дело. И потому, возможно, нам всем необходимо так аккуратно и бережно обращаться со словом, чтобы не навредить.

Итак, слово Столыпина возымело действие.

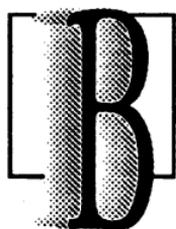
Около 200 тысяч семей получили в частную собственность порядка двух миллионов десятин земли (одна десятина равнялась 1,09 гектара). Дальше. Земля не могла быть продана иностранцам, не могла быть продана тем, кто не имел непосредственного отношения к земле. То есть огромная армия посредников и перекупщиков, наживавших себе целые состояния, оказалась не у дел. Неплохой пример для наших современных руководителей, не правда ли? По новому законодательству не разрешалось иметь в одних руках больше шести наделов. Средний размер

крепкого крестьянина в то время составлял 14—15 десятин. Таким образом, реформа ставила барьер на пути огромных землевладений, которые чаще всего представляют угрозу для средних и мелких хозяев: тот, кто много имеет, непременно хочет иметь еще больше — как правило, за счет ближнего своего. Таков уж человек!.. Процент за ссуду был ниже прежней арендной платы за землю, сроки возмещения по процентам устанавливались в пятьдесят лет! Сегодня, спустя девяносто с лишним лет, все эти меры кажутся не столько современными, сколько фантастическими. Хотя их актуальность с годами приобрела необыкновенную остроту. Но мы все изобретаем какие-то схемы или заимствуем то на Западе, то на Востоке бесконечные экономические модели, и стараемся их силком натянуть на Россию, а она сопротивляется, и тогда все начинает трещать по швам, а мы вновь, забывая о своем собственном опыте, шарахаемся за помощью к очередным модным экономистам.



Глава 7

БОРЬБА С ДУМОЙ



конце концов и Дума пришла в себя после триумфального выступления Столыпина. Снова началась ругань, взаимные угрозы левых и правых. Снова правительство оказалось под мощным обстрелом двухсот левых думцев. Уже мало кто говорил об аграрном вопросе, ибо это поле битвы, по крайней мере на данный момент, осталось за Столыпиным. Но еще работали военно-полевые суды. Продолжали вешать и расстреливать, правда не с такой интенсивностью, как в 1906 году. По сути, это было незаконием. Упомянутый уже В. Маклаков не раз поднимал в Думе вопрос об отмене военно-полевых судов. Не потому, что он был настолько либерален или страшно переживал за тех, кто оказался на виселице. Вопрос был политическим. А Маклаков во Второй Думе был одним из самых ярких про-

тивников Столыпина. Когда спустя десять лет Маклаков стал членом Временного правительства, он, как и прочие его коллеги, обнаружил полную политическую несостоятельность и беспомощность, ибо надо было принимать единственно правильные решения. Ему бы поучиться у Столыпина, когда он с ним яростно полемизировал... Но оппозиция в России всегда была негибкой и в своей ненависти к тем, кто находился у власти, не всегда умной.

13 марта Столыпин отвечал в Думе В. Маклакову:

«Я буду говорить о нападках на самую природу этого закона (о военно-полевых судах. — В. Х.), о том, что это позор, злодеяние и преступление, вносящее разврат в основы самого государства... Я должен был бы стать защитником военно-полевых судов... Но в этой плоскости мышления, я думаю, что я ни с г. Маклаковым, ни с другими ораторами, отстаивающими тот же принцип, — я думаю, я с ними не разошелся бы. Трудно возражать тонкому юристу, талантливо отстаивающему доктрину. Но, господа... государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада. Этот принцип в природе человека, он в природе самого государства. Когда человек болен, его организм лечат, отравляя его ядом. Когда на вас нападет убийца, вы его убиваете... (*«Откуда вы знаете заранее, что он убийца?»* — выкрик слева.) Этот порядок признается всеми государствами... Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества...»



Царская семья возле могилы Кочубея и Искры в Киево-Печерской лавре.
31 августа 1911 г.



П. А. Столыпин в крестном ходе в Полтаве в высочайшем присутствии.
27 июня 1909 г.



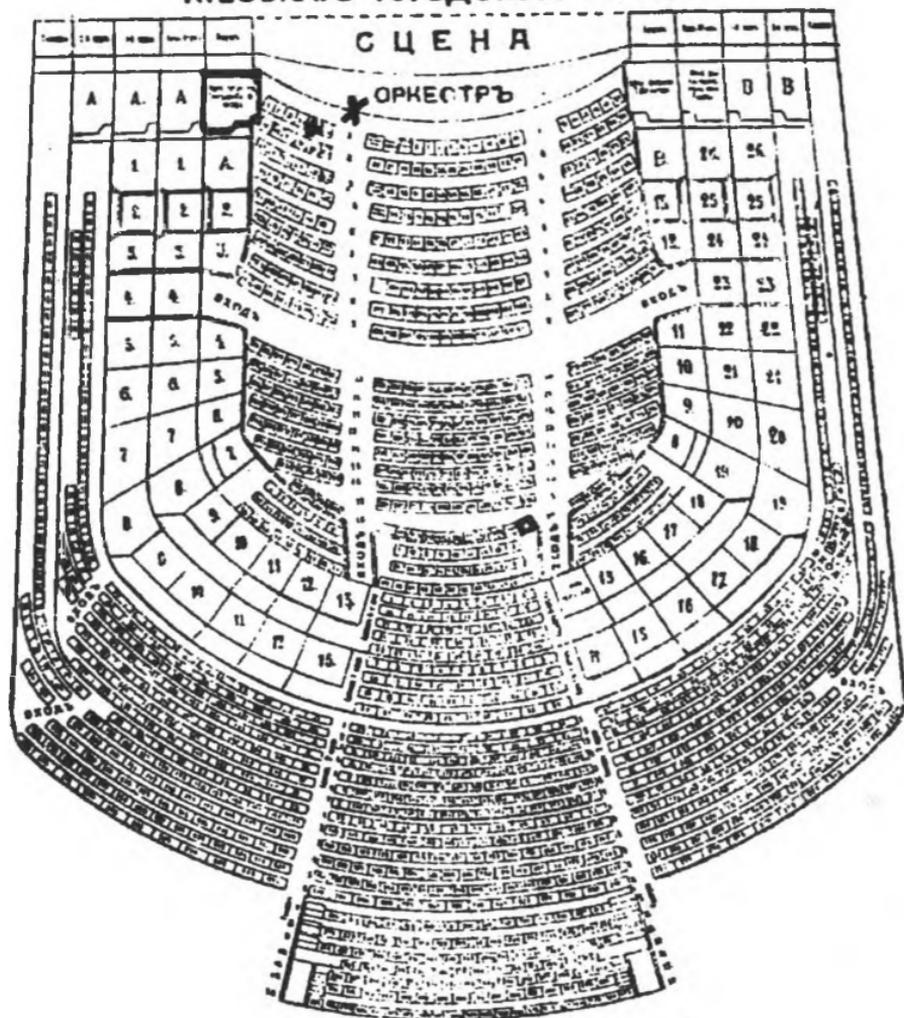
Сергей Юльевич Витте



В. Н. Коковцов, назначенный Высочайшим указом
9 сентября Председателем Совета Министров. 1911 г.

ПЛАНЬ

КИЕВСКАГО ГОРОДСКОГО ТЕАТРА



- C** — генерал-губернаторская ложа, в которой во время спектакля находился царь.
+ — кресло № 5 — место Столыпина.
□ — кресло № 406 — место Бозрова.
X — место, где стоял Столыпин в момент покушения.

План Киевского городского театра.



П. А. Столыпин в день
покушения.
1 сентября 1911 г.





Похороны П. А. Столыпина. Киево-Печерская лавра, возле стены Трапезной церкви.

- ◀ Смертельно раненого П. А. Столыпина переносят в карету скорой помощи. Рисунок очевидца.



Во дворе тюрьмы.



(Сверху вниз) Помощник министра внутренних дел П. Г. Курлов, дворцовый комендант В. А. Дедюлин, начальник дворцовой охраны А. И. Спиридович.



Памятник П. А. Столыпину
на площади перед зданием Киевской городской думы.
1912 г.

Хочу сделать небольшое отступление. Финляндия в составе России занимала особое положение. Она прилагала огромные усилия, чтобы от автономии перейти к полной независимости. Парадокс истории заключался в том, что финны получили независимость из рук Ленина. Это была его благодарность за поддержку революционного движения, ибо особенности автономии позволяли многочисленным подпольным революционным группам собираться на территории Финляндии, готовить там террористические акты, чем особенно пользовалась БО эсеров, проводить собрания и конференции. В разгар революции 1905 года в Таммерфорсе состоялась конференция социал-демократов, в которой принимал участие Ленин. Принятые там документы написаны в основном им. В 1906 году там же состоялось еще одно собрание РСДРП. Оно называлось «Первой конференцией военных и боевых организаций РСДРП». Были опубликованы материалы, где указывалось на руководящую роль партии и курс на вооруженный захват власти. Понятно, что эти документы тщательно изучались в департаменте полиции. Очень внимательно их читал и Столыпин. Он как умный и прагматичный политик сразу определил, откуда будет исходить главная опасность для существующей власти, и не преминул публично сообщить об этом во время своего выступления 13 марта:

«Передо мной документ: резолюция съезда, бывшего в Таммерфорсе перед началом действия Государственной думы. В резолюции я читаю: «Съезд решительно высказывается против тактики, определяющей задачи Думы как органическую работу в сотрудничестве с правительством...» Затем резолюция

окончательная: «Съезд находит необходимым... все центральные и местные террористические акты, направленные против агентов власти... поставить под непосредственный контроль и руководство центрального комитета». Господа, я не буду утруждать вашего внимания чтением других, не менее официальных документов. Я задаю себе лишь вопрос о том, вправе ли правительство перед лицом своих верных слуг, ежеминутно подвергающихся смертельной опасности, сделать главную уступку революции?

...Господа, в ваших руках успокоение России, которая, конечно, сумеет отличить кровь, о которой так много здесь говорилось, кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей, применяющих самые чрезвычайные, может быть, меры с одной верой — исцелить трудно больного».

В апреле 1907 года указ о военно-полевых судах был отменен. За время первой русской революции 1905—1907 годов по приговору военно-полевых судов было казнено, по разным данным, от 860 до 1450 человек.

Казалось бы, из рук левых думцев выбито мощное оружие. Но не тут-то было! Нападки с их стороны на правительство и царя стали носить все более агрессивный характер. Государь призывал Столыпина подумать, как разогнать Думу под благовидным предлогом. Пожалуй, самое слово «Дума» было ненавистным для Николая. Он писал своей матери, Марии Федоровне:

«К нам из Англии прибыла совершенно чудовищная по своему составу делегация для того, чтобы посмотреть на либеральных членов Думы. Дядя

Берти выразил сожаление, что они не могли ничего сделать, чтобы предотвратить визит этой делегации. Эти знаменитые английские свободы! Хотел бы я посмотреть на их негодование, если бы из России направилась делегация в Ирландию для того, чтобы выразить свою поддержку в их борьбе с правительством... Все было бы терпимо, если бы дискуссии в Думе оставались в ее стенах и не выходили за ее пределы. Однако каждое сказанное там слово на следующий же день появляется в газетах... Я получаю отовсюду много телеграмм с просьбами о роспуске Думы. Но время еще не пришло. Надо разрешить им сделать какую-нибудь большую глупость. После этого мы их разгоним».

10 мая Столыпин предпринял, как потом оказалось, последнюю попытку мирного сотрудничества с Думой. Он произнес речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности. Именно в тот день им были сказаны слова, которые впоследствии будут начертаны на его памятнике в Киеве:

«Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!»

Слова эти не вызвали такой бурной реакции, какая была два месяца назад. Но ее заметили выдающиеся умы России. Известный философ С. Н. Булгаков писал, что патриотизм снова входит в моду, ибо он оппозиционен. Термин Столыпина «Великая Россия» вошел в обиход, и во многих статьях и речах им стали пользоваться...

...Первая попытка разгона Думы была предпринята в начале мая 1907 года. 33 депутата от правых партий внесли в Думу запрос о якобы раскрытом полицией заговоре террористов против царя, Столыпина и великого князя Николая Николаевича. Для ответа на запрос в Думу приехал Столыпин и держал речь в качестве министра внутренних дел. Во время его выступления левые депутаты демонстративно покинули зал. Столыпин сообщил, что действительно такой заговор существовал и в Петербурге уже арестовано несколько десятков человек и что ведется следствие. В отсутствие левых Дума единогласно приняла резолюцию с осуждением той части депутатов, которая якобы принимала участие в заговоре. Едва кончилось голосование, в зал вошли левые.

А дальше дело с заговором тихо замяли, и левые, очевидно, справедливо обвиняли правительство в провокации, направленной на разгон Думы.

Некоторые историки утверждали, что Столыпин как министр внутренних дел слишком доверился начальнику департамента полиции А. В. Герасимову, который лично занимался делом одного из самых деятельных депутатов социал-демократической фракции Озола. Полагаю, что все обстояло с точностью до наоборот. Столыпин в эти дни лихорадочно искал случая, чтобы найти повод и расправиться с социал-демократами. Когда Герасимов подбросил ему идею с обыском квартиры Озола, Столыпин, не вдаваясь в подробности, одобрил план, предварительно ознакомившись с подробным донесением тайных агентов на депутата.

Было ясно, что дни Думы сочтены и достаточно любого предлога, чтобы она прекратила свое существование. Столыпин же в это время работал над

изменением избирательного закона. Он понимал, разогнать Думу и снова назначить выборы — значит получить то, что уже дважды имели. Он чувствовал, что счет уже идет не на дни, а на часы. Думу могут разогнать в любой момент, а проект закона еще не будет готов...

30 мая Столыпин писал царю: «Все готово к предъявлению Государственной думе в пятницу требования об устранении из своей среды 55 членов и к роспуску Думы в случае отказа в этом... Одновременно будет предъявлено требование о разрешении немедленно заключить под стражу 15 наиболее уличаемых членов Думы, которые вместе с тем являются и цветом левых партий. Совет министров признал невозможным требовать разрешения ареста всех 55 членов, так как это бы имело характер не серьезного судебного обвинения, а политической мести. Но так как обвинение и требование исключения из Думы будет касаться всех пятидесяти пяти, то в случае попытки скрыться они все будут задерживаться полицией.

Избирательный закон переписывается и будет послан Вашему величеству к подписи завтра».

Но терпение царя уже кончилось. В записке к Столыпину он в категорической форме требовал ускорить вопрос о закрытии Думы. Столыпин ему отвечал: «Только что получены мною исторические слова Вашего величества, которые я позволил себе прочесть господам министрам. Совет заседал до трех часов ночи... Верьте, Государь, что все министры, несмотря на различные оттенки мнений, проникнуты были твердым убеждением в необходимости роспуска, и колебаний никто не проявлял...»

Вскоре случай подвернулся. В сравнении с якобы разоблаченным заговором он был достаточно

пустячным, но по формальным признакам вполне, что называется, соответствовал.

Депутат от левых Зурабов, выступая в Думе, обвинил армию в том, что она существует лишь для того, чтобы подавлять гражданские свободы. В запале он обратился с призывом к войскам восстать и свергнуть правительство. Царь, узнав о выступлении, был вне себя от ярости. Судить об армии, насколько она была хороша или нет, было прерогативой царя. Он издал манифест, обвиняющий Думу в заговоре против монарха. Одновременно был проведен обыск у депутата Озола, у него нашли подпольную литературу. Столыпин понял: наступил час «икс». Он направил председателю Думы, уже известному нам Ф. Головину, требование разрешить арест части левых депутатов, в основном из социал-демократов. Головин, разумеется, ответил отказом.

В ночь на 2 июня в Петербург были введены войска. 3 июня 1907 года Дума была распущена. Историки полагают, что именно в этот день закончилась первая русская революция, а Столыпин совершил государственный переворот. Большинство левых депутатов попало под надзор полиции, а около тридцати социал-демократов, членов Второй Государственной думы, были сосланы в Сибирь. Одни были приговорены к пяти годам каторги, другие — к пожизненной ссылке. Это был ответ Столыпина на резолюцию военного комитета РСДРП.

В России начался новый период общественной и политической жизни, период, который официальная коммунистическая идеология называла «столыпинской реакцией». Это было время невиданного экономического подъема страны, совершенно невероятных урожаев, обусловленных еще и тем, что в течение последующих пяти лет на территории огром-

ной Российской империи не было засухи, это время было отмечено и большим приростом населения. С начала века численность населения увеличилась почти на треть.

У России уже не было внешнего долга, а урожай зерновых превышал урожай Америки, Канады, Аргентины, вместе взятых! Запас зерна был таков, что его излишками почти два года кормили страну после революции 1917 года.

Но закон был в очередной раз нарушен, и Столыпин сознательно пошел на это нарушение, прибегая к спасительной в таких случаях 87-й статье, позволявшей утверждать любые законоположения при создании чрезвычайных обстоятельств. С этого момента популярность Столыпина резко пошла на убыль. Ибо он убедительно доказал, что его воля сильнее любого закона.

Но царь был счастлив. Его благодарность Столыпину простерлась настолько далеко, что он предложил ему вместе отдохнуть на императорской яхте «Штандарт» в финляндских шхерах. Предложение было с благодарностью принято. В конце июня Столыпина вместе со старшей дочерью Марией отправились на яхте в отпуск вместе с государевой семьей. Такой чести не удостоивался ни один министр...

Скорее всего, «Штандарт», водоизмещением 4500 тонн, для своего времени был самым красивым и современным судном. Оно было построено специально для Государя на датских верфях. Яхта с черным корпусом походила на миниатюрный крейсер и одинаково легко и изящно ходила под парусами и на своих мощных двигателях. Столыпиных

поразила красота и роскошь отделки судна. Под палубой им были выделены две большие каюты с большой ванной комнатой. А под ними находились помещения для духового оркестра и балалаечников. Офицеры яхты ходили в белоснежных кителях. Лакеи, прислуга, свита... Казалось, яхта до отказа набита людьми, но Ольга Борисовна обратила внимание, какой безукоризненный порядок существовал на судне, где каждый мог заниматься своим делом и лишь во время трапез все собирались в кают-компани, стены которой были отделаны красным деревом. Здесь впервые Столыпины познакомились с Анной Вырубовой, которая к этому времени стала для Александры Федоровны самым близким человеком. Молодая императрица часто не выходила к завтраку. Государь, извиняясь, говорил, что она не совсем хорошо себя чувствует. У Александры Федоровны была врожденная сердечная недостаточность, и после рождения Алексея у нее по утрам сильно отекали ноги. Утром она просто физически не могла подняться с постели.

Впервые Столыпины близко увидели царевича Алексея. Ольга Борисовна была поражена его удивительно серьезным и умным лицом, ведь мальчику еще не исполнилось и трех лет. И еще ей было непонятно, зачем за ним неотступно следовал мужиковатый матрос, не сводивший с него глаз. Алексею не разрешали быстро бегать, запрещали прыгать по палубе, а вниз он спускался только на руках этого матроса, фамилия которого была Деревенко. «Чудеса, да и только», — изумляясь, думала Ольга Борисовна и сравнивала наследника со своим Адей. Прошел почти год после того ужасного случая на Аптекарском, а их сын уже всюду бегал, забыв, что у него был тяжелый перелом ноги...

Столыпину казалось, что он попал в рай. Изумительные пейзажи, невысокие горы, узкие проливы между пустынными, поросшими хвойными деревьями островками. Вышколенная команда, тишина, утренние молитвы в маленькой корабельной церкви. Ласковый и внимательный Государь! Где-то далеко в прошлом остались безобразные сцены в Думе. Аптекарский же остров казался кошмарным сном. Он видел, как буквально за несколько дней под влиянием свежего морского воздуха, умиротворяющей тишины и удивительно милой обстановки, царящей на яхте, жена его очень похорошела, и он чувствовал, как его сердце заполняет необыкновенная нежность к ней. Потом, после того, как закончилось их замечательное путешествие, Ольга Борисовна призналась ему, что у нее было ощущение, будто снова наступил их медовый месяц...

Однажды Матя чуть ли не бегом поднималась по трапу на палубу, боясь пропустить вид на маленький и замечательно красивый островок, как чуть было не столкнулась с молодым офицером. Он покраснел и извинился. Вечером того же дня царь пригласил к столу группу офицеров. Тот молодой офицер оказался рядом с Матей. Они познакомились, и вскоре родители заметили, что их дочь оказывается в обществе одного из членов команды. Впрочем, это заметила и царская чета. Раз за обедом Государь как бы невзначай сказал, что этот молодой человек по имени Борис Бок — один из лучших офицеров команды «Штандарта». Матя, покраснев, низко склонила голову над тарелкой, но все сделали вид, что ничего не заметили.

Как-то в каюту Столыпиных предупредительно постучался лакей и передал Ольге Борисовне приглашение на палубу. В плетеных креслах под белы-

ми тентами сидели Александра Федоровна и Анна Вырубова. Императрица была очень любезной, она расспрашивала, как себя чувствуют Наташа и Адик. Ольгу Борисовну удивило, что императрица говорит с таким сильным немецким акцентом, ведь она уже тринадцать лет как в России... Очевидно, Александра Федоровна заметила почти неуловимое удивление, проскользнувшее по лицу Ольги Борисовны, и добавила, что никак не может избавиться от акцента, хотя и старается. Ольга Борисовна стала восхищаться царевичем и видела, как это приятно матери. А потом она осторожно сказала, что, очевидно, мальчиков не следует так опекать, им надо больше давать свободы и в пример привела своего Адю. Вырубова кинула быстрый встревоженный взгляд на императрицу. Ольга Борисовна почувствовала некоторое замешательство, повисла неловкая пауза. «Сегодня чудная погода, не правда ли?» — с приклеенной улыбкой и злыми глазами произнесла, поднимаясь, Вырубова. За ней поднялась и Ольга Борисовна, совершенно обескураженная, не поняв, что она такого сказала, отчего вызвала неприязнь императрицы...

Скорее всего, именно с этого дня началась взаимная нелюбовь Александры Федоровны и Ольги Борисовны. Только много позднее, уже после Октябрьской революции, после того как погибла вся царская семья, а сама Ольга Борисовна по случайности избежала расстрела, в эмиграции она узнала, какая болезнь была у цесаревича, и ей многое объяснилось в характере и поступках покойной Александры Федоровны.

Столыпин заметил, что яхту постоянно сопровождают несколько эсминцев. Охрана Государя и его семьи была хорошо отлажена. Царь два дня в

неделю работал в своем кабинете. Каждый день к борту яхты причаливал фельдъегерский катер и привозил для царя почту и документы. Столыпин в эти дни маялся. Испытывал ощущение неловкости, ведь он знал, что его Государь трудится, а он бездельничает. Николай был очень чутким человеком. И как-то за поздним ужином заметил Столыпину, чтобы тот не переживал, ибо самая трудная работа у него еще впереди. Две недели на яхте пролетели как одно мгновение. Когда они прощались, царь поцеловал Петра Аркадьевича и многозначительно пожелал Мате личного счастья. Александра Федоровна не вышла, сославшись на нездоровье. А Матя уже знала, чувствовала, что она полюбила блестящего молодого офицера по имени Борис Бок.



Глава 8

ПОИСКИ НОВЫХ ПУТЕЙ

В

скоре был опубликован новый избирательный закон, подготовленный Столыпиным и его помощниками. Со всеобщим избирательным правом было покончено. Как это ни прискорбно сознавать, но Россия еще не была готова к парламентаризму. Столыпин решил опираться на так называемые средние слои населения. Этот средний слой в то время был еще весьма тонок и слаб. Возможно, потому и не удалась в полной мере реформа, что «мидл-класс», опора каждому легитимному режиму, еще не успел народиться. Для того чтобы он появился, государству необходимы были десять — пятнадцать лет мирной жизни. История распорядилась по-другому. Столыпин еще в то время понял то, к чему мы сегодня приходим с большими трудностями и что цивилизованные страны уже ос-

воили в достаточной степени. В стране должно быть 7—8 процентов очень богатых. И около 5—6 процентов, живущих за чертой бедности. Все остальное население средний класс. Но драма Столыпина заключалась в том, что он забежал вперед лет на двадцать. Он сам понимал: для того чтобы превратить в жизнь все, что он задумал, ему нужно долго жить, и он отдавал себе отчет, что это невозможно. Не случайно еще в 1907 году он написал: «Каждое утро творю молитву и смотрю на предстоящий день как на последний в жизни... Я понимаю смерть как расплату за убеждения».

Надо быть откровенным до конца. Новый избирательный закон должен был создать Думу, послушную Столыпину, а точнее — Дума не должна препятствовать реформам. В этом шаге соединилось воедино традиционное российское беззаконие и стремление создать демократическое общество... путем этого беззакония.

Либералы, русская интеллигенция негативно отнеслись к новому избирательному праву. Самым серьезным противником Столыпина оказался Л. Н. Толстой. Но он критиковал Петра Аркадьевича с позиции отмены всякой частной собственности на землю.

26 июля из Ясной Поляны великий русский писатель направил письмо П. А. Столыпину:

«Петр Аркадьевич!

Пишу Вам не как министру, не как сыну моего друга, пишу Вам как брату, как человеку, назначение которого, хочет он того или не хочет, есть только одно: прожить свою жизнь согласно той воле, которая послала его в жизнь.

Дело, о котором я пишу, вот в чем:

Причины тех революционных ужасов, которые происходят теперь в России, имеют очень глубокие основы, но одна, ближайшая из них, это недовольство народа неправильным распределением земли.

Если революционеры всех партий имеют успех, то только потому, что они опираются на это доходящее до озлобления недовольство народа.

Все, и революционеры и правительство, сознают это, но, к сожалению, до сих пор ничего, кроме величайших глупостей и несправедливостей, не придумывали и не предложили для разрешения этого вопроса. Все эти меры — от социалистического требования отдачи всей земли народу до продажи через банки и отдачи крестьянам государственных земель, так же как переселения — все это или неосуществимые фантазии, или паллиативы, имеющие тот недостаток, что только усиливают раздражение народа признанием существующей несправедливости и предложением мер, не устраняющих ее.

...нужно уничтожить вековую, древнюю несправедливость... несправедливость эта, так называемое право земельной собственности, чувствуется теперь всеми людьми христианского мира, но особенно живо русскими людьми.

Несправедливость состоит в том, что как не может существовать *права* одного человека владеть другим (рабство), так не может существовать *права* одного, какого бы то ни было человека, богатого или бедного, царя или крестьянина, владеть землею как собственностью.

Земля есть достояние всех, и все люди имеют одинаковое право пользоваться ею... И потому вопрос не в том, кто владеет землей и каким количеством, а в том, как уничтожить право собственнос-

ти на землю и как сделать пользование ею одинаково доступным всем.

...Советую это я Вам не в виду каких-либо государственных или политических соображений, а для самого важного в мире дела если не уничтожения, то ослабления той вражды, озлобления, нравственного зла, которые теперь революционеры, так же как и борющееся с ними правительство, вносят в жизнь людей.

...Пишу Вам, Петр Аркадьевич, под влиянием самого доброго, любовного чувства к стоящему на ложной дороге сыну моего друга...

Да, любезный Петр Аркадьевич, хотите Вы этого или нет, Вы стоите на страшном распутье: одна дорога, по которой Вы, к сожалению, идете — дорога злых дел, дурной славы и, главное, греха; другая дорога — дорога благородного усилия, напряженного осмысленного труда, великого доброго дела для всего человечества, доброй славы и любви людей.

...Пожалуйста, простите меня, если Вам покажутся резкими выражения этого письма. Я написал его от души, руководимый самым хорошим, любовным чувством к Вам.

Лев Толстой».

Толстой всерьез возлагал на письмо (оно приведено мною в сокращениях) большие надежды и очень тщательно с ним работал. Первый вариант был написан на «Ремингтоне» в начале июля. Потом было еще четыре варианта, которые Лев Николаевич показывал своему другу В. Черткову, и почему-то во всех вариантах, кроме последнего, Толстой называл Столыпина Александром Аркадьевичем, то есть именем его родного брата — журналиста.

Столыпин, прочтя письмо, с досадой заметил,

что «старик ничего не понимает, что происходит в России». И не стал отвечать. Толстой, естественно, обиделся и напомнил о своем письме брату Столыпина — Александру Аркадьевичу. В конце октября Столыпин написал ответное письмо Л. Толстому.

Из ответа Столыпина — Толстому:

«Вы считаете злом то, что я считаю для России благом. Мне кажется, что отсутствие «собственности» на землю у крестьян создает все наше неустройство. Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как-то: чувство голода, половое чувство и т. п. и одно из самых сильных чувств этого порядка — чувство собственности. Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхаживать и любить землю, находящуюся во временном пользовании наравне со своею землею. Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение в нем врожденного чувства собственности, ведет ко многому дурному, и, главное, к бедности. А бедность, по мне, худшее из рабств. Смешно говорить этим людям о свободе или свободах. Сначала доведите уровень их благосостояния до той по крайней мере наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным...

Вы мне всегда казались великим человеком, я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий — вероятно, на один миг! Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий и чувств на благо людей и моей родины, которую люблю, как любили ее в старину. Как же я буду делать не то что я думаю и сознаю добром? А Вы мне пишете, что я иду по дороге злых дел, дурной славы и, главное, греха. Поверьте, что ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не заду-

мываться над этими вопросами. И путь мой мне кажется прямым путем. Сознаю, что все это пишу Вам напрасно — это и было причиной того, что я Вам не отвечал... Простите... Ваш *П. Столыпин*».

На это письмо Толстой не ответил, поняв, что все сказано и бессмысленно вступать в дальнейшую полемику. Однако в конце декабря того же 1907 года в письме одному из своих корреспондентов, который был вхож в ведомство Столыпина, он заметил: «Мне всей душой стало жалко Столыпина за ту, наверное, мучительную для него деятельность, в которую он, как это всегда бывает, незаметно был втянут. Помогите ему бог для себя, для своей души, освободиться от нее...»

Поразительные по своей искренности и убежденности письма двух великих людей России показывают, сколь полярно было общественное мнение. Но дело в том, что каждый из них прав. Христианская мораль Толстого призывала человека к внутреннему очищению, к тому, к чему призывают десять заповедей, но через отношение к собственности. Столыпин, очевидно, подсознательно понимал, что человек слаб и часто бессилен перед своими пороками. Не потому ли христианские заповеди, впервые прозвучавшие две тысячи лет назад, до сих пор актуальны? Христос плохо разбирался в психологии человека? Ведь сущность человека не изменилась за две тысячи лет христианства. Он как раньше убивал своего ближнего, так и сейчас убивает. Как раньше не всегда чтит отца с матерью, так и сегодня... Нет, Христос замечательно знал человеческое существо и призывал его к горизонтам, которые и сегодня так же далеки, как две тысячи лет назад. Толстой в конце своей жизни, очевидно, приблизился к такому чистому, ясному и нео-

быкновенно высокому нравственному идеалу, что не только современники, но и самые близкие перестали его понимать. Ну а Столыпин, который перед собой поставил задачу преобразования России в столь короткие сроки, и вовсе считал идеи Толстого утопическими.

Итак, революционное движение благодаря государственному перевороту, во главе которого стояли Николай Второй и Столыпин, получило мощный, сокрушительный удар, от которого оно так и не смогло оправиться. Левые, главным образом социал-демократы, поняли: для того чтобы революция снова стала набирать обороты, необходимо социальное потрясение. Скажем, война. И она случилась. Через семь лет после разгона Второй Думы, и через три года после гибели П. А. Столыпина.

Летом 1907 года двадцатилетний Дмитрий Богров уже был одним из лидеров киевских коммунистов-анархистов. Но когда один из его товарищей Илья Книжник сказал, что им из группы надо оформиться в партию, Богров презрительно ему ответил: «Партия — это я». Эта фраза вскоре облетела весь Киев, и уже каждый гимназист, побывавший хоть на одном собрании анархистов, к месту или не к месту повторял слова Богрова. Его знакомые, общавшиеся с ним в Киеве в то, возможно, одно из самых спокойных времен в истории России, утверждали, что именно после разгона Второй Думы у Богрова созрело решение убить Столыпина. Полагаю, что это полная глупость, основанная на желании прокукарекать в общем хоре, который еще семьдесят лет

произносил Столыпину только гневно-презрительные филиппики.

Так или иначе, Богров теоретизировал о тактике и стратегии анархистов-коммунистов, принимал участие в самых значительных их сходках. К нему прислушивались. В сентябре 1907 года начальник киевского охранного отделения подполковник Кулябко получил от своего тайного агента сообщение о деятельности одной из групп анархистов, в которой был и Богров. По распоряжению Кулябко в квартире Богрова сделали обыск, но офицер, производивший его, получил жесткую инструкцию — арестовать Богрова только в случае, если у него будет найдено что-либо компрометирующее. Двенадцать человек было арестовано. Не у всех нашли подпольную литературу. Богрова не тронули. Но этот обыск придал ему некий дополнительный романтический ореол. Он считал, что через обыск получил «крещение», которое должно было придать ему еще больший вес в глазах товарищей. Так оно и произошло.

Университетский товарищ Богрова М. Лятковский, вспоминал, что в том же сентябре от некоторых членов группы коммунистов-анархистов он слышал намеки, что Богров провокатор. Но за него так активно вступились другие товарищи, что этим слухам никто не придал серьезного значения. Тем более сам Лятковский, находясь в дружеских отношениях с Богровым, рассказал ему о них. Дмитрий презрительно усмехнулся, ответив: «Каждого второго из нас можно подозревать в провокаторстве, и что из этого следует?»

В ноябре последовали новые аресты, на этот раз был арестован и Богров, как позднее утверждала киевская охранка, по его настоянию. Через неделю он был выпущен и, сославшись на нездоровье,

срочно уехал в Баку. Вот тогда-то из киевской Лукьяновской тюрьмы некто Бельгиец передал на волю письмо, где определенно утверждал, что Богров провокатор.

В 1926 году в журнале «Каторга и ссылка» М. Лятковский писал: «Во второй раз лично для меня этот вопрос вновь появился уже в киевской тюрьме, когда я находился там под следствием. В одной камере со мной находился мой сопроцессник Наум Тыш. Он как-то раз сообщил мне, что Богров — провокатор. На вопрос мой, какими он располагает данными, ответил, что, с одной стороны, — на основании имеющихся у них данных, убеждены в причастности Богрова к охране, а с другой стороны, он, Н. Тыш, подводя итог всему нашему провалу, приходит также к такому же заключению, ибо день его выезда из Киева Богров знал, да кроме того все явки в пограничной полосе для нелегальной контрабанды, сообщенные им Богрову, стали известны киевской охране».

Помнится, я отнесся к этому крайне осторожно и просил Тыша не поднимать никакого шума, а просить лишь товарищей, находящихся на воле, возможно детальнее все это расследовать. Тыш со мной согласился...»

В 1907 году Дмитрий Богров работал во всю мощь. Правда, на две противоположные организации.

1 ноября 1907 года началась работа Третьей Государственной думы. Ее социальный состав кардинально отличался от двух предшествующих. Не случайно ее называли «господской». По новому закону один депутат представлял 60 тысяч человек, от крестьянской курии, а от рабочей — 125 тысяч. Большую часть депутатов представляли купцы, домовла-

дельцы. Правые газеты с удовлетворением писали, что Третья Дума является созданием Столыпина. Однако было бы заблуждением считать, что она была карманной. Главную силу составляли кадеты и октябристы. Крайне правые и в их числе черносотенные организации, возглавляемые доктором Дубровиным, бурно приветствовали роспуск Второй Думы, но постепенно отношения между ними и Столыпиным стали портиться, так как они полагали, что только абсолютная монархическая власть наведет в стране порядок. Издания «Союза русского народа» все чаще и все откровенней нападали на Столыпина. Русский либерал журналист П. Тверской, переселившийся в США, приехал в Россию специально для того, чтобы написать статью о Столыпине. Он не стеснялся в вопросах, и их разговор носил достаточно откровенный характер, хотя и малоприятный для Столыпина.

— Смею вас заверить, — сказал Тверской, — что в глазах Запада ничто так не подрывает доверия к намерениям русского правительства, как беспрепятственное допущение так называемой черносотенной агитации и апатия в преследовании ее кровавых последствий, несмотря на существование военных положений и полевых судов. Склонны ли вы видеть темную, политическую игру, а не твердую решимость искоренять анархию во всех ее видах?

По свидетельству Тверского, Столыпин занервничал, вскочил со своего кресла и забегал по огромному и мрачному кабинету. Потом он вернулся в свое кресло и спокойно и медленно сказал:

— Это область такая же тяжелая, как и полевые суды... И гораздо более щекотливая. И в ней опять-таки и я, и министерство еще более бессильны. Я уже упоминал о том гнете различных давлений и влия-

ний, который постоянно и очень остро действует на кабинет. Мне остается только лавировать. Погромы теперь прекратились, и, пока я у власти, их больше не будет. За прошлое я, конечно, не ответствен и прошу вас извинить меня, если этим я ограничу свой ответ. Во всяком случае, это только одна, сравнительно незначительная сторона всей нашей жизни...

Последние слова, замечает Тверской, выдавали стремление премьера поскорее уйти от неприятного вопроса.

В сентябре 1907 года, незадолго до открытия Третьей Думы, вышла брошюрка «Страшная правда». Это были первые серьезные нападки на Столыпина со стороны правых. Грязь и клевета перемежались с намеками на то, что Столыпин претендует на роль Бисмарка и стремится заслонить собою царя.

В Третьей Думе депутаты от «Союза русского народа», возглавляемые В. М. Пуришкевичем, стали яростными оппонентами Столыпина. Ларчик открывался просто. Дело в том, что МВД распоряжалось суммами, предназначенными для финансирования некоторых общественных организаций. Дубровин со товарищи очень неплохо жили, получая солидные суммы из кассы министерства. Столыпин эту практику прекратил. И тут же приобрел врагов, наглых, лживых и циничных.

На одном из заседаний В. Шульгин решил заступиться за Столыпина:

— Вы сгоните его, повалите, но кем замените?

Пуришкевич демагогически отвечал:

— На это отвечу я националистам: гнать мы права не имеем, заменять мы также не имеем права, но мы полагаем, что жалка была бы страна, жалок был бы тот народ, у которого только в одном лице жидлась надежда на спасение и оздоровление России.

Этот тезис через пятнадцать — двадцать лет приобретет вид чеканного афоризма: «Незаменимых людей нет».

За полтора года пребывания на вершине власти Столыпин из сильного, но все же провинциального губернатора превратился в мощного, неколебимого политика. Особенно это стало заметно после его выступления в ноябре 1907 года на открытии Третьей Думы. Тональность его речи была определенной, жесткой, и говорил он по большей части не о том, как будут развиваться реформы, а об установлении порядка в стране. Создалось даже некоторое впечатление, что Столыпин сам себе нравился. Он чуть ли не после каждой казавшейся ему удачной мысли делал паузы, словно ожидая одобрительные аплодисменты. Судя по стенограмме, их было предостаточно. Депутаты быстро заметили перемену в стиле поведения могущественного премьера и решили показать, что они отнюдь не мальчишки для битья. Кадеты на заседании своей фракции приняли решение поддержать выступление премьера. Особенно на этом настаивал делегат от Тверской губернии Ф. Родичев, но он-то и стал в центре скандала, имевшего далеко идущие «филологические» последствия. Он говорил путано, его плохо слушали, он призывал к тому, что в обществе должно быть больше демократизма, одним словом, произносил общие фразы, и, очевидно отчаявшись привлечь внимание, Родичев сказал, что если раньше говорили о «муравьевских воротниках», то теперь еще осталась опасность «столыпинских галстуков». Наступила мертвая тишина, Столыпин поднялся из ложи и стремительным шагом направился в министерский

павильон. Думцы же сорвались с мест и помчались к трибуне, где стоял бледный, растерянный Родичев, пытавшийся объяснить, что он ничего плохого не хотел сказать. Пуришкевич схватив стакан с водой, хотел плеснуть его в лицо Родичеву. Его остановил Шульгин. Шум и гвалт продолжался, когда из министерского павильона появился человек и что-то тихо сказал председателю Думы. Н. А. Хомяков уже в течение десяти минут безуспешно звонил в колокольчик, призывая думцев к порядку. Наконец ему удалось прокричать, что поступило важное сообщение. Порученец подошел к Родичеву и сообщил, что Столыпин вызывает его на дуэль за нанесенное оскорбление и незамедлительно ждет ответа. Дума разразилась овациями, и лишь небольшая горстка левых насмешливо и молча смотрела на этот спектакль. Надо сказать, что его последний акт Столыпин провел блестяще. Родичев в сопровождении порученца поспешил в министерский павильон, приговаривая, что он старый и больной человек, что у него уже внуки, что он никогда не держал в руках револьвера и готов принести свои извинения.

Столыпин стоял посередине министерского павильона, отирая пот со лба. Порученец подскочил к нему и показал глазами на Родичева, тот замямлил:

— Ваше высокопревосходительство, я приношу вам свои искренние...

— Позвольте, господин Родичев, — загремел Столыпин и взглянул на него с такой ненавистью, что тот сник окончательно. — Вы оскорбили меня в присутствии всей Думы, а извинения приносите келейно... А я не хочу, чтобы дети мои вспоминали об отце с кличкой «вешатель».

Родичев к этому моменту уже взял себя в руки, выпрямился и спокойно сказал:

— Я вас понял, господин Столыпин. Я готов незамедлительно с трибуны Думы принести вам публичные извинения.

— Вот и славно, — по-барски ответил Столыпин и, подождав, пока скрылся Родичев, в окружении свиты направился в зал заседаний.

После того как Родичев с трибуны извинился перед Столыпиным, все обратили взоры на премьера и ждали, что он ответит. Петр Аркадьевич выдержал хорошую актерскую паузу и ответил громко, внятно, стоя в полупрезрительном обороте к Родичеву:

— Я вас прошаяю, — и под гром аплодисментов удалился, необычайно довольный тем, как разрешился конфликт. Родичева приговорили к «высшей мере наказания», отлучив от Думы на 15 заседаний.

Однако фраза ныне безвестного депутата Третьей Думы стала крылатой. Выражение «столыпинские галстуки» прочно вошло в обиход всех публикаций о Столыпине в советское время, так же как и выражение «столыпинские вагоны», которому, правда, придали совершенно иной смысл. Как известно, Столыпин распорядился в вагонах, где ехали переселенцы в Сибирь или на новые земли, соорудить специальные площадки для перевоза скота. Эти вагоны народ и прозвал «столыпинскими». После Октябрьской революции так стали называть вагоны, перевозившие арестантов.

Итак, Третья Дума, несмотря на всю свою осторожность и консервативность, в большой степени была независимой. Депутаты, даже крайне левые, уже не лезли на рожон. Многие поняли, что уступок от правительства можно добиться, действуя легальным путем. Дума впервые получила право проводить

опросы министров при закрытых дверях. Особенно в случаях, когда расходы тех или иных министерств казались им чрезмерными. Инициатором таких опросов был Столыпин. Он преследовал двоякую цель: с одной стороны, он понимал, что МВД не в состоянии проконтролировать финансовые потоки, проходящие через министерства, с другой — он приучал министров к мысли, что они подотчетны депутатам, а следовательно, воровства должно быть меньше. Английский парламентарий сэр Бернард Пэр писал о работе Третьей Думы: «Политическая компетентность депутатов возрастала с необычайной быстротой. Для беспристрастного наблюдателя постепенно открывался основной секрет в деятельности Думы, состоящий в том, что различия между партиями постепенно сглаживались и что в атмосфере социального доверия, в совместной работе на благо России эти люди становились друзьями».

Полагаю, что это невероятное преувеличение со стороны Б. Пэра, однако было ясно, что политическая культура, культура прений была несравненно выше, чем в предыдущих национальных собраниях. Царь долго присматривался к работе Третьей Думы, ожидая от нее, как всегда, антимонархических выпадов. Но и он, наблюдая за работой депутатов, как-то сказал: «Эту Думу нельзя упрекнуть в попытке узурпировать власть. Нет никаких оснований вступать с ней в конфликт».

Однако Николай, узнав об истории с вызовом на дуэль, был недоволен. В разговоре с Александрой Федоровной он заметил, что здесь больше рисовки, нежели движения души. Александра Федоровна его горячо поддержала.

Столыпин продолжал чрезвычайно много работать, и ему было невдомек, что в окружении царя

зреет недовольство его деятельностью. Уже забывалось, что революция была подавлена при самом деятельном участии Столыпина. Опасность режиму миновала. В придворных кругах полагали — навсегда. Следовательно, надобность в такой сильной личности, как Столыпин, не виделась такой уж необходимой. Его выступления в Думе наталкивали на мысль, что он понемногу хочет отнять у царя некоторые prerogative власти. И постоянно Николаю о том нашептывали. Особенно старался князь Орлов. Тот самый князь, о котором писал В. Пикуль, будто у него были интимные отношения с Александрой Федоровной. Очевидно, Пикуль знал то, что неведомо было ни одному историку... Князь Орлов обожал автомобили и одним из первых среди придворных научился сносно водить машину. Частенько он был добровольным шофером у царской четы.

В конце 1907 года еще появлялись последние вспышки революции. 21 ноября было совершено покушение на московского генерал-губернатора Гершельмана. Ответственность за акцию взяли на себя эсеры. По мнению Витте, Гершельман являлся еврейским ренегатом во втором поколении «и по общему мнению, был жидоедом, нравственным вдохновителем «Союза русского народа». Скорее всего, за это и пострадал. Царь внимательно следил за московскими событиями еще и потому, что один из его приближенных, московский градоначальник Рейнбот, был заподозрен в присвоении крупной суммы казенных денег. Рейнбот пользовался особой благосклонностью царя, ему был разрешен визит к Государю без предварительного на то уведомления. Говорят, что Столыпину это очень не нравилось, поэтому он и отдал приказание сделать тайную ревизию. Вполне возможно, что царь хорошо использовал си-

стему противовесов в своем окружении. Поговаривали, что Рейнбота хотят перевести в столицу товарищем (заместителем) Столыпина как министра внутренних дел. Ревизия открыла ужасающую картину хищений и круговой поруки. Рейнбота отдали под суд, хотя царь намекал Столыпину, что с московским градоначальником надо обойтись помягче. Столыпин не внял, и Рейнбот был осужден. Александра Федоровна, не сдерживая раздражения, выговаривала Николаю, что Столыпин выходит из повиновения, что он забывается, что он неблагодарен и забыл, сколько милостей ему оказал царь...

Николай отмалчивался. Однако, скорее всего, первая тень между Государем и Столыпиным пролегла именно в конце 1907 года.

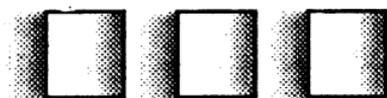
В декабре произошел еще один случай. Он вызвал еще большее отчуждение Александры Федоровны. Столыпина устроили роскошный прием на двести человек по случаю помолвки их дочери Марии с морским офицером Б. Боком.

Уже давно Зимний дворец не видел такого количества красивых, богато одетых дам и столько офицеров. За прекрасно сервированным столом офицеры сидели при оружии. Дело в том, что по издавна заведенной традиции офицеры могли быть при оружии только в присутствии Государя или Государыни. Во всех остальных случаях во время трапезы офицеры обязаны были оставлять оружие, перед тем как войдут в зал приемов. Ольга же Борисовна настояла, чтобы оружие оставалось при офицерах, сказав, что сегодня такой день, что можно сделать исключение.

На следующий день императрице донесли о неслыханной дерзости Столыпиной. Она вспыхнула, но, сдержав себя, грустно сказала:

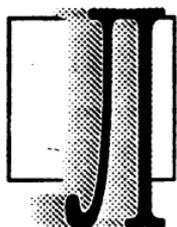
— Ну что же, до этого на Руси было две императрицы, теперь стало три...

Убежден, что Ольга Борисовна сознательно пошла на такой дерзкий шаг. До нее доходили комментарии высочайшей особы по поводу действий ее мужа, они не всегда были лестными. Потому она, видимо, и решила совершить такой поступок. Правда, спустя несколько дней, когда Столыпин находился в Царском с докладом, Государь мягко посетовал, что императрица была огорчена, хотя добавил, что он очень рад помолвке и знает этого молодого человека исключительно с лучшей стороны. Столыпин принес извинения, сказав при этом, что он сам присутствовал на помолвке лишь полчаса, потому что было много дел в министерстве, но он обязательно переговорит с Ольгой Борисовной. По возвращении домой он ни слова не сказал о разговоре с царем, но, когда офицеры вместе с Б. Боком однажды были снова приглашены на обед, он бросил дочери резко и раздраженно: «Без оружия!»



Глава 9

ИЛЛЮЗИИ МИРА И СПОКОЙСТВИЯ



Любое общество делится на три категории. Первые две — непримиримые крайние. Их, как правило, одинаковое количество. Основная же масса находится в середине, и оттуда без конца снуют перебежчики — то в одну сторону, то в другую в зависимости от того, на чьей стороне сила. Когда революция набирала обороты, когда модно было быть левым, либеральная пресса, часть интеллигенции, общественных деятелей ее поддерживали. Одни — искренне, другие загодя набирали очки (а вдруг *эти* и придут к власти?). Но вот революция свернула свои знамена, и многие с одного борта корабля побежали на другой, торопясь засвидетельствовать свое почтение устоявшему режиму. Одни — с чистой совестью, другие — спасая себя, свое шаткое положение. Неко-

которые решили, что, сделав резкий скачок в противоположную сторону, но по идейным соображениям, смогут на этом еще и подзаработать.

В первые два десятилетия некоторые крупные промышленники щедро и тайно финансировали различные революционные партии. Одни верили, что левые вытащат Россию из болота самодержавия, другие надеялись, что если левые придут к власти, то не забудут, на чьи деньги они существовали и убивали сторонников прежнего режима. Увы, сущность человеческая неизменна. Так было вчера, так будет завтра и так было 90 лет назад... Известный публицист начала века, главный редактор газеты «Московские новости» Тихомиров, один из самых почитаемых народовольцев, опубликовал письмо, где характеризовал революционеров следующим образом: «...весь этот мрачный мир состоял в большинстве из неудачников, беспринципных психопатов, истериков, людей порочных, всех и вся ненавидящих, жаждущих безделья, денег и власти, готовых на всякие компромиссы до службы в охранке включительно... К этому времени я уже успел убедиться, что почти каждого из моих «товарищей» можно купить за 30 сребреников». Вскоре он издал брошюру «Почему я перестал быть революционером». Ее тираж расходился плохо, потому что было подозрение, что родилась она в недрах полицейского управления. Однако власти Тихомирова очень ценили, как ценит любая власть перебежчика с именем. До той поры, пока на этом имени можно что-то заработать для политического капитала. Ренегатская публицистика Тихомирова объяснялась очень просто. Он мечтал получить чин действительного статского советника. Член совета министра внутренних дел П. Палеолог помог ему с этой просьбой обратиться к Столыпину-

ну. Петр Аркадьевич решил походатайствовать. Справедливости ради надо сказать, что среди революционеров было много людей, озаренных живым пламенем борьбы, лишенных начисто каких-либо меркантильных помыслов. Таким был И. Каляев, убийца великого князя Сергея Александровича, таким был Б. Савинков...

Наш Д. Богров не влезал ни в какие рамки, о чем верно подметил А. И. Солженицын. В романе «Август четырнадцатого» он дал свою версию, почему Богров пришел в киевскую охранку и зачем он выдавал товарищей по борьбе: «Теперь испытывал Богров физически брезгливое чувство, как очиститься от этой швали, как отрясти с себя связи подполья и вернуться в свою преимущественно устойчивую жизнь. Вернуться не для счастливого прозябания, но хотя бы иметь досуг и простор обдумать унижительное поражение. Круг и слой Богрова, развитое общество, — он-то и понес поражение, у него-то и вырвали уже взятую свободу.

Однако отрясти прежние связи было и не так просто; все эти братья-анархисты и сестры-анархистки... вцепились в Богрова и держались. В наступающее строгое время они своим неумелым копошением и несдержанной болтовней могли и должны были его погубить, и все вместе не были способны ни на что действенное. По простым санитарным мотивам была бы достойна эта грязная публика стереться с киевских улиц...»

Очевидно, к концу 1907 года Богров сформировался как личность, твердо знающая свои возможности. Однажды заявив, что «партия — это я», он вполне естественно решил, что он и судья и исполнитель... Этаким провинциальный вариант Раскольникова на политической почве. Занимаясь чисткой

захламленных, с его точки зрения, рядов своих товарищей, он всерьез подумывал о том времени, когда о нем заговорит вся Россия. Он понимал: Киев — это мелко, частный случай, а выхода на всероссийский простор у него не было и быть не могло.

В Мюнхене он познакомился со странной, весьма экзальтированной особой, некоей Мержеевской. Она была старше Богрова на год, но выглядела на все тридцать. Небольшого роста, серые волосы расчесаны пробором посередине, с плохими зубами, — как женщина она не представляла никакого интереса. Однако в глазах анархистской и эсеровской братии она обладала одним огромным достоинством — деньгами. Они ей достались по наследству от погибших в морском путешествии родителей. Деньги у Мержеевской умело вытаскивали на «революционную борьбу». Тот, кто это делал, неплохо жил в Мюнхене... Закомплексованная барышня, совершенно сбитая с толку бесконечными хождениями на сходки и собрания, неожиданно пришла к выводу, что самый главный виновник поражения революции — царь. И решила сама осуществить «центральный акт», о чем и рассказала своим близким друзьям, среди которых оказался Дима Богров. Он сразу обратил внимание на ее повышенную экзальтацию и речь без каких бы то ни было пауз. С точки зрения Богрова, вреда от нее было много больше, чем пользы. С его «помощью» Мержеевская попала под пристальное наблюдение киевской охранки. Таким образом, эта несчастная, не вполне нормальная девушка, не подозревая о том, принесла пользу многим. Во-первых, эсерам и максималистам, снабжая их деньгами (они вытянули у нее более 25 тысяч рублей). Во-вторых, Богрову, ценность которого как агента резко возросла...

Особенно радовался ротмистр Кулябко. Еще бы: его агент Аленский (кличка Богрова) сообщал о готовившемся покушении на Государя. Такого крупного дела в стенах киевского охранного отделения еще не бывало. Мержеевская в течение нескольких лет оставалась главным козырем Богрова, что позволяло ему свободно вести себя с охранкой, то бросаясь к ней в жаркие объятия, то исчезая на неопределенное время.

Богров, разумеется, не подозревал о существовании Евно Азефа, вероятно самого талантливого провокатора в истории тайной полицейской службы России. 1908 год стал для Азефа годом мрачных предчувствий. Один из бывших революционеров, независимый, как он себя называл, журналист В. Бурцев нашел для себя неплохую грядку, которую успешно окучивал. Он решил разоблачать агентов, внедрившихся в среду революционеров. Надо сказать, что он необыкновенно преуспел в этой области: главной его добычей стал Азеф. Об этой мрачной и малосимпатичной даже внешне фигуре написано много романов и исторических публикаций, зачастую они строятся на сюжетах второсортных детективных романов. В частности, кочует версия, будто Бурцев принимал участие в похищении дочери А. Лопухина и тот, чтобы спасти любимое чадо, выдал Азефа в обмен на безопасность дочери. Увы, все было гораздо проще и прозаичней. В охране давно работал человек по фамилии Бакай. Он пришел туда еще в девяностых годах XIX века, пришел сознательно, ибо считал революционеров самым большим злом режима. Постепенно он разочаровывался в своей службе, потому что его обходили повышением, что было естественно: Бакай не любил работать, работал неаккуратно, за что имел посто-

янные нарекания. Часто с горя играл на бегах, неудачно. Озлобился. Тем более что наблюдал своих начальников, не забывавших о личном благополучии. В таком вот растерянном состоянии и застал его В. Бурцев. Бакай, имевший в свое время доступ к секретной картотеке, нашел с Бурцевым общий язык. К тому же шустрый Бурцев обещал ему оплачивать секретные сведения, и делал это с завидной аккуратностью. В своей книге воспоминаний он патетически повествовал, как Бакай разочаровался в самодержавии и в каком восхищении он был от Каляева, Созонова и других террористов, шедших на виселицу с высоко поднятой головой. Бурцеву не хватило журналистского таланта сказать правду, а патетика оказалась насквозь фальшивой. Ну да Бог с ним, с Бурцевым.

Главное, что он опубликовал списки почти трехсот тайных агентов русской полиции. Вся подпольная сеть, десятилетиями создававшаяся, рухнула в одночасье. Надо сказать, что русская полиция так до конца и не оправилась от удара, который нанес ей Бурцев. Самое удивительное, что ему это сошло с рук. Он спокойно курсировал между Петербургом и Западом, участвовал в судах эсеров, где обвинял Азефа, публиковал репортажи, а власти спокойно на все это взирали! Не было предпринято ни одной попытки заставить Бурцева замолчать. Очевидно, кому-то из высокопоставленных чиновников он был нужен...

ЦК эсеров после первой публикации против Азефа благодушеествовал, главным адвокатом Азефа был его ближайший друг Б. Савинков. Руководство эсеров верило ему безоговорочно. Но сам Азеф видел, что дела его плохи, и бросился искать защиты в полиции. В середине 1908 года Столыпин впервые

подробно услышал об Азефе. Увы, я не располагаю данными, встречался ли Столыпин с самым дорогим агентом (он получал тысячу рублей в месяц), но то, что он всячески поощрял тайную агентуру как один из важнейших элементов борьбы с революционерами, — это факт. Столыпин дал указание А. Герасимову: Азефа надо сохранить во что бы то ни стало.

Однако Азефу некуда было скрыться. За границей с ним легко могли расправиться эсеры. В России и подавно: с одной стороны, боевики, с другой — полиция, которая менее всего была заинтересована в огласке. Бурцев понимал, что слабая защита Азефа со стороны ЦК эсеров скоро рухнет, но он понимал также, что агента могут убрать и тогда все его доказательства никому не будут нужны. Располагая данными, которыми его снабдил Бакай, Бурцев встретился с А. Лопухиным. Несмотря на свое губернаторство в Эстляндии, большую часть времени тот проводил в Петербурге, надеясь, что его все-таки вызовут в столицу. Но его бывший друг Столыпин всячески уходил от разговоров на эту тему, и однажды Лопухин с досадой заметил, что Петр Аркадьевич, для которого он сделал очень много, представив его в свое время высшим должностным лицам с наилучшими характеристиками, — уклоняется от встречи. А говорить «в телефон» Лопухин терпеть не мог... Было обидно. Вспоминал фразу, которую где-то слышал: «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным». А тут пошли статьи какого-то Бурцева об Азефе. Этого Азефа он терпеть не мог, еще будучи директором департамента полиции. Его толстые губы, вечно потные ладони. Он полагал, что полиция не должна уподобляться террористам и пользоваться их методами, потому что в один прекрасный день все может так перепутаться, что и по-

лица окажется замазанной в той кровавой грязи, что так искусно замешивают эсеры и максималисты. Но, увы, он оказался в одиночестве.

Трудно сказать, что двигало отставным директором полицейского департамента, но факт остается фактом: он подтвердил, что Азеф был тайным агентом с 1892 года. Скорее всего, Лопухиным двигало двойственное чувство: с одной стороны, обида, что его так запросто выкинули с ответственного поста, что к его фигуре потеряли интерес даже такие когда-то близкие друзья, каким был Столыпин. А с другой — почти физическая неприязнь к Азефу, информированность Бурцева... Лопухин лишь подтвердил то, что очень хорошо знал журналист. Если бы Лопухин умел заглядывать немного вперед, безусловно, он бы тысячу раз поостерегся.

Разгорелся невероятный общественный скандал. А. Герасимов понял, что ликвидировать Азефа не удастся. Он был снабжен паспортом на имя Александра Неймайера и сумел скрыться не без попустительства эсеров-боевиков во главе с бывшим другом Азефа Б. Савинковым. Герасимов, узнав от Азефа, кто его окончательно выдал, ворвался в квартиру Лопухина. Вот как описывает их встречу В. Жухрай в своей книге «Провокаторы»: «— Господин Лопухин, вы крайне неосторожны в своих разговорах с подозрительными элементами. Нам стало известно, что вы перед ними расшифровываете тайную агентуру, и в частности — такого ценного сотрудника охранного отделения, как Азеф. Вы юрист и хорошо понимаете, что это тяжкое государственное преступление. Я приехал просить вас немедленно прекратить эту вашу антигосударственную деятельность. В противном случае ни за что поручиться не могу.

Весь красный от гнева, Лопухин выбежал из-за письменного стола и закричал:

— Как вы смеете врываться в мою квартиру да еще угрожать мне. Сейчас же покиньте мой дом! И запомните: я говорил и буду говорить то, что сочту нужным без всяких ваших подказок».

В этой же книге приводится письмо Лопухина Столыпину:

«...Около 3 часов дня... ко мне без доклада о себе явился в кабинет начальник СПБ охранного отделения Герасимов и заявил мне, что обращается ко мне по поручению того же Азефа с просьбой сообщить, как поступлю я, если члены товарищеского суда над Азефом в какой-либо форме обратятся ко мне за разъяснениями по интересующему их делу. При этом начальник охранного отделения сказал мне, что ему все, что будет происходить в означенном суде, имена всех имеющих быть опрошенными судом лиц и их объяснения будут хорошо известны. Усматривая из требования Азефа в сопоставлении с заявлением н-ка охранного отделения Герасимова о будущей осведомленности его о ходе товарищеского расследования над Азефом прямую, направленную против меня угрозу, я обо всем этом считаю долгом довести до сведения Вашего превосходительства, покорнейше прося оградить меня от назойливости и нарушающих мой покой, а может быть, угрожающих моей безопасности, действий агентов политического сыска. В случае, если Ваше превосходительство найдет нужным повидать меня по поводу содержания настоящего письма, считаю своим долгом известить вас, что 23 сего месяца я намереваюсь выехать из Петербурга за границу...

Прошу Ваше превосходительство принять выражение моего уважения. *А. Лопухин*».

Столыпин с досадой читал письмо своего бывшего гимназического товарища и недоумевал. Как он мог быть директором департамента с такими взглядами. При чем здесь суд эсеров, перед которым так расшаркивался Лопухин. Ему сейчас надо думать о другом — о том, как достойно выйти из ситуации, в которую он попал добровольно. Он не ответил на письмо Лопухина, а тот вскоре отбыл за границу, переполненный собственным достоинством, почему-то уверенный, что на том дело и закончится.

Но не тут-то было. Депутаты Третьей Думы, начитавшись статей Бурцева, которые охотно перепечатывали западные газеты (ведь сенсация!) сделали запрос в министерство внутренних дел.

Столыпин понял, что дело не удастся спустить на тормозах. Под мощным огнем левых и правых оказалось министерство, которым он руководил уже несколько лет. Самым неприятным было то, что кому-то придется нести ответственность. Возможно, и Герасимову. Ведь выяснилось, что он пестовал агента, который сам организовывал удачные покушения на Плеве и великого князя Сергея Александровича (очевидно, это и имел в виду Лопухин, подзревая, к чему может привести так называемый институт двойных агентов).

У значительной части русского общества шпионаж, тайная агентура часто вызывали отвращение и брезгливость. Многие полагали, что это недостойные методы борьбы. В такой вот обстановке Столыпин спокойно, как мне кажется убедительно, пытался доказать, почему необходимы тайные агенты и почему общество, если оно нуждается в защите, не может, увы, без них обойтись.

Те, кто интересуется историей терроризма в России начала века, в выступлении Столыпина

найдут подробнейшую аналитическую информацию. Естественно, Столыпин защищал свой департамент, некоторых сотрудников которого обвиняли в тесном общении с террористами. Безусловно, Столыпин старался выгородить Азефа в той части, где видна была его прямая причастность к убийствам Плеве и великого князя Сергея Александровича. Однако Петр Аркадьевич, умный, дальновидный человек, понимал, что информация будет все более доступна для общественности, и потому сказал следующее:

«Возьмите, господа, что Азеф сообщал только обрывки сведений департаменту полиции, а одновременно участвовал в террористических актах: это доказывало бы только полную несостоятельность постановления дела розыска в Империи и необходимость его улучшить...»

А дальше он сделал великолепное гипотетическое предположение, очевидно в то время казавшееся ему невероятной фантастикой: «Допустим, что Азеф, по наущению правительственных лиц, направлял удары революционеров на лиц, неугодных администрации. Но, господа, или правительство состоит сплошь из шайки убийц, или единственный возможный при этом выход — обнаружение преступления».

Через два года это предположение уже не покажется Столыпину абсурдным...

В этой же своей речи Столыпин дал убийственную характеристику главным действующим лицам разгоревшегося не на шутку скандала. Он точно понял настроение думцев, характеризуя Бакая и Бурцева прежде всего с нравственной стороны. Самый трудный момент наступил для Столыпина, когда он вынужден был коснуться роли Лопухина.

Накануне его выступления в Думе звонила жена Лопухина и, «в телефон» разговаривая с Ольгой Борисовной, рыдала, умоляя спасти ее мужа. Ольга Борисовна настолько расчувствовалась, что пришла вечером в кабинет к мужу и стала просить за Лопухина. Столыпин ей возразил, заметив, что закон для всех один. Он тем более был неприятно поражен, что просьба его жены была в своем роде из ряда вон выходящей. Так было заведено, что никто из членов семьи никогда не выступал в роли ходатаев. И вдруг его жена, понимавшая его как никто, жалобным, слезливым голосом умоляет спасти Лопухина. Еще повторяет эти глупости о гимназической дружбе. Он ледяным тоном, не оборачиваясь к ней лицом, а говоря как бы профилем, объяснил, что не может этого сделать, ибо делу дан ход, но, даже если бы смог, он не сделал бы этого, потому что тогда ему сразу надо подать прошение об отставке. Ольга Борисовна была поражена не столько отказом, сколько тоном, каким это было сказано. Будто она не жена, а какая-нибудь просительница, наконец-то прорвавшаяся к нему на прием. Рассерженная, обиженная, она только и смогла выдохнуть «Прости!» и стремглав выбежала из кабинета, уверенная, что Петр, одумавшись, побежит за ней, как это бывало частенько. Не побежал. Утром за завтраком Ольга Борисовна сухо извинилась, сказав, что, поддавшись чувствам, она допустила бестактность и что больше никогда ни с какими просьбами она не будет к нему обращаться. Но весь ее вид говорил, что муж ее обидел смертельно. Столыпин не стал объяснять, почему он так поступил. Он просто поцеловал жену, говоря, что она самая лучшая и самая добрая и что он просит у нее прощения. С тем и ушел в Думу.

«Третий обвинитель Лопухин, — продолжал Столыпин. — Бывший директор департамента полиции. В настоящее время Лопухин привлечен к следствию по обвинению в пособничестве партии социалистов-революционеров, выразившемся в том, что он обнаружил партии службу Азефа делу розыска... Поступок Лопухина оценит нелицеприятный суд. Если бы правительство не довело этого дела до суда, если бы оно терпимо отнеслось к сношениям бывших высших административных лиц с революционерами, с проповедниками террора, с участниками даже кровавого террора, к разоблачениям этих бывших сановников, хранителей государственных тайн, перед революционным трибуналом, то это знаменовало бы не только боязнь перед разоблачениями, не только трусливую робость перед светом гласности, а полный развал государственности... (*Рукопескания справа*)...

Мы правительство, мы строим только леса, которые облегчают вам строительство. Противники наши указывают на эти леса, как на возведенное нами безобразное здание, и яростно бросаются рубить их основание. И леса эти неминуемо рухнут и, может быть, задавят и нас под своими развалинами, но пусть это будет тогда, когда из-за их обломков будет уже видно, по крайней мере, в главных очертаниях здание обновленной, свободной, свободной в лучшем смысле этого слова, свободной от нищеты, от невежества, от бесправия, преданной, как один человек, своему Государю России. (*Шумные рукопескания справа и в центре*)».

В апреле 1909 года начался суд над А. Лопухиным. Пятидесятичетырехлетний эстляндский губернатор был раздавлен процессом и до момента выне-

сения приговора все никак не мог поверить, что судят его, Лопухина. Его приговорили к пяти годам каторжных работ. Через несколько месяцев он подал кассационную жалобу, и она была рассмотрена, по просьбе Столыпина, с максимальным вниманием. Он был сослан в Сибирь под административный надзор сроком на три года и до конца своих дней (умер Лопухин уже в Советском Союзе в конце двадцатых годов) главным виновником своих бед считал Столыпина.

Азефу удалось благополучно скрыться. Он осел в Германии, где удачно занялся предпринимательством, но продолжал играть в казино. И однажды просадил 45 тысяч франков. Незадолго до начала первой мировой войны его разыскал все тот же Бурцев и подробно беседовал с ним. Азеф ни в чем не раскаивался, более того, уверял, что пользы для революции он оказал больше, чем вреда, и при этом руками изображал невидимые весы. Вскоре он был арестован германской контрразведкой по вымышленному обвинению в шпионаже в пользу России, а в 1915 году в возрасте 49 лет умер от язвенной болезни.

А. Герасимов, страшно напуганный процессом над Лопухиным, отделался легко благодаря мощной поддержке Столыпина. Он был отправлен в отставку с поста директора департамента полиции и назначен генералом особых поручений при министерстве внутренних дел. Уже в двадцатых годах написал свои воспоминания, из которых следует, что именно он был основным оплотом безопасности Государя и разрушавшегося режима.

Столыпин после истории с Азефом намеревался оставить пост министра внутренних дел, но Государь отсоветовал ему.

...Дело Азефа произвело на Богрова глубочайшее впечатление. Во-первых, он обнаружил, что не одинок в своем служении противоборствующим силам. Во-вторых, он был в отчаянии оттого, что до Азефа ему ох как далеко. Ведь Азеф вращался в высших полицейских и революционных сферах, организовывал покушения на первых лиц государства. А ему максималисты предлагают убрать какого-то подполковника Кулябко, этого жалкого, глуповатого толстяка, доверявшего Богрову больше, чем самому себе! Глупость какая. Если не сказать — фарс...

1909 год стал годом активного служения Богрова на благо режима. Уже упомянутая мной Мержеевская решила осуществить «центральный акт». Осенью царь собирался посетить Севастополь. Он находился совсем недалеко от Ливадии, где всегда проводил с семьей август. Мержеевская решила именно в Севастополе покончить с царем. Ее всячески к этому подталкивали максималисты, задолжавшие ей крупную сумму. Отдавать долги они не собирались.

11 сентября агент Аленский написал следующее секретное донесение: «Сегодня в Киев из Севастополя приехала Мержеевская и остановилась в доме № 5 по Трехсвятительской улице. Мержеевская мне рассказала, что отколовшаяся от Центрального Комитета группа соц.-рев. командировала из Парижа в Севастополь отряд для совершения террористического акта против Государя в день прибытия его в Севастополь. В состав этого отряда вошла и Мержеевская, которая должна была находиться в числе публики с букетом цветов со вложенной внутри его бомбой, предназначенной для метания во время высочайшего проезда. По ее словам, все было подготовлено вполне, но Мержеевская, прибывшая из

Парижа в Россию через Александров, опоздала в Варшаве на поезд, не попав, благодаря этому своевременно в Севастополь, почему упомянутый террористический акт не состоялся и был отложен. По ее словам, она прожила в Севастополе трое суток в одной из лучших гостиниц по паспорту на имя француженки-певицы.

15 сентября Мержеевская переехала с квартиры Трахтенберга в гостиницу «Гранд-Отель», где прописалась по национальному паспорту на имя швейцарской гражданки Елены Люкиенс... Из Киева Мержеевская отправила в Париж на имя Розы Трахтенберг и Сарры Сперанской письма такого содержания (далее идет текст писем. — В. Х.)».

В заключение Богров подробно описывает приметы Мержеевской и скрупулезно сообщает все ее передвижения по Киеву, адреса, список людей, с которыми встречалась несостоявшаяся террористка, а также ее планы посещения Петербурга и Москвы, явки, куда она намеревалась прийти...

После этого донесения Богров стал агентом номер один, а Кулябко получил повышение. По-другому и быть не могло, ведь Кулябко и его агент предотвратили покушение на Государя императора.

В конце года в Киев из-за границы приезжал некий максималист Поплавский. Он весело рассказывал о Юлии Мержеевской, что парижская эсеровская публика под векселя и расписки взяла у нее 35 тысяч рублей, а теперь почти каждый радуется тому, что она сидит в Петропавловке и долги отдавать не надо.

В начале октября Мержеевская была арестована в Киеве. Она подверглась психиатрической экспертизе. Ее признали не вполне вменяемой, однако осудили на пять лет и сослали в Якутскую губернию...

...Многочисленные историки и исследователи деятельности Столыпина полагают, что 1909 год был пиком его расцвета как политика. В то же время в рядах многих левых партий царило уныние и разочарование. Покончили жизнь самоубийством дочь и зять Карла Маркса — Лаура и Поль Лафарги. Ленин писал в связи с их смертью: «Если уж мы не можем сделать ничего для партии, мы должны посмотреть правде в глаза и последовать примеру Лафаргов». Но к совету Ленина никто не прислушался.

Россия еще дружила с Германией, и встречи Николая со своим родственником кайзером Вильгельмом были достаточно часты. Летом 1909 года на уже известной яхте «Штандарт» Вильгельм познакомился со Столыпиным. Кайзер никогда не отличался аристократическими манерами, был по-солдатски прямолинеен и очень гордился этим своим качеством. Однако его поведение на яхте вызвало бурю возмущения Александры Федоровны. Во время торжественного завтрака в честь германского кайзера Вильгельм сидел между императрицей и Столыпиным. За несколько часов, проведенных за трапезой, кайзер умудрился ни разу не обмолвиться хоть словом с женой своего дорогого племянника. Он даже не взглянул на нее, ибо все это время проговорил со Столыпиным. Существует редчайший снимок, на котором видно, как Вильгельм оживленно беседует с Петром Аркадьевичем, а императрица растерянно смотрит в кадр. После возвращения в Германию Вильгельм с восторгом вспоминал свою встречу со Столыпиным: «Проговорил со Столыпиным весь завтрак. Вот человек! Был бы у меня такой министр, на какую высоту мы бы подняли Германию!»

Столыпин, как и каждый высокопоставленный чиновник, регулярно получал награды и звания. Государь осыпал его своими милостями.

«Петр Аркадьевич. Даровитая и проникнутая любви к отечеству деятельность ваша во главе Правительства давно МНОЮ оценена по достоинству и снискала вам общее уважение.

Желая выразить вам МОЮ сердечную признательность за ваши неусыпные и для страны столь полезные труды, Я пожаловал вас кавалером ордена Белого Орла, знаки коего при сем препровождаются.

Пребываю неизменно к вам
благосклонный *Николай*.

*В Царском Селе
9 марта 1909 года».*

Между тем в доме Столыпиных заметно опустело. В апреле Мария и Борис Бок обвенчались. Он получил назначение военно-морского атташе в Германии, и Маша уехала с ним в Берлин. С той поры она нечасто бывала в России, и потому ее воспоминания об отце достаточно лапидарны и общи, особенно что касается его последних двух лет жизни, ибо в это время они виделись весьма редко.



Глава 10

РАЗОЧАРОВАНИЯ



оюз русского народа» во главе с доктором Дубровиным развернул масштабную травлю С. Ю. Витте. Витте был женат вторым браком на еврейке. Этот брак разрешил ему еще покойный император Александр Третий. Сергей Юльевич, мечтавший вернуться в высшие сферы власти, оставался членом Государственного совета, но политическое влияние его, прямо скажем, было уже весьма незначительным, что оставалось предметом сильных переживаний Витте. Сегодня трудно понять, почему вдруг черносотенцы снова обратили внимание на персону предшественника Столыпина, объявив его главным защитником «российских жидов». Атака на Витте велась массированно. Появилась серия статей в газетах антисемитского толка. В одной из них была опубликована грязная клевета

на его жену. Витте написал письмо Столыпину, требуя защиты от нападков. Петр Аркадьевич ответил весьма обтекаемо:

«Милостивый Государь, Граф Сергей Юльевич.

Немедленно по прочтении Вами мне статьи я приказал обсудить в комитете по делам печати, какие возможно принять меры против газет, напечатавших инкриминируемую статью.

Из прилагаемой справки Вы изволите усмотреть, что обвинение может быть возбуждено лишь в порядке частного обвинения.

Очень жалею, что не могу оказать Вам содействие в этом деле, и прошу Вас принять уверение в искреннем моем уважении и преданности. *П. Столыпин*».

Письмо это хранится в Бахметьевском архиве Колумбийского университета, в коллекции Витте. На письме приписка Сергея Юльевича: «Была напечатана самая пасквильная статья об моей жене... Я послал ее премьеру, вот его ответ. Одновременно газеты ежедневно штрафуются, иногда без всякого повода. Попробуй газета сказать о двоюродной племяннице г-на Столыпина, сейчас получила бы возмездие».

Спустя некоторое время черносотенцы приступили к более активным действиям. Прислуга Витте совершенно случайно обнаружила в дымоходе увесистый сверток. Витте вызвал полицию. В свертке оказалась мощная бомба.

Он снова написал письмо Столыпину. И пока ждал ответа, другая бомба разорвалась в той половине дома, где он бывал редко. Никто не пострадал. И еще одно письмо полетело Столыпину. Министр внутренних дел поручил провести расследование.

Вскоре ему доложили, что следы взрыва ведут к «Союзу русского народа» и непосредственно к Дубровину, который на собраниях не раз говорил во всеуслышание, что с этим «жидомасоном Витте пора кончать». Столыпин связался с начальником дворцовой охраны Дедюлиным. Дедюлин сообщил, что Дубровин пользуется особым покровительством царя. Столыпин отступился, ибо его отношения с Государем, он заметил, стали более прохладными. Он взвесил, что из-за Витте их не стоит еще больше обострять. Но Витте не унимался и настаивал на серьезном гласном расследовании. Чем больше настаивал Витте, тем больше раздражался Столыпин. Однажды в перерыве между заседаниями Государственного совета между ними состоялся весьма резкий разговор. Витте еще раз напомнил о своем письме, и сделал это в неподобающем тоне.

Столыпин вспылил:

— Из вашего письма, граф, я должен сделать одно заключение: или вы меня считаете идиотом, или же находите, что я тоже участвую в покушении на вашу жизнь. Скажите, какое из моих заключений более правильно?

Витте язвительно ответил:

— Вы меня избавьте от ответа на такой щекотливый с вашей стороны вопрос.

Столыпин вспыхнул. Резко повернулся и ушел. С той поры, встречаясь в Госсовете, они даже не раскланивались. Что вполне естественно после такого диалога.

Удары на Витте продолжали обрушиваться. Известие, которое он получил из Одессы, окончательно повергло его в смятение, и он просто потерял голову. Дело в том, что в Одессе с 1902 года существовала улица имени Витте, чем Сергей Юльевич за-

конно гордился, ибо никто из здравствующих политиков не мог таким похвастаться. И вдруг пришло сообщение, что одесситы хотят ее переименовать в улицу... Петра Великого. Витте решил, что это проски Столыпина, и стал просить аудиенции у председателя Совета министров, не называя предмета беседы. Наконец Столыпин скрепя сердце решил его принять. Витте источал улыбки и комплименты, просил извинения за резкий тон в том памятном разговоре. Столыпин со снисходительной любезностью его слушал, теряясь в догадках, зачем пришел этот хитрый постаревший лис. Когда он услышал просьбу Витте, то растерялся, ибо вопрос ему казался столь ничтожным и он никак не предполагал, что великий Витте настолько уязвлен в своем честолюбии. Столыпин как можно мягче ему ответил, что это не его компетенция, что это вопрос градоначальника Одессы, местных властей. И он не может им приказать... Витте скорбно смотрел на Столыпина, неожиданно опустился на колени и пополз к Столыпину. Петр Аркадьевич пытался было поднять Сергея Юльевича, но тот, сопротивляясь, хрипло шептал:

— Умоляю, Петр Аркадьевич... Умоляю, Петр Аркадьевич, не погубите мою улицу. Это все, что осталось в моей несчастной жизни...

— Да поймите же вы, голубчик, любезный Сергей Юльевич, вы лучше меня знаете, что не могу я...

Витте резко вскочил с колен и чуть ли не вприпрыжку направился к двери.

Обернувшись, он злобно и тихо сказал:

— Я вам этого никогда не прощу.

Он свое слово сдержал. В своих «Воспоминаниях».

У Витте оставалась последняя надежда. Понимая,

что царь его не примет, он написал длинное слезное письмо Государю, где подробно напоминал ему о своих заслугах перед Отечеством. Николай, как и всякий властитель, терпеть не мог этого, тем более от тех, кого он отправил в отставку.

Улицу таки переименовали...

Позднее Витте сделает попытку поквитаться со Столыпиным. И интриги его будут весьма серьезными и не обойдутся без последствий.

Между тем у Столыпина образовался враг много сильнее и могущественнее хитрого, но уже оставшегося в прошлом Витте. Григорий Ефимович Распутин.

Он приобретал все большее влияние при дворе. Он уже начинал вмешиваться в государственные дела. Папка с материалами о его похождениях, находившаяся в департаменте полиции, распухла день ото дня.

Те, кто находится у подножия власти, как правило, первыми чувствуют изменения в настроении своих хозяев. Царь еще и словом не обмолвился о том, что он не совсем доволен Столыпиным, а придворная камарилья уже уловила некоторые новые оттенки в отношении Государя к председателю Совета министров. В одной из бесед с царем Столыпин с удивлением узнал, что, оказывается, никакой революции вовсе не было, а во всем виноват... Витте: он приехал из Портсмута — и начались беспорядки. А после этого все дело было в нерадивых полицейских и ленивых губернаторах. Царь как бы зачеркивал заслуги Столыпина в подавлении революции, намекал ему, что он слишком высоко взлетел. Так высоко, что, по мнению некоторых, уже отбрасывал тень на священную особу Государя. Столыпин, увы, не понял этого.

Распутин был ближе к Государыне, чем к Николаю. Александра Федоровна не скрывала уже своей неприязни к Столыпину, и, очевидно, Распутин не раз слышал ее мнение о нем. Так обозначилось противостояние, в котором Петр Аркадьевич потерпел поражение. Еще полагая, что царь питает к нему дружественные чувства, как и в 1907 году, Столыпин однажды завел разговор о Распутине. О том, что ходят нехорошие сплетни вокруг царской семьи и что надобно старца отдалить от Царского Села, куда он в последнее время зачастил. Государь, слушая своего премьера, смотрел в окно, долго молчал. И наконец, не глядя в глаза Столыпину, произнес:

— Пусть лучше будет десять Распутиных, чем одна истерика Государыни.

Столыпин хотел было откланяться. А царь неожиданно сказал:

— Сделайте мне одолжение, Петр Аркадьевич...

Столыпин замер: царь его просит об *одолжении*.

— К вашим услугам, Ваше Величество, — взволнованно ответил Столыпин.

— Примите Распутина, поговорите с ним. Вы убедитесь, что на него наговаривают... — И опять отвернувшись к окну, пробормотал: — ...Чтобы нашу семью опорочить...

— Как вам будет угодно, Ваше Величество, — удивленный и пораженный, ответил Столыпин.

Раздосадованный, он возвращался из Царского Села. Меньше всего ему хотелось видаться и говорить с этим юродивым. Но ослушаться он не мог. Он догадывался, что инициатива предстоящей встречи идет от Александры Федоровны. А Распутин ловко ее навел на эту мысль.

Встреча состоялась. По некоторым источникам, на ней присутствовал Курлов, ставший вопреки же-

ланию Столыпина вторым человеком в министерстве внутренних дел. Петр Аркадьевич сделал запись о встрече с Распутиным:

«Распутин бегал по мне своими белесоватыми глазами, произносил загадочные и бессвязные изречения из Священного писания, как-то необычно разводил руками, и я чувствовал, что во мне пробуждается непреодолимое отвращение к этой гадине... Но я понимал, что в этом человеке большая сила гипноза и что он производит на меня какое-то довольно сильное, правда отталкивающее, но моральное впечатление. Преодолев себя, я прикрикнул на него. Я сказал ему прямо, что на основании документальных данных он у меня в руках и я могу раздавить его в прах, предав суду по всей строгости закона, ввиду чего резко приказал ему немедленно, безотлагательно и притом добровольно покинуть Петербург, вернуться в свое село и больше здесь никогда не появляться...»

Распутин на следующий день подробно рассказал о беседе «маме» (так он называл императрицу). Она запретила покидать ему Петербург. Она боялась, что если у сына опять случится кровотечение, а Распутин будет далеко, мальчик просто погибнет. С того дня императрица возненавидела Столыпина окончательно и бесповоротно.

Однако влияние Распутина на Александру Федоровну ограничивалось не только тем, что он останавливал кровотечение у наследника. Она свято верила, что Распутин — и есть воплощение русского народа и православия, которому она отдалась с неистовством фанатички. Не зная России, видя народ лишь из окна поезда во время поездок из Царского Села в Крым, в Ливадию, она решила, что именно Распутин, «божий посланник», спасет Россию. Григорий Ефимович за-

мечательно изучил психологию царя и царицы. Анна Вырубова в своих воспоминаниях горячо отстаивала Распутина, уверяя, что она ни разу не видела ничего такого, в чем его обвиняли. Очевидно, она не лгала, потому что Распутин, зная, что Вырубова — самый близкий человек из окружения Александры Федоровны, вел себя подобающим образом. Также и во дворце он никогда себе не позволял того, в чем его позднее упрекали современники и рыцари «желтой литературы». И потому Александра Федоровна верила своим глазам и своим ощущениям. Распутин не заискивал перед царской четой, не пресмыкался перед ними. И как юродивый на Руси, часто говорил то, что думает, и это вызывало восхищение у Государя и Государыни. Про Столыпина он «маме» сказал просто, что тот хочет его погубить. И если это произойдет, то царская семья погибнет...

Когда началась первая мировая война, Распутин, находясь в своем селе Покровском, в ужасе послал телеграмму императрице, где умолял ее убедить Государя прекратить войну, которая, по его мнению, погубит и Россию и царскую семью.

Василий Шульгин, в марте 1917 года вместе с А. Гучковым уговоривший царя отречься от престола, позднее писал:

«Распутин был двуликий Янус... Императорской семье он открывал лицо смиренного старца, и императрица, глядя на него, видела признаки, убеждавшие ее в том, что святой дух вселился в этого человека. Но зато ко всем остальным он поворачивался скотским, пьяным, грязным лицом наглого сатира из Тобольска. И в этом был ключ к разгадке. Вся страна, зная его непристойное лицо, негодовала, что такого человека принимает царская семья. А во дворце, где знали другого старца, возникало чувство недоумения и

горькой обиды. Там задавали вопрос: чему можно возмущаться? — Тому ли, что святитель приходит помолиться над несчастным наследником, безнадежно больным ребенком, любое неосторожное движение которого может привести его к смерти? Царь и императрица были оскорблены и возмущены...»

Начиная с 1909 года, когда роль Распутина при дворе стала возрастать, появились признаки отчуждения между страной и тронем. Если до 1911 года это было не столь заметно, потому что Столыпин предпринимал гигантские (правда, зачастую бесполезные) усилия, чтобы отдалить Распутина от двора, то после гибели Петра Аркадьевича влияние старца увеличивалось в геометрической прогрессии...

Государственный совет проявлял все большее недовольство деятельностью Столыпина. Тон задавали Дурново и Витте. Обстановка в Госсовете была такова, что малейшего повода было достаточно, чтобы началась массированная атака на Столыпина. В этой связи опять хочу сослаться на В. Шульгина. В своей книге «Дни» он с досадой писал: «Мы не лишены патриотизма; мы любим Россию и русскость, но мы не любим друг друга... Русский страдает на чужбине, но и там грызется. Где один русский — там талант и гений; где двое — там обессиливающий обоих спор; где много русских — общественный скандал».

В Государственном совете было много высокопоставленных русских, и почти все они в начале 1909 года объединились против Столыпина. А началось все с пустяка. Огромное количество законодательных актов, большинство из которых не представляло ни особой важности, ни интереса, после

утверждения Думой поступало на рассмотрение в Государственный совет. Эти акты и думцы и члены Госсовета с иронией называли «вермишелью». И вот среди этой «вермишели» члены Госсовета обнаружили акт о штатах морского генерального штаба. Это был замечательный повод разделаться со Столыпиным, и члены Государственного совета, не раздумывая, кинулись в атаку.

Дело в том, что Дума могла рассматривать только бюджетные вопросы, связанные с армией. Должности, штаты — все это исключительно прерогатива Государя. Закон о морских штатах почти год дорабатывался в Думе. Весной у Столыпина обнаружилось крупозное воспаление легких, и он срочно уехал в Крым лечиться. Вместо себя оставил министра финансов В. Н. Коковцова. Не думаю, что Коковцов не знал о подводных течениях в Госсовете и о том, какое впечатление произведет закон, выпущенный Думой. Без ведома Столыпина закон о морских штатах перекочевал на утверждение в Государственный совет. Столыпин к этому моменту уже вернулся из Крыма. Ему удалось переломить настроение в Госсовете. Законопроект поддержали 87 человек против 75. Однако правая печать открыла такую ожесточенную критику, что вскоре многие заговорили о предстоящей отставке премьера. Главной мыслью большинства статей (особенно усердствовал журналист-черносотенец М. Меньшиков) было то, что премьер и А. Гучков, возглавлявший в Думе военную комиссию, хотят лишить царя прерогатив в деле военного управления, а конечной целью всех этих «политических махинаций» является стремление Столыпина и Гучкова захватить в свои руки всю исполнительную власть. Корреспондент английской газеты «Дейли телеграф» М. Диллон пи-

сал: «Конституционное самодержавие дошло до поворотного пункта, и монарх, сознавая это, приостановился на момент, прежде чем повернуть направление политики. Страна управляется кабинетом, незаметно лишившим корону громадных прерогатив... Есть также достойный преемник Столыпину — это Дурново. Если такой поворот необходим, то надо выдвинуть его именно сейчас, иначе будет поздно».

Петр Аркадьевич даже растерялся от такой целенаправленной кампании против него. В апреле газета «Новое время» приводила слова Столыпина, что «все эти шаги обдуманы хладнокровно и выполняются как часть заданной программы, ибо видна цель — лишить Россию парламента...» Однако либеральная пресса встала на защиту Столыпина. Некоторые газеты уже моделировали ситуацию. Так называемый «министерский кризис» был рассчитан на то, чтобы отправить Столыпина в отставку, потом распустить Думу и изменить некоторые законы, принятые в соответствии с манифестом 17 октября 1905 года.

Общественность со дня на день ждала отставки Столыпина. Петр Аркадьевич, понимая, чего от него ждут, не строя иллюзий, откуда направляется атака на него, подал прошение об отставке. Однако Николай в данной ситуации поступил очень мудро, что случилось с ним нечасто. Он отказался подписать законопроект о морских штатах, а Столыпину на его прошение ответил весьма резко: «...такова моя воля. Помните, что мы живем в России, а не за границей... и поэтому я *не допускаю и мысли о чьей-либо отставке*».

Оппозиция в Госсовете, во главе с Дурново и Витте, на время затаилась, свернув свои знамена. Но добилась она многого. Между царем и Столыпиным образовалась трещина; со временем она все больше расширялась...

...Летом 1910 года Столыпин вместе с министром земледелия А. В. Кривошеиным совершил поездку по Сибири, чтобы своими глазами увидеть, как идет земельная реформа в восточных районах страны. Поездкой он остался очень доволен, хотя не обошлось без традиционных «потемкинских деревень». Власти из кожи вон лезли, чтобы угодить второму человеку в государстве. Выражаясь современным языком, была проведена мощная пропагандистская кампания перед самым началом поездки. Правительственная пресса отводила подготовке и самой поездке большие газетные площади. Левая пресса публиковала беззубые фельетоны. Кривошеин был одним из самых ярых сторонников реформы. Он, по сути, отвечал за ее практическое воплощение. Население Сибири резко возросло, ведь за последние три года туда переехало более полутора миллиона человек!

Петропавловск, Челябинск, Омск. В каждом городе они подолгу останавливались. Посещали переселенческие хозяйства, видели киргизских кочевников, перешедших к оседлости, приходили в новые деревянные церкви.

На пристани в Омске, едва появились Столыпин и его свита, как ретивый полицмейстер потребовал, чтобы собравшиеся сняли шапки. Однако никто не выполнил его приказания, потому что в Сибири не принято было ломать шапки перед начальством.

При всех неурядицах, какие всегда сопровождают любое новое начинание, Столыпин и Кривошеин видели положительные результаты реформы. Транссибирская магистраль, строительство которой началось еще при Витте, когда он отвечал в конце века за всю железную дорогу, уже приносила свои плоды. Именно во время переселенческого бума в Сибири расцвело маслоделие. Российский экспорт

масла основывался на сибирских поставках. В своей записке «Поездка в Сибирь и Поволжье» Столыпин и Кривошеин писали, что сибирское маслоделие дает золота вдвое больше, чем вся сибирская золотопромышленность. «У сибирских переселенцев, — говорилось в записке, — даже «на глаз» больше земли, больше скота, больше хлеба, больше инвентаря, чем у средних крестьян Европейской России».

Столыпин настаивал на продвижении переселенчества дальше на восток вплоть до крайних рубежей России. В связи с этим он настоял на строительстве Амурской железной дороги. В Госсовете этому было много противников. В частности, возражения Витте строились на том, что туда могут хлынуть нищие китайцы, которые вытеснят русских переселенцев. Но строительство началось. Дорога была закончена уже после гибели Столыпина. Она до сих пор функционирует. Байкало-Амурская магистраль (небезызвестный БАМ) была поначалу спроектирована при непосредственном участии Столыпина. Именно этот проект в его полном объеме пыталась осуществить наша страна при Брежневе. Увы, не получилось...

Несколько позднее Столыпин, уже без Кривошеина, осуществил инспекционную поездку по Поволжью. Ее итоги также были отражены в записке, которая была представлена Государю.

Письмо Петра Аркадьевича — Ольга Борисовне:

«9 сентября 1910 года. Казанская губ.

Душка моя милая, подъезжаем к Казани, а мысли мои на Елагином, куда ты вчера вечером с Божьей помощью, надеюсь, благополучно доехала.

В Перми мы пробыли только несколько часов, но видели очень интересные вещи: земство специально для нас устроило выставку всех кустарных изделий губернии. Вообще я вижу очень серьезное и

внимательное отношение обществ. групп к нашему путешествию, депутации от земства и городов отличаются подробным изложением многих своих нужд и скорбей. В Перми в соборе трогательно приветствовал меня преосв. Палладий. Он благословил меня походным складнем. Заехал с визитом к Лопухиной — она за что-то благодарит Наташу, которая почему-то ее близкий друг.

Проехал сегодня мимо Чистополя. Вчера так хорошо и тихо было на пароходе даже вечером — настоящее лето, а сегодня страшный ветер, пароход качает, так трудно писать. Я в Казани, Симбирске, Самаре и Саратове буду осматривать землеустроительные работы и на пароходе буду жить, а в город буду избегать даже заезжать, до того отяготительны все эти официальные обеды и приветствия. Я упрощаю свою поездку до крайних проблем, а правые и левые газеты все-же умудряются представить ее как торжественное шествие.

Благодаря тому, что я взял с собою повара, нигде не принимаю ни одного завтрака или обеда. Поездке я придаю характер чисто деловой, чернорабочий. И надеюсь, что она принесет результаты. Я по крайней мере увидел и узнал такие вещи, о которых из бумаг не узнал бы.

Теперь немного больше недели и я с тобою. Какое счастье! Сейчас в Казани узнаю, как ты доехала. Вечер посвятим на беседы с обществ. деятелями, а утром идем на хутора. К сожалению, погода испортилась — холодная, дождь. Сегодня у Еленочки экзамен, надеюсь, она не осрамила своего диктанщика.

Целую нежно, много, люблю».

Записка Столыпина и Кривошеина при дворе вызвала больше раздражения, чем иных чувств. Ибо большинство из окружения сначала размышляло о

собственном благополучии, а уж потом о благополучии России.

В этой связи любопытно письмо князя М. Андроникова великому князю Николаю Николаевичу, внуку Николая Первого. Андроников, по прозвищу «побирушка», весьма примечательная фигура. Он промотал свое состояние, был нищ, но, как ни странно, его принимали в самых высокопоставленных домах Петербурга. Он был в курсе всех столичных сплетен, а также предстоящих смещений и назначений. Частенько этим пользовался и в общем жил безбедно.

Как и полагается прохиндеям, которых пускают в переднюю и позволяют «приобщиться» к остаткам с царского стола, Андроников уловил тенденцию — недовольство Столыпиным у царя росло.

Князь М. Андроников — великому князю Николаю Николаевичу:

«За период отсутствия из России Государя Императора определилось в нашем обществе несколько любопытных настроений. Деятельность премьера приобрела такую окраску и такие черты, что приходилось все чаще и чаще слышать весьма странный в России вопрос: «Государь еще царствует или отрекся от престола и своим заместителем сделал Столыпина?» И как ни нелеп казался был этот вопрос, но он невольно приходит в голову многим, т. к. за последнее время фигура премьера сильно заслоняет собою Государя и этим вызывает недоразумение и соблазн.

Для наглядного примера следует обратить внимание на последнюю триумфальную поездку г. Столыпина по Сибири и хуторам.

...Следует обратить внимание на тон газетных заметок. Никто не старается угадать, как отнесется к известному вопросу Государь, газеты гадают только о Столыпине.

Мания величия стала основной чертой нашего дорогого г. Столыпина...

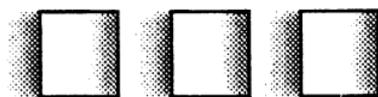
...У нас вместо Бисмарков и Гладстонов г.г. Столыпины с шириною взглядов вице-губернаторов, убеждениями и нравственными качествами И. А. Хлестакова, приемами и манией величия политических рагвенус...»

Великий князь Николай Николаевич, будущий главнокомандующий русской армией, честный малый, но далекий от дворцовых хитросплетений, показал это письмо Александре Федоровне. Она уже была наслышана о записке. Барон Фредерикс притворно, а может искренне, сокрушаясь, сообщил ей, что в записке так все подано, будто он один, Столыпин, и есть благодетель земли русской. После сообщения Николая Николаевича она была в ярости и вечером за ужином говорила Государю, что Столыпин слишком много себе позволяет. И что пора подумать о том, кто может его заменить, ибо на таком посту нельзя слишком долго держать человека, каков бы он ни был. Императрица добавила, что «наш друг», так в это время в царской семье говорили о Распутине, тоже так считает... Царь слабо защищал своего премьера, но эти часто повторяющиеся разговоры о том, что его заслоняет Столыпин, не могли пройти бесследно.

Крайне правые в лице «Союза русского народа» развернули мощную атаку на Столыпина. Дубровин, Пуришкевич, а следом за ними и многочисленные газеты черносотенного толка не уставали повторять, что реформа, уничтожая основу русского быта — общину, играет на руку жидомасонам.

Начиная с осени 1910 года и уже до конца своих дней Столыпин стал мишенью и для правых и для левых. Той же осенью он с печальным удивлением

обнаружил, что здоровье его серьезно подорвано. Он уже не мог долго и быстро ходить пешком, мучила одышка. Потом с грустью заметил, что все чаще стало беспокоить сердце, и уже не обходился без сердечных капель. Он понял, что невероятно устал. А охлаждение к нему царя он воспринял как личную глубокую драму. Но он не стремился к объяснению и ездил в Царское Село только в случае необходимости. Их общение стало сухим, официальным. На его докладах тайно присутствовала Александра Федоровна и все чаще повторяла, что Столыпина пора отправить в отставку. Ольга Борисовна видела его состояние и советовала ему объясниться с царем. Столыпин отказывался. Он говорил, что представляет, о чем будет в подобном случае говорить Государь. Лебезить же перед ним он не станет. Значит, это завершится окончательным разрывом, а ему нужно еще год-два, чтобы реформа набрала обороты и ее уже нельзя было свернуть...



Глава 11

РИСКОВАННЫЙ ПОЛЕТ



В середине 1910 года Столыпины покинули Зимний дворец и перебрались на Фонтанку, в казенный дом председателя Совета министров. На переезде настоял Петр Аркадьевич. Он полагал, что этим шагом продемонстрирует, что жизнь в России стабилизировалась, а если так, то ему незачем прятаться в Зимнем. Ему на некоторое время удалось вырваться в свое любимое имение Калноберже. Однако жизнь здесь уже не была столь беззаботной, как восемь лет назад. По распоряжению Курлова имение охраняло около двухсот жандармов. Столыпин выразил своему заместителю неудовольствие тем, что даже в лес нельзя нормально пойти погулять, под каждым кустом он видит мундиры. Курлов на это ответил, что не может рисковать жизнью Столыпина и, если Петр Аркадьевич по-

лагает, что охрана организована плохо, пусть это дело перепоручат другому чиновнику. Столыпин, вздохнув, отступился.

Когда уже Столыпины жили на Фонтанке, неожиданно из Берлина приехала Мария со своим мужем. Родители не ждали их, потому что они совсем недавно расстались. Мария рассказала отцу, что в российском посольстве есть сведения о неблагонадежности Курлова. Столыпин мрачно ее выслушал и долго молчал. Потом сказал, что он не думает, что Курлов что-то нехорошее может против него замыслить. Он неплохой чиновник, старается. И потом, он офицер. На этом разговор закончился. Позже выяснилось, что Мария приехала в Петербург только за тем, чтобы сообщить отцу о Курлове.

Сентябрь в Петербурге выдался сухой и теплый. Небо было почти безоблачным. Наблюдение за полетами летательных аппаратов, различных «фарманов», «блерио», стало любимым развлечением жителей российской столицы. Полеты продолжались почти весь сентябрь. Неожиданно Столыпин получил приглашение на летное поле с предложением подняться в воздух. Он не раздумывая согласился. Через некоторое время Курлов ему доложил, что «летун» Матыевич-Мациевич, приславший ему приглашение, является членом партии эсеров и возможен террористический акт.

— Павел Григорьевич, чему быть, того не миновать.

— Похоже, Петр Аркадьевич, вы опасаетесь, что вас могут упрекнуть в трусости, — сказал Курлов, пряча свою усмешку в густые седые усы. Он знал, что это самое слабое место его шефа. — Я хочу вам напомнить, что жизнь ваша принадлежит не только вам и вашей семье, но также Государю и Отечеству.

— Ничего не случится, господин Курлов, — внимательно глядя ему в глаза, ответил Столыпин и почему-то вспомнил, что недавно ему говорила дочь.

— В таком случае я вынужден поставить в известность вашу супругу.

— Сделайте одолжение. И распорядитесь в отношении мотора для поездки на поле.

Ольга Борисовна, узнав о планах своего мужа, пришла в ужас. «В телефон» она пыталась его отговорить, на что Столыпин ответил довольно резко:

— Позволь мне, дорогая, самому решать вопросы, касающиеся моей службы, — и, не дожидаясь ее ответа, положил трубку.

Курлов намеревался сопровождать Столыпина, но Петр Аркадьевич мягко и непреклонно отклонил его предложение. Он взял с собой телохранителя Есаулова и отправился в открытом автомобиле на летное поле. Курлов к его приезду успел туда согнать огромное количество переодетых жандармов. Матиевич-Мациевич оказался симпатичным молодым человеком лет двадцати семи. Он был много ниже ростом Столыпина. Маленькие голубые глаза глядели на могущественного премьера весело и чуть нагло. Короткие светлые усы. Яркий румянец на щеках. Столыпин смотрел на этого человека и думал: «Не сможет». Петр Аркадьевич неловко забрался на переднее сиденье и едва там уместился. Помощники раскрутили пропеллер. «Блерио» затарахтел и медленно сдвинулся с места, потом все быстрее и быстрее, и вот он не спеша оторвался от земли и стал набирать высоту. Столыпина охватило незнакомое радостное чувство, когда он увидел, как уменьшаются фигурки на поле, как какие-то дамы с белыми зонтиками машут руками, посылают воздушные поцелуи... Он увидел под крылом необыкновенно красивый город, и ему невероятно за-

хотелось жить. «Блерио» как бы припал на левое крыло, трясущееся и дребезжащее, Столыпин опасливо взглянул на него и вцепился в ручки.

— Страшно, ваше высокопревосходительство? — прокричал весело Матыевич-Мациевич. — Меня, между прочим, зовут Бронислав Витольдович.

Столыпин только кивнул, ибо чуть было не захлебнулся потоком воздуха, нахлынувшего на него во время виража.

— Еще круг?

Столыпин отрицательно замотал головой и, пытаясь обернуться, прокричал в ответ:

— Благодарю вас, рука моя разболелась.

«Блерио» пошел на посадку. Машину пилот остановил мастерски, прямо у нарядной толпы, которая аплодировала, пока Столыпин неловко выбирался на землю. У него кружилась голова, и чуть подташнивало, но он испытывал такое чувство радости и восторга от полета, что, когда пилот ему сказал: «А вы смелый, господин Столыпин», он ничего не ответил, а только глуповато улыбался и кивал.

Он шел к мотору, рядом вышагивал Есаулов и зорко поглядывал по сторонам. Навстречу бросился озабоченный Курлов:

— Простите, Петр Аркадьевич, но я не мог усидеть в кабинете. Слава Богу, все позади! — И он перекрестился.

Этот полет как бы заново открыл Столыпину глаза — на его многотрудную службу, на отношения с двором и царем, на свою семью, а главное — на самого себя. Конечно, это было мальчишеством — согласиться на полет с эсером. Однако Курлов слишком плохо его знал. Нет, дело было не в боязни, что его упрекнут в трусости. Все знали, что он не трус. И доказывать это лишний раз не было смысла. Здесь

дело было в другом. Полет этот он воспринимал как игру в «русскую рулетку». Если ему суждено погибнуть, значит, так тому и быть. Но он жив и будет жить теперь очень долго, и ничто и никто не сможет свернуть его с пути, который он для себя выбрал. С этого дня его не пугала отставка, переживания из-за прохладных отношений с царем казались теперь ему смешными. Он знал, что, как бы ни сложилась его жизнь, он всегда будет делать то, что делал, какая бы скромная служба у него ни была...

Ровно через неделю погиб отважный пилот Бронислав Витольдович Матыевич-Мациевич. Его гибель породила массу беллетристических вымыслов. Будто бы БО эсеров поручила ему во время полета уничтожить Столыпина, даже ценой своей жизни. А он, убедившись в благородстве и храбрости премьера, якобы не осмелился этого сделать, и эсеры приговорили его. Ну вот он и решился на такую смерть, через последний полет. Красивая легенда, но не более того. Никаких документальных подтверждений или свидетельств о готовящемся покушении обнаружить не удалось. Но выяснилось следующее. Матыевич-Мациевич через несколько дней вместе со своим братом оказался в Крыму. Во время полета по направлению к Балаклаве их самолет неожиданно стал терять высоту и врезался в огромный амбар. Оба пилота мгновенно погибли. Их хоронили через два дня в Житомире, откуда они оба были родом. Комиссия, проводившая расследование, обнаружила, что в полете лопнула распорка одного крыла. Это и стало причиной катастрофы.

Великий русский поэт Александр Блок, как и многие его современники, был потрясен гибелью Матыевичей-Мациевичей. Он написал стихотворение «Авиатор»:

Летун отпущен на свободу,
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское в воду,
Скользнул в воздушные струи.

.....
Зачем ты в небе был, отважный,
В свой первый и последний раз?
Чтоб львице светской и продажной
Поднять к тебе фиалки глаз?

Или восторг самозабвенья
Губительный изведал ты,
Безумно возалкал паденья
И сам остановил винты?

Иль отравил твой мозг несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит?

Блок тоже намекает на то, что смерть эта неслучайна, ибо по Петербургу долго ходили слухи, которые позже легли в основу легенды о готовящемся покушении на Столыпина. Сам же Петр Аркадьевич очень тяжело переживал эту гибель. Возможно, потому, что еще неделю назад он разговаривал с этим милым молодым человеком с двойной польской фамилией, а вот теперь его нет.

Ольга Борисовна до конца своих дней была убеждена, что покушение все-таки готовилось.



Глава 12

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Л

етом 1910 года помощник присяжного поверенного Дмитрий Богров приехал в Петербург. Его отец написал рекомендательное письмо известному столичному адвокату Кольмановичу с просьбой, чтобы тот взял к себе на работу сына. Таким образом Богров был мгновенно трудоустроен, и его положение в Петербурге стало абсолютно легальным.

Россия медленно приходила в себя после громовых раскатов революции и казавшихся бесконечными террористических актов. Богров, приехавший в Питер после длительного перерыва, увидел на Невском веселую и нарядную публику, большое число автомобилей. Город показался ему праздным, никчемным и суетливым. На первых порах работы у Кольмановича не было, и Богров бесцельно слонялся по городу. Ни в карты, ни в рулетку играть не хотелось; он направился в

известные меблированные комнаты, но, поднявшись на нужный этаж и почувствовав мерзкий запах пота, дешевой пудры и несвежего белья, с отвращением и брезгливостью выбежал на улицу.

Однажды он оказался на Фонтанке и видел, как из красивого высокого здания в стиле ампира вышел мужчина огромного роста в темной паре и сел в мотор. Рядом с ним сидел человек в военной форме. Автомобиль медленно проехал мимо Богрова. И он успел разглядеть мрачное лицо изрядно полысевшего господина. Когда машина скрылась из виду, Богрова осенило: Столыпин. Он раньше никогда его не видел так близко, только на фотографиях в газетах. Сейчас Столыпин показался Богрову много старше, чем он его представлял. Эта мрачная физиономия второго человека в государстве, физиономия, на которой Богров в эти мгновения прочел, как ему казалось, всю жизнь Столыпина, выражала только одно — он чувствовал себя полновластным хозяином жизни, страны и его, Богрова. Дмитрий очень удивился, что Столыпин передвигается в открытом моторе почти без охраны. И вдруг он понял, что совершить акт здесь, в Петербурге, будет очень легко. Они успокоились, думая, что все неприятности для них позади, и потому осмелели. Эсеры изменили тактику, решив, что время террора прошло. Анархисты... Это все несерьезно. Сброд и шпана. Им бы кого-нибудь ограбить да пожить в свое удовольствие. Социал-демократы... У них одна говорильня. В России, размышлял Богров, нет сейчас такой силы, которая могла бы переломить ситуацию, чтобы вытащить страну из стоячего болота реакции.

Он читал все газеты подряд. И даже газетенку «Гроза», у которой была лишь одна идея — пещерный антисемитизм. Во многих статьях все отчетливее проявлялась мысль: истинным правителем России является никак не царь, а Столыпин. Богров даже не ожи-

дал, что Столыпин столь неугоден тем, кто несколько лет назад на него молился, что он вызывает раздражение почти у всех слоев общества. А следовательно, устранение Столыпина вся Россия встретит с облегчением, думал Богров. Неожиданно ему пришла блестящая мысль. Одиночный акт, если он удастся, хорошо, но этого мало. А что, если самая уважаемая партия России — партия эсеров возьмет акт под свое крыло? А он предложит свои услуги? Таким образом, полагал Богров, эсеры снова будут на гребне общественного мнения, а он, как исполнитель, навечно войдет в историю мирового терроризма... Поразмыслив, он решил просить «благословения» не у кого-нибудь, а у самого Егора Егоровича Лазарева.

Пятидесятипятилетний Е. Лазарев к тому времени уже отошел от практической революционной деятельности и занимался журналистикой. В семидесятых годах прошлого века он принадлежал к народникам и проходил по знаменитому «процессу 193-х». В то время было арестовано свыше четырех тысяч участников «хождения в народ». На процессе Лазарев был оправдан, эмигрировал, а в 1894 году был деятельным участником создания партии эсеров. К нему относились с огромным уважением и считали его патриархом эсеровского движения. Мнение Лазарева в революционных кругах различного толка ценилось очень высоко.

Найти Лазарева для Богрова не составило труда, и вскоре он пришел к нему на квартиру.

Богров путано, краснея, долго представлялся, предварительно передав письма из Парижа, которые он привез эсерам. Потом он рассказал о цели своего визита. В конце двадцатых годов Лазарев достаточно иронично вспоминал свою встречу с Богровым.

— Чем вас огорчил Столыпин? — ласково спросил Лазарев.

— Укажите мне более значительное лицо, — усмехнувшись сказал Богров, — и я, возможно, с вами соглашусь. Царь? Но до царя я в одиночку не доберусь. К тому же сегодня Николай — декоративная фигура. Поймите меня, я не могу устранить Столыпина от имени анархистов, это не партия, это сброд. Я не прошу у вас ни финансовой, ни другой помощи. Я хочу только одного. Если акт будет удачным и если вы убедитесь, что мое поведение на суде правильно, только тогда ваша партия возьмет все на себя... Вы не хуже, а, возможно, лучше меня знаете настроения в обществе. Сегодня в индивидуальном действии не будет такого политического значения, какое должно быть, если все пройдет успешно.

Маленький Лазарев с аккуратной седой бородкой с любопытством разглядывал Богрова. Тот уже осмелел и даже расхаживал по комнате.

— Вы предлагаете экспромт, Дмитрий...

— Григорьевич.

— Я вас первый раз вижу, вы меня тоже. У вас что, разочарование в жизни? Вы чувствуете в себе Печорина?

Богров вспыхнул, почувствовав иронию.

— Не обижайтесь на меня, Дмитрий Григорьевич. Откровенность за откровенность. Партия эсеров объявила самодержавию войну не на жизнь, а на смерть, но согласитесь, что она не может относиться к своим боевым выступлениям легкомысленно. После провокации Азефа, после целого ряда ошибок!.. Неужели вы думаете, вот пришел молодой никому не известный человек, сказал, что он хочет устранить известное лицо, и партия вас тут же примет с распростертыми объятиями?

— Простите, Егор Егорович, я пришел не проповеди слушать, а просить совета и помощи. Если ваша партия откажет мне в моей просьбе, это нис-

колько меня не поколеблет, но мне кажется, что в интересах общего дела вы могли бы до конца взвесить мое предложение. Сегодня никто, кроме Столыпина, не заслуживает внимания революционеров. Конечно, центральный акт, возможно, стал бы более внушительным, и если бы ваша партия согласилась мне помочь, я готов его осуществить.

— Сколько вам лет?

— Двадцать три.

— Вы еврей?

— Да.

— Наша партия не позволит еврею убить царя-батюшку. Надеюсь, не надо объяснять, по каким причинам.

— Догадываюсь, — мрачно ответил Богров. — Однако вы не хуже меня знаете, что погромы в России возникают из-за таких пустяков, что думать о том, будут они или нет, после... смешно, право.

— Вот даже как, — согласно кивая, проговорил Лазарев и почувствовал, что этот самоуверенный молодой человек становится ему в тягость. — Единственный совет, который я могу вам дать, Дмитрий Григорьевич, если уж вы остановились на своем решении, постарайтесь до минимума ограничить круг общения, чтобы потом... как можно меньше людей было втянуто в вашу авантюру.

— И все же я просил бы вас подумать, — в дверях сказал Богров, пожимая протянутую ему руку.

Лазарев как старый, опытный конспиратор подробно наводил справки о Богрове — начиная от Кольмановича, с которым он был знаком, и кончая анархистами, бундовцами из Киева. Именно один из бундовцев нехотя сказал, что Богров — скользкая фигура и лучше с ним не связываться, потому что о нем ходили нехорошие слухи.

Лазарев никому не сказал о своем разговоре с

Богровым. Более того, он молчал почти двадцать лет и лишь в конце двадцатых годов в пражском эмигрантском журнале «Воля России» опубликовал свои воспоминания, где и была подробно изложена беседа с Богровым...

Раздосадованный и обозленный, Богров бродил по городу. Он решил, что больше ни к кому обращаться не станет. Пусть это будет одиночный акт, пусть не будет громкого политического эха. Но он *это* сделает.

Вечером за рулеткой он бездарно просадил 150 рублей, которыми его снабдил отец, и, поразмыслив, позвонил полковнику фон Коттену. Фон Коттен уже получил от Кулябко подробное донесение об агенте Аленском. Встреча состоялась на полицейской конспиративной квартире. Естественно, Богров ничего не сказал ни о письмах из Парижа, которые он привез эсерам, ни о своем разговоре с Е. Лазаревым. Полковник подробно спрашивал об анархистских группах Киева, Богров отвечал вяло и, с точки зрения информации, неинтересно. Однако деньги Богрову были выданы. Позднее, после его ухода, фон Коттен с удивлением читал донесение Кулябко, где тот чуть ли не с восторгом описывал агентурные качества Аленского.

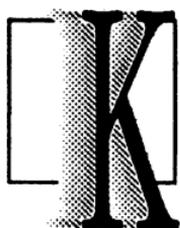
Вскоре Богров уехал во Францию и никаких вестей о себе не подавал, но вдруг пришла его просьба о материальной поддержке. Фон Коттен отдал распоряжение перевести по указанному адресу 150 рублей. Через некоторое время деньги вернулись обратно невостребованными.



**Часть
третья**

Глава 1

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ



К началу 1911 года в департаменте полиции папка, где были собраны материалы о похождениях Распутина, приобрела угрожающие размеры. Столыпин приказал подготовить ему сжатый документ, с тем чтобы прочесть его Государю. Ольга Борисовна пыталась отговорить мужа от опрометчивого шага. Столыпин устало ее слушал и отвечал односложно:

— Я должен это сделать.

— Петр, — волнуясь говорила Ольга Борисовна. — Тебя почему-то возненавидела императрица. Все твои... прости, ради Бога, все наши неприятности происходят только от того, что она не любит нашу семью. Господи, знать бы за что!.. — воскликнула она чуть не плача. — А началось еще тогда, на «Штандарте».

— Ты фантазируешь, Олюшка. Государыня чудесно к нам относится.

Да, она несколько нервозна, экзальтирована. Может быть, слишком набожна... — Он вздохнул. — Любая крайность для меня непонятна. Что в вере, что в безверии.

— О чем ты, Петр? Безверие и есть крайность. Оно чуть было не погубило Россию, ты знаешь... Умоляю тебя, оставь этого грязного мужика в покое. Его не зря принимают в Царском, поверь мне, не зря. Я, правда, не верю этим гнусным сплетням, но что-то там не так... Пожалуйста, не ходи к царю с докладом.

Столыпин поднялся, улыбаясь весело и отчаянно:

— Ты же знаешь, я ничего не боюсь. Ежели из-за этого, как ты говоришь, грязного мужика меня он отставит, значит, так тому и быть. Но я все скажу. Я ему скажу все! Неужели он не понимает, что трон шатается и что на сей раз его раскачивает Гришка?! Кто ему все скажет, кроме меня? Эти лизоблюды вроде Дурново или же наш милый барон Фредерикс, который забывает, как его зовут?

Ольга Борисовна рассмеялась:

— Какой же ты стал упрямый, Петя. Да Бог с ним, с этим Гришкой. Лишь бы ты меня любил, милый... И мы все были бы здоровы!..

Столыпин ехал к царю на доклад и улыбался, вспоминая фразу жены. Неужели она может хоть на мгновение сомневаться в его любви. Странно устроена психология женщины. Всю жизнь он только и повторял ей эту фразу, и спрашивал бесконечно: а любишь ли? И вот она сказала то же самое. Впервые за 27 лет их супружеской жизни. Да, в последние месяцы он дома бывал очень коротко, мало

уделял внимания детям, жене. Ему вдруг ужасно захотелось в отпуск. Однако еще стоял январь. Зима в этом году была сырой. Смеркалось рано, и ему приходилось работать при свете электрической лампочки даже по утрам. Петербургский мрак, он заметил, стал его утомлять.

Он ехал в карете в сопровождении многочисленной охраны, поскрипывали рессоры. И почему-то не хватало воздуха. Он принял сердечные капли. Карета остановилась у высоких чугунных ворот.

По дороге в кабинет царя он несколько раз останавливался, левой рукой потирая мундир в области сердца. Но вот наконец отпустило, как раз вовремя. Он с облегчением вдохнул полной грудью и вошел в кабинет. Царь его уже ждал. Он вопросительно и настороженно смотрел на своего премьера, пока они обменивались традиционными приветствиями. Столыпин сказал, что он желал бы сам прочесть доклад царю. Государь отклонил предложение. Аудиенция на том и закончилась.

Петр Аркадьевич был уверен, что царь под разными предлогами будет затягивать разговор в отношении доклада. На следующий день Столыпин позвонил в Царское и попросил его соединить с Государем. Государь, едва с ним поздоровался Столыпин, вместо приветствия ответил:

— Поступайте по вашему усмотрению, — и, не попрощавшись, положил трубку.

Столыпин тотчас приказал Распутину покинуть Петербург. Григорий Ефимович бросился за защитой к «маме». Александра Федоровна устроила скандал. Она рыдала, требовала отменить распоряжение «этого ужасного человека», кричала, что, если мальчик погибнет, это будет на совести Столыпина. Николай страдал, но остался непреклонен.

На следующий день Распутин отправился в длительное путешествие в Иерусалим.

Александра Федоровна поклялась, что сделает все возможное, чтобы отстранить Столыпина от власти.

Если взглянуть как бы со стороны на стремительно развивавшийся конфликт между Столыпиным и царской семьей, то придется признать, что у царя было достаточно оснований для недовольства своим премьером. Он действительно приобрел необыкновенную популярность. И левые и правые понимали, что царь, увы, ведом и ведет его не кто иной, как Столыпин, ибо все перемены в стране, все начинания исходят от Столыпина.

Еще в 1907 году в своем выступлении в Третьей Государственной думе Столыпин сделал нечто вроде исторического анализа верховной власти в России: «Ведь Верховная власть является хранительницей идеи русского государства, она олицетворяет собою ее силу и цельность, и если быть России, то лишь при усилении всех сынов ее охранять, оберегать эту власть, сковавшую Россию и уберегающую ее от распада. Самодержавие московских Царей не походит на самодержавие Петра, точно так же, как и самодержавие Петра не походит на самодержавие Екатерины Второй и Царя-Освободителя. Ведь русское государство росло, развивалось из своих собственных русских корней, и вместе с ним, конечно, видоизменялась и развивалась Верховная Царская Власть. Нельзя к нашим русским корням, к нашему русскому стволу прикреплять какой-то чужой, чужестранный цветок.

Пусть расцветает наш родной русский цвет, пусть

он расцветет и развернется под влиянием и взаимодействием Верховной власти и дарованного Ею нового представительного строя...»

Правые в то время обошли вниманием эту часть выступления Столыпина. И напрасно. Здесь виден скрытый призыв к тому, что верховную власть нужно модернизировать, нужно приспособить под современные условия. И потому, когда он почувствовал, что может сам многое изменить в жизни страны, он незамедлительно начал это делать. Пусть только не мешают.

При всей своей внешней скромности Столыпин отчетливо понимал свое значение в развернувшихся преобразованиях. Он видел в основном бездарное окружение царя, которое не могло простить ему ни достижений, ни промахов. Увы, Столыпин был плохим дипломатом и никудышным царедворцем, он часто говорил людям то, что думал. Однако он заблуждался, утверждая, что кто-то при дворе «ему гадит». Ибо это был, увы, не один человек, а целая стая, которая действительно всерьез боялась, что в руках Столыпина окажется огромная власть. Почти все пять лет своей деятельности он мог спокойно работать только потому, что ему покровительствовал царь. Николай не мог не понимать, что стабильность в обществе, фантастический рост общественного производства — все это происходило при непосредственном участии его премьера. Несмотря на давление со всех сторон, и в особенности со стороны Александры Федоровны, он понимал, что не может отправить Столыпина в отставку, так же как не может все оставить без изменений. Он стал замечать, что в докладах премьера появились новые интонации, которые словно не предполагали встречных возражений. Это раздражало. Похоже, Столыпин действи-

тельно забывал, кому он обязан своим положением. Государь искал выход. И не видел его. Хотя знал, что всегда должен быть *третий путь*, ибо Николай тоже не любил крайностей.

В феврале исполнилось 50 лет со дня отмены крепостного права. Как и полагается, группа высших чиновников по случаю даты была удостоена наград. Какие бы отношения ни складывались между царем и Столыпиным, премьера, конечно, обойти было нельзя.

«19 февраля 1911 года. Приказ № 343.

Государь Император, 19 сего февраля, в день исполнившегося 50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости, **ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ** соизволил:

удостоить председателя Совета министров, Члена Государственного совета, Статского Секретаря Гофмейстера Двора его Величества

Столыпина Петра Аркадьевича — **ВЫСОЧАЙШИМ** рескриптом...»

Низшим должностным чинам Государь жаловал награды и звания. Для высших должностных лиц существовал *рескрипт*...

Последняя же награда, которой одарил Столыпина царь, последовала 10 апреля, накануне дня рождения Петра Аркадьевича. Он был удостоен одной из самых высоких наград — орденом Святого Благоверного Великого князя Александра Невского.

Отчим В. Шульгина, главный редактор и владелец газеты «Киевлянин», самой крупной и влиятельной на юго-западе России, В. Пихно в свое время внес законопроект о пересмотре выборного

права в западных областях. Дело в том, что при смешанном населении западных губерний основные выборные должности занимали богатые помещики-поляки. Для того чтобы изменить положение, Столыпин поддержал идею Шульгина и Пихно о введении земства в западных областях. Это означало, что имущественный ценз для выборщиков понижался, а следовательно, средние слои могли тоже участвовать в выборах. Среди этих слоев преобладало русскоязычное население. Но права богатых помещиков явно ущемлялись. После многочисленных обсуждений и поправок законопроект покинул лабиринт думских коридоров и лег на утверждение членам Госсовета.

1 февраля Столыпин выступил в Государственном совете. Большинство советских историков, изучавших деятельность Столыпина, упрекали его в национализме, якобы переходившем в великорусский шовинизм, который предполагает угнетение малых народностей на огромной территории России. Это не соответствовало действительности.

«Надо смотреть на вещи прямо. Почему же поляки в каждом собрании, в каждом учреждении группируются по национальностям? Да почему вот здесь, в Государственном совете или в Государственной думе, польские представители не разошлись по партиям, по фракциям, не присоединились к октябристам, к кадетам, к торгово-промышленникам, а образовали из себя сплоченное национальное коло? Да потому, господа, что они принадлежат к нации, скованной народным горем, сплоченной историческим несчастьем и давними честолюбивыми мечтами, потому что они принадлежат к нации, у которой одна политика — родина! И вот эти, скажу, высокие побуждения придали польскому населению большой

политический закал. И этой закаленной группе вы хотите противопоставить массу, состоящую из недавних в крае землевладельцев и мелких собственников крестьянского облика. Эта масса бесхитростная, политически не воспитанная, и ее, не умеющую еще плавать, вы хотите бросить в море политической борьбы. Я уверен, что русские начала со временем восторжествовали бы, но к чему это новое испытание, не вызванное теперь борьбой народов, а лишь исканием и блужданием политической мысли?...

...Я не хочу верить, чтобы русские и польские избиратели могли быть ввергнуты в совершенно ненужную и бесплодную политическую борьбу. Но пусть, господа, не будет другого, пусть из боязни идти своим русским твердым путем не остановится развитие прекрасного и богатого края, пусть не будет отложено и затем надолго забыто введение в крае земского самоуправления. Этого достичь легче, к этому идут, и если это будет достигнуто, то в многострадальную историю русского запада будет вписана еще одна страница — страница русского поражения. Придавлено, побеждено будет возрождающееся русское самосознание — и не на поле брани, не силою меча, а на ристалище мысли, гипнозом теории и силою... красивой фразы!»

Партия противников Столыпина в Госсовете, казалось, только и искала нового повода, чтобы расправиться с независимым премьером. Случай представился. Русские и польские помещики, занимавшие большое количество мест в Государственном совете, возглавляемые Дурново и Витте, повели атаку на законопроект. Причем это случилось после того, как за законопроект проголосовало 82 члена Госсовета, против — 75. Перевес, что называется, минимальный. По наущению Витте Д. Ф. Трепов,

бывший комендант Зимнего дворца, объяснил царю законопроект о земщине в западных областях таким образом, что Столыпин преследует одну цель — усиление своего влияния через эти губернии. В конце февраля Дурново в Госсовете объявил, что царь *не настаивает* на законопроекте.

Столыпин был совершенно не осведомлен об интригах вокруг законопроекта. Он был уверен, что царь его утвердит... Перед повторным голосованием он снова выступил в Госсовете. Позволю себе еще одну цитату из его речи 4 марта: «Можно понимать государство как совокупность отдельных лиц, племен, народностей, соединенных одним общим законодательством, общей администрацией. Такое государство, как амальгама, блюдет и сохраняет существующие соотношения сил. Но можно понимать государство и иначе, можно мыслить государство как силу, как союз, проводящий народные, исторические начала. Такое государство, осуществляя народные заветы, обладает волей, имеет силу и власть принуждения, такое государство преклоняет права отдельных лиц, отдельных групп к правам целого. Таким целым я почитаю Россию».

Речь его не возымела действия, так как судьба закона была уже предрешена. Повторное голосование отклонило законопроект в присутствии Столыпина. Очевидцы вспоминали: когда был подведен итог голосованию, Столыпин замер и будто изменился в лице. Он стремительно поднялся со своего места и покинул зал заседаний, ни с кем не попрощавшись.

Пока он ехал домой на Фонтанку, пришел в себя и весело поцеловал жену при встрече, но она видела: что-то случилось. Он тут же прошел к себе в кабинет и написал прошение об отставке. Дал его

прочсть Ольге Борисовне. Она долго смотрела на несколько строчек, потом сняла пенсне, вернула бумагу мужу и спокойно сказала:

— Ну и слава Богу. Ты сделал все, что мог. Теперь пусть кто-нибудь сделает больше.

Потом за ужином он ей признался, что после голосования впечатление у него было такое, словно он получил незаслуженную пощечину, да еще в присутствии многочисленной публики.

Прошение об отставке пришло Государю правительственной почтой. Царь усмотрел в этом шаге открытый протест Столыпина, ведь он мог сам приехать и привезти бумагу. Александра Федоровна обрадовалась, что так просто решается вопрос, который стал причиной размолвок с мужем. Но Государь не спешил подписывать отставку Столыпина. Прошло несколько дней. Столыпин на службе не появлялся, уверенный, что отставку царь примет. Однако, как всякий деятельный человек, он терпеть не мог неопределенности. Но из Царского Села — ни звука.

А там между тем шли нешуточные баталии. За Столыпина высказались великие князья братья Александр Михайлович и Николай Михайлович. Великий князь Александр Михайлович терпеть не мог Витте и справедливо полагал, что это в первую очередь его происки. Уволить Столыпина для него означало дать возможность Витте одержать победу: Александр Михайлович не очень вникал в суть вопроса, так как он был адмиралом и все его помыслы были о морском деле. Великий князь Николай Михайлович, не в пример брату, был человеком чрезвычайно образованным и публиковал статьи на исторические темы. Он прямо заявил Николаю, что если уберут Столыпина, начнется развал, снова начнется революция. Царь отмалчивался. Потому что

каждый вечер он испытывал невероятное давление со стороны жены. Пожалуй, чашу весов перевесило мнение вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Отношения между нею и невесткою испортились окончательно. Причиной был Распутин. Она знала отношение Александры Федоровны к Столыпину, но знала и цену Петру Аркадьевичу. Она также не разбиралась в вопросах имущественного ценза при введении земщины в западных областях, но хорошо видела, что равноценной замены Столыпину нет. Мария Федоровна долго разговаривала на эту тему с сыном, упрекала его в том, что он попал под влияние своей жены, что это может плохо кончиться и что Столыпин при всех его недостатках пока незаменим...

В доме у Столыпиных раздался телефонный звонок. Его приглашали навестить Марию Федоровну.

— Ну? Что? — Ольга Борисовна подняла на него тревожный взгляд.

— Похоже, отставка откладывается, — усмехнувшись, ответил Столыпин.

Перед тем как принять Столыпина, Мария Федоровна беседовала с В. Н. Коковцовым. В своих воспоминаниях он пишет, что в тот кризисный период он взял сторону Столыпина. Коковцов быстро понял, что Мария Федоровна решила поддержать Столыпина.

— К великому сожалению, мой сын слишком мягок, — говорила она Коковцову, почтительно ей внимавшему. — Я могу представить, что Столыпин почти в отчаянье, что он теряет веру в способность царя вести дела государства.

— Но он все же не согласился с его отставкой, — мягко возразил Коковцов.

— Он не может расстаться со Столыпиным, не-

смотря на то что его к этому подталкивают. Однако я убеждена: если бы Столыпин был более настойчив, мой сын согласился бы. Это в его характере. Он всегда ищет не прямой путь, увы, часто это его подводит. Поверьте мне, Владимир Николаевич, он ни у кого не спрашивает советов. С его гордостью, в которой его поддерживает императрица, он и мысли не допускал, чтобы кто-то заподозрил, как он обеспокоен... Но, увы, недовольство Столыпиным пустило уже очень большие корни, и если Столыпин сегодня выиграет, то ненадолго. Помяните мое слово, очень скоро он будет удален. Это будет большим несчастьем для моего сына. Увы, его постоянно преследуют неудачи в выборе своих помощников...

Когда Столыпин входил в покои Марии Федоровны, в дверях он столкнулся с государем; тот, прикрывая платком заплаканное лицо, прошел мимо Столыпина не поздоровавшись. Вдовствующая императрица приветливо встретила Столыпина, она сказала, что ее сын принял решение и потому она пригласила Столыпина. Она в очень мягкой форме посоветовала Петру Аркадьевичу на будущее щадить самолюбие ее сына.

На следующий день царь принял Столыпина. Мне удалось обнаружить уникальную запись, которую сделал Петр Аркадьевич собственной рукой сразу же после его беседы с Государем. Она сделана на бумаге с грифом «председатель Совета министров».

«На вопрос, правду ли пишут газеты о его уходе, я ответил, что правду и сказал, после того, что произошло в Гос. Совете, я написал записку, прося приема у Его Величества, что прошу его меня уволить. На это он мне ответил, чтобы я молчал и не смел ему об этом говорить, т. к. мне нет заместителя. Тогда я стал ему говорить и сказал много. Я ду-

маю, что слова человека, который уходит и который действительно уходит, должны же иметь (неразборчиво. — В. Х.) или готовить хоть какой-нибудь (неразборчиво. — В. Х.)...

Я ему сказал, что правые — это же правые, что они реакционеры, тайные, льстивые и лживые, лживые потому, что прибегают к темным приемам борьбы. Государь мне на это сказал, что ему Тр. (очевидно, Трепов. — В. Х.) объяснил, что депутация трех губерний была подтасована мною, чтобы произвести давление на Е. В. Я ему на этого ответил, что нельзя этого говорить про видных уважаемых деятелей, губернских и уездных предводителей, епископов. Государь на это ответил, что Тр. ему объяснил, что предводители были подкуплены.

Тогда я его спросил, как же и каким путем я это сделал. Государь сказал, что Тр. ему объяснил, что это исполнил Пихно и что думе Пихно в этом сознался и Тр. имеет документ. Я спросил Е. В., видел ли он этот документ. Государь ответил — нет. Тогда я ему сказал, что Тр. солгал, что он лжец и ведет интригу. Государь спросил: «Против кого? Вас или меня?» Я сказал, что, конечно, против меня, но как разделить нас, как разделяют приказчика и хозяина, и я снова напал на них, говорил Г., что они ведут к гибели, что они говорят: «Не надо законодательствовать, а надо только управлять».

...Но, повидимому, это Г. нравится и он сам им вторит. Кроме того, я почувствовал, что Государь верит тому, что я его заслоняю, как бы становлюсь между ним и страной. Убедившись в этом, я решительно заявил об уходе, т. к. понял, что мне больше нет опоры. Ведь не могу же я опираться на МВД, опираться на партии, искать поддержку в общественных течениях. Рано или поздно кончилось бы

тем же и было бы тогда хуже. У нас нет парламентаризма, но именно теперь был случай это доказать. Вместо того, чтобы снести Трепову голову, прикрикнуть на них и пробрать, Государь ничего на мои энергичные упреки не ответил, а только плакал и обнимал меня. Мне его искренно жаль! Он верит мистицизму, слушает предсказания, думает опереться на правых. Но ведь должен же он знать, что есть люди, которые не способны мыслить на (неразборчиво. — В. Х.); ведь не может же он не предпочесть смелость и самостоятельность низкопоклонству. Теперь два выхода — или реакционный кабинет, или бюрократический. Под знаменем продолжения прежней политики. Повидимому избирается второй путь и будет назначен Коковцов. — Кривошеин продержался бы дольше (речь, очевидно, идет о назначении на должность министра финансов. — В. Х.). Я сказал Государю, что за пять лет изучил революцию и знаю, что она теперь разбита... и можно будет еще лет пять продержаться. А что будет дальше, зависит от этих пяти лет...»

Травля Столыпина в газетах как левого, так и правого толка, достигла своего апогея. Однако журналисты и те, кто их нанял, еще не знали, что в Зимнем дворце решение *уже принято*. Особенно старались издания черносотенного толка. Петербургская газета «Гроза», издаваемая редактором с необычной фамилией Швепо-Дунин-Борковский, 1 апреля писала: «...во всяком случае нужно радоваться, что истинный облик г. Столыпина ныне обнаружился. Теперь все в нем узнают того же самого недалекого чиновника департамента общих дел (Столыпин там начинал свою службу сразу после окончания Петер-

бургского университета. — В. Х.), который исключительно по особой протекции влиятельной родни получил назначение в предводители дворянства. Во всяком случае, раздутый его многочисленную роднею, умственный и нравственный облик г. Столыпина достаточно выяснился. Не только в правых кругах, но даже и в центре... г. Столыпин потерял всякое уважение за обращение Высочайшей доверенной ему власти в страшный произвол, публично и по справедливости названный в законодательном учреждении произволом временщиков Бирона и Годунова».

Однако этой публикации оказалось мало, и на следующий день в той же газете вышла передовица под заголовком: «Поражение Столыпина. Русские на словах, а на деле жида». Вот что в ней говорилось: «...в лице членов Гос. Совета г. Столыпин нашел строгих судей. Большинством 99 голосов против 53 Гос. Совет нашел объяснения Столыпина неудовлетворительными и таковым признанием действий его неверными осудил г. Столыпина не только как министра, но и как подданного, решающего вводить Помазанника Божьего в заблуждение».

Общественность еще не знала, что Столыпин согласился взять свою отставку назад при очень жестких условиях, которые он выдвинул царю. Большинство советских историков, публиковавших свои труды о Столыпине, как правило, с некоторой иронией замечали, что Столыпин возомнил себя хозяином положения и навязал царю унижительные для него условия. Полагаю, что это не так. К тому времени у Столыпина накопилась невероятная усталость, к которой примешивалось чувство разочарования. Он вдруг начал понимать, что вся его энергическая деятельность начинает вызывать глухой от-

пор у тех, кто еще недавно стоял на краю пропасти. Он пошел ва-банк, зная, на что идет, и был уверен, что царь не примет его условий. И тогда он со спокойной совестью окончательно уйдет в отставку, да еще в образе страдательной фигуры: мол, я хотел, но меня не поняли... Однако царь принял все до единого его предложения. А они были таковы. Прежде всего на три дня распускаются на каникулы два законодательных органа — Дума и Государственный совет. За эти три дня на основании 87-й статьи, которую так любил Столыпин, царь подписывает указ о земствах в западных губерниях. Но это еще не все. Столыпин потребовал от царя, чтобы два самых влиятельных его противника — Трепов и Дурново — были отправлены в отпуск, за границу.

Однажды министр путей сообщения С. В. Рухлов сказал только что назначенному министру просвещения А. Н. Шварцу: «Боже Вас сохрани хоть в чем-либо положиться хотя бы на одну секунду на Государя: никого и ни в чем он поддержать не может». А бывший министр внутренних дел П. Д. Святополк-Мирский сказал как-то Столыпину еще более жестко: «Государь, которому ни в чем нельзя верить, ибо то, что сегодня он одобряет, завтра от этого откажется, и потому он не может установить в империи спокойствие...» Столыпин не хуже этих людей знал изменчивый характер Государя. И потому он настоял, чтобы все его предложения были царем записаны на бумаге. Позднее эту бумагу Столыпин кое-кому показывал. Очевидно, этот факт тоже стал известен Николаю...

Царь сделал все, что требовал Столыпин, и никогда ему этого не забыл, он помнил о своем унижении даже спустя пять месяцев, когда размышлял, приезжать ему на похороны Петра Аркадьевича или нет...

С. Ю. Витте, серый кардинал госсюветовского заговора, писал в своих «Воспоминаниях»: «Государь не мог простить Столыпину того издевательства, которое он над ним совершил, представив ему свою отставку вместе с кондициями, и хотя его величество эти кондиции принял и отставку вернул, но еще перед выездом в Киев на одном из докладов Государь по окончании доклада перед уходом Столыпина сказал ему:

— А для вас, Петр Аркадьевич, я готовлю другое назначение».

Витте много чего не мог простить Столыпину. Поражение в Государственном совете Сергей Юльевич пережил очень тяжело. Не случайно в тех же «Воспоминаниях» есть такая злобная фраза: «Столыпин и его прихвостни торжествовали, но для мало-мальски дальновидного человека было ясно, что это торжество накануне его политической гибели».

Однако Госсовет решил, что он не станет сдаваться на милость победителю, и прислал премьеру запрос, в котором его упрекали, что 87-я статья была применена незаконно. Кроме того, недавние союзники октябристы во главе с А. Гучковым, пригрозили, что, если закон будет введен с помощью 87-й статьи, они все, как один, выйдут из Думы. Столыпин не испугался. Октябристы из Думы не вышли, но Гучков демонстративно сложил с себя полномочия председателя Думы.

1 апреля Столыпин вновь предстал перед членами Государственного совета для того чтобы ответить на запрос. Он вел себя в высшей степени великодушно, подчеркивая свое неизменное уважение к законодательному органу, и, ссылаясь на юридичес-

кий опыт передовых западных стран, пытался аргументированно объяснить необходимость введения чрезвычайной статьи.

«Я не хочу говорить о существовании отвергнутого вами законопроекта, я говорю только о последствиях вашего вотума. Я всегда откровенно заявлял, что считаю польскую культуру ценным вкладом в общую сокровищницу совершенствований человечества. Но я знаю, что эта культура на Западе веками вела борьбу с другой культурой, более мне близкой, более мне дорогой — с культурой русской. Я знаю, что конец мечты о западном земстве — это печальный звон об отказе С.-Петербурга в опасную минуту от поддержки тех, кто преемственно стоял и стоит за сохранение Западной России русской. Я знаю, что весть об этом оглушила многих и многих, всех тех, в ком вселилась уверенность, что это дело пройдет после того, как оно собрало большинство в Государственной думе и в комиссии Государственного совета, после того, как мысль о нем взята под Высочайшую защиту.

Я знаю больше, господа, я знаю, что ваша возобладавшая мысль и мнение правительства в этом вопросе — это два мира, два различных понимания государства и государственности. Для обширного края это может быть поворот в его исторической судьбе, для России — это, быть может, предрешение ее национального будущего...»

Через несколько дней, когда стало известно, что Столыпин остается, а его враги разбиты и по высочайшему повелению отправляются в отпуск за границу, та же «Гроза» в своих статейках еле сдерживала рыдания. Изгнание Дурново совпало с его юбилеем — 50-летием беспорочной службы. Вот что писала «Гроза» по этому поводу: «...скорбит Русь

святая за вас и порицает проклятое самолюбие. Оно погубит Россию. Оно, по безумию своему, посеяло и сеет по России пагубные семена язычества, жидовства, сектантства и всякого неверия и лжеверия; он безстрашно прочит нам постыдное для нас рабство жидам, распявшим Господа Нашего Иисуса Христа...»

Через несколько дней в той же газете было радостное сообщение под заголовком: «Жидовская больница сгорела в Киеве».

Тексты большинства черносотенных изданий мало отличались друг от друга. Политическое затишье, отсутствие бунтов и забастовок в 1911 году с лихвой компенсировалось мощно развернувшейся по всей России антисемитской истерией, странным образом соединившейся с травлей Столыпина. Тон в этом хоре задавала столичная газета «Гроза». Сначала вся Россия, а потом и весь мир стали говорить о знаменитом деле Бейлиса. Его обвиняли в том, что накануне Пасхи в Киеве он убил ученика Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского, для того чтобы использовать кровь мальчика в приготовлении мацы — специальных лепешек для еврейской Пасхи. Бурную деятельность по раскрытию преступления развил небезызвестный нам Кулябко. Обстановка была такой, что, казалось, вот-вот начнутся еврейские погромы. Однако их не было. Газетная истерия постепенно пошла на убыль. Либеральные издания встали на защиту бедного еврея Бейлиса. Публично выступили, защищая Бейлиса, М. Горький, Л. Андреев, Ф. Шаляпин. И даже В. Шульгин, не любивший евреев и не скрывавший этого, публично заявил, что Бейлис не виноват. Нашли женщину, которая убила мальчика с целью ограбления, потом обнаружили еще одного человека,

укравшего дрова в монастыре. Бейлис это видел и рассказал о воре. Но после убийства мальчика похититель дров оказался главным свидетелем, как Бейлис похищал Юшинского... Однако все это произошло, когда Столыпина уже не было в живых. Столыпин публично не принимал участия в казавшемся поначалу запутанном деле Бейлиса, однако в том, что его ведомство не допустило погромов, очевидно, есть и его заслуга.

Столыпин прекрасно понимал, что остался в одиночестве, что у него теперь нет поддержки ни в Думе, ни тем более в Государственном совете. Он также отдавал себе отчет, что и с Государем теперь уже не может быть тех теплых, доверительных отношений, что были раньше.

Накануне решающего разговора с Государем Столыпин признался В. Н. Коковцову:

— Вы, Владимир Николаевич, правы в одном, Государь не простит мне, если ему придется выполнить мои условия, но мне это безразлично, так как я и без того знаю, что ко мне подбираются со всех сторон, и в любом случае я здесь ненадолго.

Когда Государственная дума сделала свой запрос относительно введения 87-й статьи, Столыпин буквально находится на грани нервного истощения. Думцы были обозлены до крайности. Столыпин, уже не впервые применяя 87-ю статью, тем самым демонстрировал им, что они лишь придаток в его амбициях. И это чувство заслоняло существо закона. (Кстати, он был реализован в том виде, в каком настаивал на нем Столыпин, в 1912 году.)

Последнее выступление Петра Аркадьевича перед депутатами Третьей Государственной думы не назовешь самым удачным. Он был многословен, часто повторял одну и ту же мысль. Думцы слушали его, одни — рассеянно, другие — не скрывая своего раздражения. Выступление состоялось 27 апреля 1911 года. Он настаивал на применении 87-й статьи во всех случаях, когда Дума не будет соглашаться с предложениями правительства. Ясно, что это заявление не вызвало восторга у думцев. Однако Столыпиным были высказаны мысли, владевшие им последние годы. Это были размышления прежде всего о глубоком кризисе высочайшей власти. Нам из истории известно, что в каждом публичном выступлении любого высокопоставленного чиновника всегда присутствуют определенные ритуальные фразы, связанные с политическим моментом. В свое время все выступавшие клялись в любви к Сталину, потом стали клясться в верности КПСС. Потом появилась мода ссылаться на Генерального секретаря ЦК КПСС, а позднее Президента России, причем называли их исключительно по имени-отчеству. Так же было и в те уже далекие от нас времена. Столыпин чуть ли не в каждой своей речи говорил о монаршей власти как единственно приемлемой для России. Но соображения свои о том, какой она должна быть, он тем не менее высказывал, в том числе и в последнем своем выступлении перед депутатами Думы.

«И если обернуться назад и поверх действительности взглянуть на наше прошлое, то в сумерках нашего национального блуждания ярко вырисовываются лишь два царствования, озаренные действительно верой в свое родное русское. Это царствования Екатерины Великой и Александра Третьего». После этой фразы Столыпин, как и полагается по

протоколу, сделал реверанс Николаю Второму. А потом, уже в заключение, усталый, еле стоявший на трибуне Столыпин сказал, что есть два пути, по которому может развиваться Россия:

«Первый путь — уклонение от ответственности, переложение ее на вас путем внесения вторично в Государственную думу правительственного законопроекта, зная, что у вас нет ни сил, ни средств, ни власти провести его дальше этих стен, провести его в жизнь, зная, что это блестящая, но показная демонстрация. Второй путь — принятие на себя ответственности, всех ударов, лишь бы спасти основу русской политики, предмет нашей веры. *(В правом центре рукоплескания и голоса: «Браво».)*

Первый путь — это ровная дорога и шествие по ней почти торжественное под всеобщее одобрение и аплодисменты, но дорога, к сожалению, в данном случае не приводящая никуда... Второй путь — путь тяжелый и тернистый, на котором под свист насмешек, под гул угроз, в конце концов все же выход к намеченной цели. Для лиц, стоящих у власти, нет, господа, греха большего, чем малодушное уклонение от ответственности. И я признаю открыто: в том, что предложен был второй путь, второй исход, ответственны мы — в том, что мы, как умеем, как понимаем, бережем будущее нашей родины и смело вбиваем гвозди в нами же сооружаемую постройку будущей России, не стыдящейся быть русской, и эта ответственность — величайшее счастье моей жизни. *(Голоса в правом центре: «Браво».)*

И как бы вы, господа, ни отнеслись к происшедшему, а ваше постановление, быть может, по весьма сложным политическим соображениям уже предreshено, как бы придирчиво вы ни судили и ни осудили даже формы содеянного, я знаю, я верю,

что многие из вас в глубине души признают, что случилось нечто, не нарушившее, а укрепившее права молодого русского представительства. (*В правом центре рукоплескания и голоса: «Браво»; смех в левом центре и слева; голоса слева: защитники народного представительства.*) Патриотический порыв Государственной думы в деле создания русского земства на Западе России был понят и оценен и согрет одобрением Верховной власти. (*В правом центре рукоплескания и голоса: «Браво»; шиканье слева*)».

Под эти звуки Столыпин покинул думскую трибуну. В тот день только Господь знал, что больше он на нее никогда не взойдет...

Один из самых одиозных журналистов своего времени Меньшиков, который еще недавно был апологетом политики Столыпина, в дни «министерского кризиса» не жалел черных красок для своего бывшего кумира. Но и когда, казалось, Столыпин одержал победу, Меньшиков отнюдь не изменил тональности своих статей. Для людей посвященных это было верным знаком, что звезда Столыпина начинает гаснуть. В чем теперь только не обвиняли уставшего, измученного, затравленного премьера. И в том, что он присвоил себе лавры победителя революции, хотя всю черновую работу сделали за него другие, и что реформа уже захлебнулась, а потрачены огромные деньги. Но главный упрек заключался в том, что якобы надвигалась новая волна революции, перед которой премьер — бессилён. Все эти тезисы, не жалея красноречия, озвучивал Меньшиков. И его критики были, безусловно, серьезнее и аргументированнее истерических поклепов черносотенных газет, объявлявших Столыпина чуть ли не «предводителем жидомасонов». Подтекст всех статей Меньшикова и ряда других журналистов был весьма

прозрачен — «мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Цинично заявлялось, что историческая роль Столыпина исчерпана, но, когда вполне естественно возникал вопрос, кем его заменить, всплывали фигуры Коковцова на роль премьера и Макарова на роль министра внутренних дел. Ясно было, что они ни в какое сравнение не шли с личностью Столыпина. Коковцова в Москве называли «граммофоном» за его поразительное умение говорить долго и не сказать ничего конкретного. Витте выражался более грубо, называя его «политической проституткой». После убийства Петра Аркадьевича именно эти лица и займут ключевые посты в правительстве...

В высших сферах образовалась странная ситуация. С одной стороны, Столыпин одержал безоговорочную победу. Всем было ясно с самого начала: закон о земствах в западных губерниях не настолько принципиален, чтобы ломать вокруг него копыя. Правой оппозиции нужно было столкнуть Столыпина. Он удержался, более того, самые ярые его противники Дурново и Трепов — брат киевского генерал-губернатора, были отправлены в принудительный заграничный отпуск до 1 января 1912 года. Но неожиданно Столыпин понял, что он, второй человек в государстве, оказался точно в вакууме. Более того, его распоряжения не выполняются, а его предложения по некоторым практическим делам царем игнорируются. Увы, Николай в этой ситуации оказался не на высоте. Так, в мае Государь отказался подписать принятый двумя палатами законопроект о лишении или добровольном снятии духовного сана. Безусловно, пощечиной Столыпину стало назначение В. К. Саблера синодальным обер-прокурором. Этот человек был ставленником Распутина. Он при-

нес много вреда русской церкви. Его мрачная, разрушительная роль еще ждет своего освещения. Но Саблер был одним из самых ярких противников реформ Столыпина, и потому его фигура была горячо поддержана Александрой Федоровной.

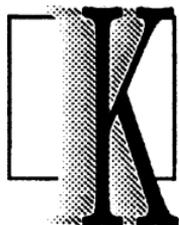
Положение Столыпина становилось все более унижительным. Он понимал, что находится в изоляции. Естественно, напрашивается вопрос, почему он не настоял на отставке. Ведь именно этого хотело окружение царя и те, кто мечтал о смещении Столыпина. Очевидно, мелкими уколами, недостойными отказами его вынуждали сделать решительный шаг. Он мог его сделать под благовидным предлогом нездоровья. И не делал, потому что считал, что это стало бы самым отвратительным проявлением трусости. Не испытывая иллюзий по отношению к тем, кто мечтал его низвергнуть, к тем, кто надеялся занять его пост, а таких был немало, он окончательно потерял веру в царя. Он ждал только, когда Государь наберется мужества и сам предложит ему отставку.



Глава 2

РОССИЯ

НАКАНУНЕ ОСЕНИ



Критическое начало в человеке, очевидно, сильнее развито, чем созидательное. Особенно в каждом из нас это проявляется, когда происходит низвержение кумиров. Вот тогда мы не жалеем красок, зорко и метко подмечая пороки и недостатки того, кого ниспровергаем, напрочь забывая все хорошее и ценное, что еще вчера отмечали с восторгом. Трудно сказать, чего больше проявляется в нас в эту праведную минуту — несбывшихся надежд, какие мы возлагали на нашего любимца, или обыкновенного холопства, так как «нам недоплатили». Увы, мы так часто швыряем камни в свое прошлое, что подчас становится жутко: а было ли в этом прошлом хоть что-нибудь положительного? Я имею в виду и нашу новейшую историю. Такие слова, как «патриотизм», «ро-

дина», сегодня стали словами если не ругательными, то, во всяком случае, не модными. Если их и произносят, то почему-то извиняются! Ясно, что, когда идет борьба за власть, все средства хороши, но ясно также и то, что в этой борьбе никому не удается остаться чистеньким...

Массированная атака на Столыпина велась по всем правилам ведения войны. Очевидно, среди потока обвинений были и справедливые. Но, пожалуй, главный упрек не соответствовал действительности... Однако когда ставишь себе целью добиться желаемого, лучше всего не видеть очевидных вещей и называть белое черным и наоборот. Авось найдутся такие, кто поверит. И находились. В первую очередь — царь и его ближайшее окружение. В России 1911 года не было предреволюционной обстановки. И это лучше всего понимали левые. А не было ее по причине того, что Россия испытывала небывалый подъем почти во всех областях общественной и производственной жизни. Разворачивалось бесплатное начальное обучение, введенное Столыпиным в 1908 году.

Помещичья земля с начала реформы сократилась до 44 миллионов десятин. К 1917 году почти половина крестьян вышли из общины. Резко увеличился сбор урожая. В 1906 году в среднем собирали чуть больше 31 пуда пшеницы с десятины, в 1909-м — уже более 55 пудов, в 1913 году — 58 пудов с десятины. Столыпин планировал ввозить в Россию трактора. Первую партию ввезли лишь в 1912 году. В русских городах в 1911 году потребляли мяса около 88 килограммов на душу населения. Для сравнения скажу: в начале девяностых годов потребление мяса составило 62 килограмма на человека... Министр земледелия А. Н. Наумов в фев-

рале 1916 года докладывал депутатам Четвертой Думы: «В империи имеется до 900 миллионов пудов избытка главнейших хлебов, т. е. излишек одной трети годовой потребности». Разумеется, что этот излишек образовался благодаря фундаменту, заложенному при П. А. Столыпине. Зарплата сельских учителей в 1911 году составляла 360 рублей в год. Стоимость коровы в средней полосе России колебалась от 5 до 7 рублей. Прирост промышленного производства с 1904 по 1916 год в России составил 88 процентов.

Эти скучные на первый взгляд цифры можно приводить еще долго, однако думаю, что для этого есть специалисты более сведущие. Главное — другое. Многие строгие и взыскательные современники уверяли своих сограждан, что реформа не состоялась, да и сам Столыпин с огорчением наблюдал, как она продвигается — со скрипом, с противодействием некоторых уездных князьков: он понимал, что времени отпущено мало и что он вряд ли увидит Россию такой, какой он себе представлял ее через 10—15 лет. Однако мы знаем, что *такой* России не было никогда...

Накануне первой мировой войны германская правительственная комиссия под руководством профессора К. Аугагена, объехав ряд российских губерний, представила в Берлин отчет. Основной вывод, который сделала комиссия, сводился к тому, что по завершении земельной реформы война с Россией будет не под силу ни одной державе мира. Грозен был и мертвый Столыпин!

Конечно, было бы наивно страсти вокруг смещения Столыпина сводить только к борьбе за кресло. Те, кто был против него, отдавали себе отчет, что если реформы состоятся, то многим из них не най-

дется места в новой России, в том числе и царю, ибо стало ясно, что Россия начала движение к цивилизованному парламентаризму. И потому Столыпин их никак не устраивал.

В мае 1911 года в Царском Селе решили, что осенью, предположительно в сентябре, в Киеве должны состояться торжества по случаю открытия памятника деду Николая — Александру Второму, Освободителю. Такие мероприятия готовятся загодя, особенно с точки зрения охраны высочайших особ. По традиции, существовавшей в России с давних времен, всю организацию охраны берет на себя генерал-губернатор той области, куда приезжает царь со своей свитой. На этот раз заместитель Столыпина генерал Курлов решил все вопросы, связанные с охраной, сосредоточить в своих руках. Курлов к тому времени приобрел и силу, и влияние при дворе. Его протекже был не кто иной, как знаменитый в то время тибетский врач Бадмаев, чье влияние на различные петербургские сферы было не меньшим, а, возможно, большим, чем Распутина. К тому же Распутин с Бадмаевым были в очень теплых отношениях. Так или иначе, к июню Курлов уже был произведен в генерал-лейтенанты, имел чин шталмейстера высочайшего двора. Он сделал неслыханный с точки зрения субординации шаг. Подготовив обстоятельный доклад о мерах по охране императорской семьи и свиты, Курлов через голову своего непосредственного начальника отправил доклад на утверждение царю. Николай доклад утвердил. Таким образом, в обход инструкций, принятых традиций, генерал Курлов задолго до начала праздничных церемоний сосредоточил в своих руках все вопросы, связанные с прибытием многочисленных чиновников в Киев

и их охраной. Это произошло как раз в те дни, когда Столыпин решил несколько дней провести в имении своей старшей дочери Марии. Курлов воспользовался отсутствием Столыпина. Когда Петр Аркадьевич вскоре вернулся в Петербург, у него на столе лежало письмо киевского генерал-губернатора Ф. Ф. Трепова, родного брата члена Государственного совета, с прошением об отставке, он получил царское повеление, где было сказано, что за охрану несет ответственность товарищ министра Курлов и всем надлежит выполнять его распоряжения. Трепов расценил такое распоряжение как недоверие к нему со стороны царя и потому испросил отставки у Столыпина как министра внутренних дел, в ведении которого находятся все генерал-губернаторы России. Столыпин ему ответил:

«Дорогой Федор Федорович. Меня подвели. Я твердо верю, что Вашей отставкой Вы не пожелаете омрачить светлых дней пребывания Государя в Киеве и разрешите мне не давать движение Вашей телеграмме. Душевно ваш *Столыпин*».

Столыпин попросил Курлова объяснить. Товарищ министра не моргнув глазом сказал, что это инициатива Государя и в отсутствие министра он вынужден был подчиниться. Столыпин усмехнулся и уже не стал спрашивать про телеграф. Ведь Курлов обязан был сообщить ему телеграфно о решении Государя, если таковое имелось.

Курлов заметил усмешку Столыпина и обиженно сказал, нервно теребя седые усы:

— Вы напрасно меня подозреваете в, так сказать, особом рвении, Петр Аркадьевич. Ведь посудите сами: получив рескрипт, я не мог сказать Его Величеству, что я сначала буду телеграфировать вам; вы, как никто другой, понимаете, что это было бы не-

уместным. — И вдруг, поняв, что сказал нечто лишнее, Курлов бросил на Столыпина молниеносный взгляд и скромно потупился.

— Оставьте, господин Курлов, мы не на балу, реверансы здесь ни к чему. Я просто выполняю то, что мне предписано законом и нашей инструкцией. Того же требую от своих подчиненных. Вы свободны.

Курлов, поклонившись, вышел. Он, возможно, лучше других понимал, что дни Столыпина как политического деятеля сочтены. Но он не мог понять другого. Почему его шеф не ищет под любым предлогом встреч с Государем, прочему он не идет на замирение с Распутиным, который приобрел на императрицу столь сильное влияние, почему он отталкивает от себя людей, которые в трудную минуту могли бы ему помочь. В частности его, Курлова. Гордыня, решил Курлов, и успокоился, найдя точное, с его точки зрения, объяснение поведению министра.

Впервые в своей жизни, если, конечно, не считать обращений к врачу по поводу поврежденной правой руки, Столыпин решил обследоваться у докторов. Сердечные капли помогали все реже, и он вынужден был глотать их слишком часто.

Обследование дало неутешительный итог. У него обнаружилась грудная жаба, или, говоря современным языком, стенокардия. Лечение при стенокардии только одно. Как можно больше покоя и меньше всяческих тревожений. Ну конечно, чаще надо бывать на воздухе. Все это Столыпин знал и без докторов. Он принял решение попросить у Государя отпуск, оставив все дела по Совету министров на попечение Коковцова.

Глава 3

БОГРОВ

НАКАНУНЕ ОСЕНИ

В

начале 1911 года Богров вернулся в Киев из Ривьеры, где он поправлял здоровье. Очевидно, оно пошатнулось после того, как он проиграл 4 тысячи франков из кассы анархистов-коммунистов. Денег у него не было, и он частями их возвращал, вытягивая небольшие суммы из отца.

Он чувствовал, что жизнь потеряла для него смысл. Он ненавидел эсеров, особенно после длительной беседы с Егором Лазаревым, напыщенным и самодовольным стариком, упивавшимся своим прошлым и жившим в тепле и неге. Он ненавидел власть, которая позволяет жить припеваючи многим ее противникам, вроде того же Лазарева, он презирал киевских анархистов, сотрясавших воздух трескучими фразами, но мечтавших об одном — разбогатеть на «эксах».

Впрочем, и добровольно уходить из жизни не имело никакого смысла. Тогда зачем все эти 24 года, которые он прожил бездарно? Больше всего его бесило то, что обыватели смирились с порядками и даже были довольны своей жизнью. В доме Богровых довольно часто говорили о политике и тех, кто ее делает. Отец Богров очень высоко оценивал деятельность Столыпина, говорил, что скоро он выведет страну в передовые державы мира. Сын вяло возражал, замечая, что путь, по которому «будущий диктатор», как он называл Столыпина, ведет, — в обывательское болото и Россия погибнет, даже не заметив этого. Он часто дома говорил, что общество надо встряхнуть, и основательно...

Максималисты настаивали на том, чтобы Богров совершил акт против подполковника Кулябко. Богров презрительно усмехался и отвечал, что он «рук о Кулябку пачкать не будет». Отношения с товарищами снова обострились, и снова по Киеву поползли слухи, что Богров — провокатор. Чтобы чем-то заняться, он пришел в адвокатскую контору старинного друга семьи Гольденвейзера и взял несколько простых дел. Ни любви, ни прилежания, ни самого обыкновенного тщания Богров так и не проявил при ведении этих дел. В суде они были провалены. Гольденвейзеру пришлось возвращать деньги клиентам, а Богрову он заявил, что в его услугах не нуждается. Богров молча пожал плечами и больше уже не делал попыток стать практикующим адвокатом. Отец, обеспокоенный тем, что сын мечется, не может найти приложения своим силам, предложил ему крупную сумму, чтобы Дмитрий открыл собственное дело. Сын отказался.

Писательница Б. Прилежаева-Барская вспоминала об одной из бесед с Богровым в начале

1911 года: «В это время в Венеции разбиралось дело Марии Тарновской. (М. Тарновская, по уверению газетчиков, была женщиной-вамп. Она находила удовольствие в том, что мужчины, причем богатые, из-за нее вызывали друг друга на дуэль. По ее наущению ее новый молодой любовник убил предыдущего, их обоих схватили, был шумный процесс. О Тарновской и ее мужчинах говорили в каждом доме. — В. Х.) Богрова очень занимал этот процесс, в особенности психология двух его участников, Прилукова и Наумова, совершенно поработанных сильной личностью женщины, погубивших из-за нее карьеру и жизнь.

— Денег я бы на нее не пожалел, — сказал Богров, — но я хотел бы посмотреть, как бы она заставила меня убить человека... Нет, я органически не понимаю такого сильного чувства к женщине!

Кто-то из нас спросил его шутливо:

— А вообще, Митя, вы понимаете какое бы то ни было сильное чувство, такое, которое может выбить из привычной колеи, перевернуть вверх дном всю жизнь?

Как-то неожиданно просто он ответил:

— Да, представьте, я способен на сильное чувство, но не на любовь, — на ненависть. Я ненавижу одного человека...

— Кого?

— Столыпина. Быть может, оттого, что он самый умный и талантливый из них, самый опасный враг, и все зло в России от него.

Никто в ту минуту не придавал особенного значения его словам. Многие из нас ненавидели Столыпина. Ничего необычного не было в этом. Удивил немножко только тон, каким это было сказано, искренний и простой».

...В феврале 1911 года из Лукьяновской тюрьмы вышел небезызвестный нам максималист Петр Лятковский. По всей видимости, ему поручили убить Богрова. Но он, прежде чем привести в исполнение приговор, вынесенный в тюрьме его сокамерниками, решил прийти к приговоренному домой и подробно с ним поговорить, чтобы не было непоправимой ошибки. Однако Богров его опередил и через общего знакомого передал, что сам хочет его видеть. Лятковский был очень удивлен. Обычно приговоренные к казни так себя не ведут, а стремятся поскорее скрыться. Вот как описывает в журнале «Каторга и ссылка» эту встречу сам Лятковский:

«Дверь открыла мне горничная, которая не сразу поняла, кого я хочу видеть. В комнату, которая служила чьим-то кабинетом, одновременно со мной из боковой двери другой комнаты вышел Богров. Что мне бросилось сразу в глаза и крайне поразило, — так это то, что он не по летам поседел... Вначале разговор не клеился, он был сух, отрывист, односложен. Постепенно перешли к нашему провалу и суду, и как-то незаметно он сам первый заговорил о том, что его т. т. обвиняют в целом ряде предательств и, обвиняя, указывают на его сотрудничество в охране, одним словом, все убеждены, что «Богров — провокатор»... Он стал оправдываться, выставляя, очевидно, известные ему пункты обвинения, и их опровергал. Коснувшись снова нашего провала, он указал, что, по его глубокому убеждению, виновником нашего ареста является тот студент-грузин, который представил нам свою квартиру на Крещатике для конспиративного собрания. Этот студент через свою квартирную хозяйку был знаком с Кулябко, а, следовательно, остальное все ясно. Богров говорил как о факте, что т. т., не разобравшись в его прово-

каторстве, следили за ним и что кто-то из них собирается его убить.

— Смотрите, как я поседел... Я сознательно ушел от политической работы. Я не могу заняться и общественной работой. Я помощник присяжного поверенного, но выступать не могу: мое имя опозорено. А что бы вы на моем месте сделали?

— Реабилитируйте себя, — ответил я.

— Итак, вы требуете от меня реабилитации, значит, для вас нет сомнений в моей провокации? ...Так вот, пойти и сейчас на перекрестке убить первого попавшегося городского? Это ли реабилитация?

Я ничего не отвечал.

— Скажите мне, — продолжал он, — какой мотив мог бы побудить меня служить в охранке? Деньги? В них я не нуждаюсь. Известность? Но никто из генералов революции по моей вине не пострадал. Женщины? — и он, пожав плечами, ничего не ответил.

Разговор уже стал близиться к концу. Чувствовалась неловкость...

— Вы говорите — реабилитировать себя? — возобновил он разговор. — Только убив Николая, я буду считать, что реабилитировал себя.

— Да кто же из революционеров не мечтает убить Николая? — перебил я его.

— Нет, — продолжал он, — Николай — ерунда. Николай игрушка в руках Столыпина. Ведь я еврей — убийством Николая вызову небывалый еврейский погром. Лучше убить Столыпина. Благодаря его политике задушена революция и наступила реакция.

На это я ему заметил, что нельзя быть таким наивным, чтобы не знать, как трудно будет добраться сквозь толщу всякой охраны и до Николая, и до

Столыпина, что это не под силу одному человеку, а потому необходимо противопоставить этой охране свою организацию боевиков и что я лично готов принять участие в этой организации, а также подыскать для этой цели стойких и решительных товарищей. Но Богров перебил меня, вполне логично указав, что могущий произойти случайный провал послужит новым доказательством его провокации, а потому он решает сам без всякой организации себя реабилитировать; как же добраться до Столыпина — он еще не знает.

— Вы и товарищи еще обо мне услышите, — закончил он».

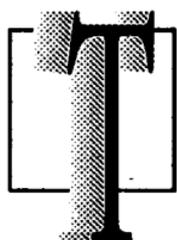
Этот разговор состоялся в марте 1911 года. Максималисты решили повременить с приведением своего приговора в исполнение.

А вскоре в Киев пришло известие, что в конце августа — начале сентября царь и все высшие чиновники прибудут в город для участия в открытии памятника Александру Второму, по случаю 50-летия отмены крепостного права. Богров одним из первых узнал эту новость. Он был вне себя от радости, но ни один из его близких не заметил в нем и тени перемены. С этого момента он стал тщательно готовиться к приезду высочайших особ.



Глава 4

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО СТОЛЫПИНА



ак случилось, что почти все ближай-
шие родственники летом 1911 года
жили на дачах в своих имениях. Мес-
течко Пилямонт, то, что Б. И. Бок
получил в наследство, находилось в
нескольких часах езды от Калноберже.
А в пятидесяти верстах в имении Бече
жил брат Столыпина Александр Ар-
кадьевич. К тому времени он остепе-
нился, считал себя маститым журна-
листом, хотя таковым не был. Между
братьями были очень теплые отноше-
ния. Столыпин, после того как не-
сколько дней погостил у Маши и ее
мужа, решил поехать в имение к бра-
ту. Ольга Борисовна собралась было
ехать вместе с ним, но Петр Аркадь-
евич мягко, но настойчиво уговорил ее
остаться в Калноберже. Очевидно, ему
нужно было поговорить с братом так,
чтобы об этом не знала семья. Ольга

Борисовна не на шутку встревожилась, и те несколько дней, что ее муж находился в Бече, она ежедневно телефонировала, каждый раз находя пустячный предлог. Петр Аркадьевич говорил с братом в основном о своем здоровье, о том, что у него грудная жаба и что поэтому жить ему осталось недолго. Очевидно, врачи его сильно напугали.

— Ты очень мнительный, Петр. Ты просто переутомился... — Александр помолчал. Потом добавил: — Готовятся большие перемещения.

— В отношении меня? — грустно усмехнувшись, не то спросил, не то сказал Столыпин. — Я догадываюсь.

— Ходят слухи, что тебя отправят или послом во Францию...

— Меня французы терпеть не могут, — перебил Петр Аркадьевич, — они полагают, что я англичан больше люблю, — и засмеялся.

— Твоя правая рука Коковцов утверждает, что царь тебе прочит место заместителя на Кавказе.

— Если раньше не убьют, — рассеянно сказал Столыпин.

— Побойся Бога, сейчас уже почти забыли про теракты.

— А... Своих хватает, кому я поперек горла. Давеча мне принесли материалы кое-какие. Знаешь, кто там главный герой? Мой товарищ — господин Курлов.

— Говорят, он метит на твое место.

Столыпин отмахнулся:

— Пусть себе метит. Оно не для него. Знаешь, меня недавно вызвала к себе молодая императрица. Вот уж я был удивлен. После моего доклада о Гришке, мне рассказывали, она слышать не может моего имени.

— Ты мне скажи, только откровенно, Петр, ну что, тебя убудет, если ты его примешь и нормально,

по-человечески с ним поговоришь, а не как шеф жандармов? — Столыпин-младший лучше знал придворную атмосферу, лучше знал, какое место теперь занимает Распутин в обществе, его принадлежность ко второй древнейшей профессии научила Александра Аркадьевича гибкости, беспринципности и умению отираться после плевков. Хотя многие полагали, что Столыпин-младший на плаву лишь потому, что его брат — второй человек в государстве и, как только он будет отправлен в отставку, журналистская звезда Александра Аркадьевича немедленно закатится. Естественно, этого опасался и Александр, потому и давал такие советы.

Столыпин пропустил тираду брата мимо ушей.

— Она пригласила меня к себе, и я в полной растерянности, потому что говорить мне с ней не о чем, а ее просьбы о выдаче денег разным ее ходатаям, она знает, бесполезны и уже года два с этой ерундой ко мне не обращается.

— Я догадываюсь, зачем она тебя вызвала, — с апломбом матерого газетчика сказал Александр, наливая себе водку. — Тебе налить?

Столыпин отрицательно покачал головой.

— Держу пари, она предложила, чтобы ты добровольно ушел в отставку.

— Глупость какая, Александр. Ты-то чего боишься? У тебя все есть.

— Ничего я не боюсь, — покраснев, обиженно сказал Александр.

— Так вот, императрица просила меня, чтобы я отдал распоряжение выделить суммы на финансирование нескольких приютов для детей, которым она покровительствовала. Я удивляюсь, как будто она не знает, когда распределяются деньги на благотворительные нужды.

— Ну а ты?

— Я сказал, что таких возможностей у меня нет.

— Поразительный ты человек. Стоишь на краю пропасти... — Александр осекся.

— Продолжай, — усмехнувшись подбодрил его старший брат.

— Неужели так трудно было сказать, что надо подумать, что, мол, сделаем все возможное... Ты уже почти девять лет сносишься с царским двором — и ничему не научился.

— Прости меня, душа моя, мне пора ехать к родным пенатам... — Столыпин поднялся.

— Позволь, мон шер, ты же собирался еще погостить у меня.

— Труба зовет, как любит говаривать мой злейший друг господин Курлов.

Столыпин возвращался от брата и ощущал неприятный осадок от последнего разговора. Увы, Александр ничего не понял, что происходит с ним, да и разговора не получилось. У него лишь страх в глазах. Страх оттого, что может потерять свою газетенку, что у него не будет такого влиятельного брата. «Не будет...» Он ехал и досадовал на себя, зачем рассказал эту глупую историю с императрицей. А она действительно закончилась глупо. Александра Федоровна разнервничалась, ее шея и руки пошли яркими пятнами, она, чуть не плача, быстро стала говорить, путая слова, какие бедные сиротки и как им надо помочь, а злые люди не хотят этого делать... Столыпин в ответ бормотал именно то, что советовал ему брат, и ретировался, не дождавшись ее слов, приличествующих визиту... Глупо все и нелепо. Вечером совсем поздно позвонил барон Фредерикс и стал укорять Столыпина за то, что он так непочтительно разговаривал с императрицей. Петр Аркадь-

евич стал как-то по-ребячески оправдываться. А Фредерикс строго сказал:

— Нехорошо-с, Петр Аркадьевич. Я к вам всегда относился по-отечески, — и повесил трубку не попрощавшись.

«Старый дурак, что себе позволяет», — изумленно подумал в тот момент Столыпин, глядя на трубку. Поразмыслив, успокоился, поняв, что и этот звонок неслучаен и что надо ждать еще много всяких унижительных звонков, писем и прочих выпадов. Но вот братец! Даже не постарался понять, что происходит вокруг... Это ж надо дать такой совет — пойти на мировую с этим поганцем Распутиным.

В Калноберже он приехал в приподнятом расположении духа, но Ольга Борисовна заметила, что это наигранное. Ее муж был плохим актером.

Через несколько дней случилась большая неприятность. Его дочь, Мария, выкинула... Она прожила долгую жизнь, но детей у нее никогда не было...

Однажды утром, когда Петр Аркадьевич спустился к завтраку, Ольга Борисовна заметила, что его лицо было бледнее обычного.

— Что-то случилось, Петр? — спросила она с тревогой. — Мне не нравится, как ты выглядишь.

— Нет, я в полном порядке. Ты, знаешь, Траугот умер.

Доктор Траугот был университетским товарищем Столыпина. Они встречались весьма редко. Последняя их встреча была несколько лет назад по инициативе Траугота. Он приходил на прием к Столыпину и хлопотал о вспомоществовании для своей клиники.

— Траугот? — удивилась Ольга Борисовна. — Ты телеграмму получил?

— Нет, — спокойно ответил Столыпин. — Он сегодня явился ко мне ночью, сказал, что умер, и просил позаботиться о его семье.

— Да здоров ли ты, Петя? — воскликнула Ольга Борисовна. — Что ты такое говоришь? Ты никогда не был суеверен, ты смеешься над всякими приметами, снами... — Она подбежала к нему и на глазах притихших, испуганных детей обняла за голову. — Ты устал, устал, у тебя не в порядке нервы. Умоляю, подай в отставку, сейчас, немедленно. Телеграфируй царю, что ты болен, а ты действительно болен, я же вижу.

Столыпин легонько отстранил жену.

— Надо послать телеграмму соболезнования вдове. Я подумаю, как помочь бедной семье.

После этих фраз он уткнулся в тарелку и не проронил больше ни слова. Ольга Борисовна закрылась в своей комнате и беззвучно плакала. Она впервые не знала, как помочь своему мужу.

Вечером пришла телеграмма, извещавшая, что прошедшей ночью скончался Траугот.

Ольгу Борисовну не на шутку напугало предвидение мужа. Она постоянно говорила о том, что надо подавать в отставку. Столыпин соглашался с ней и говорил, что он это сделает сразу же после того, как закончатся торжества. Ни на какой Кавказ он не поедет.

— Может, во Францию? — обнимая за талию жену, говорил он. — Все поближе к детям. Будем чаще их видеть.

— Бедная Матя, она так ждала ребенка... Что за молодежь болящая пошла. Кого ни спросишь, сплошь и рядом выкидывают. Почему у меня всегда все было в срок и оч-чень аккуратно.

— Потому что таких женщин, как ты, нет больше на свете.

— Ты серьезно?

— Как никогда. Если я живу, то потому лишь, что ты рядом со мной... За Матю не беспокойся. На рождает еще.

— Ей уже двадцать шесть. Первые роды должны быть много раньше, — вздохнула Ольга Борисовна. — А как бы мне хотелось стать бабушкой. Иногда кажется... не смейся, я сейчас скажу глупость... Мне кажется, что я своих внуков любила бы больше, чем детей.

— Боюсь, что это невозможно, — смеясь говорил Петр Аркадьевич. — Ты же ненормальная мать. Таких матерей в природе не существует.

— Ты когда собираешься в Киев?

— Как бы я хотел туда не ехать, ты бы знала, — помрачнел Столыпин. — Я для всех них уже отыгранная карта, и никто не понимает, почему меня до сих пор не сбросили в колоду. А надо быть, надо соответствовать, надо что-то говорить. А кругом ложь и фальшь.

— Ты так говоришь, Петр, как будто раньше этого не видел.

— Раньше я работал, как ломовая лошадь, и ничего не замечал. Вернее, старался не замечать. А сейчас... Противно.

— Потерпи, родной, всего несколько дней. Будь самим собой, у тебя это замечательно получается. А после десятого сентября у нас с тобой начнется новая жизнь, такая, какой никогда не было, вот увидишь.

— Как хочется, ты бы знала...

— Будем, как прежде, читать вслух Толстого, Апухтина.

— Нет, Толстой, царствие ему небесное, нынче для меня тяжел.

Столыпин поднялся, подошел к своему столу, что-то поискал на нем, нашел листок.

— Вот послушай, что я недавно прочел. Мне так понравилось, что я даже переписал.

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света...¹

— Какое чудо, — прошептала Ольга Борисовна, подходя к нему и положив руки ему на грудь. — Ты у меня... какое чудо. Мы будем жить долго, долго, и с нами никогда ничего не случится.

Он обнял ее, и они молча и долго стояли, прижавшись друг к другу.

Шеф жандармов, товарищ министра внутренних дел Павел Григорьевич Курлов с облегчением вздохнул. Только что обер-прокурор Святейшего Синода Саблер сообщил ему, что церковь не будет возражать против его повторного брака. Два года назад Курлов удачно развелся со своей женой, оставив ей небольшое содержание из ее же наследства. Она пыталась было искать справедливости, но ей намекнули, что в ее интересах довольствоваться тем, что у нее есть. Вскоре Курлов подыскал ей небольшой дом в Москве и отправил ее туда с Богом. Ибо его роман с же-

¹ Стихотворение И. Анненского «Среди миров». — *Примеч. ред.*

ной своего адъютанта в то время вошел в решающую фазу. Адюльтер получил огласку, и однажды Государь ему строго выговаривал. Курлов оправдывался, говорил, что он уже старый, и это его последнее и самое сильное чувство, и если он будет лишен его, то он, Курлов, просто умрет от тоски. У Государя было одно очень интересное свойство. Сам примерный семьянин, бесконечно любящий жену и детей, он всегда с некоторым повышенным вниманием выслушивал бесконечные адюльтерные истории и к некоторым проявлял живейший интерес. Курлову он симпатизировал за его четкую солдатскую выправку, за то, что он, как никто другой, разбирался в лошадях, но, очевидно, еще и потому, что именно он мог хоть как-то нейтрализовать Столыпина, который в очередной раз ничего не понял — не понял, что его опять спас он, Николай, и вместо благодарности Столыпин демонстративно показывает, какой он независимый. Государь видел, что Курлов метит на место своего шефа, но знал, что Павел Григорьевич никогда министром внутренних дел не будет. За ним тянется шлейф не только его губернаторских «подвигов», но и любовных походов. Однако Курлов вызывал у царя восхищение. Занимая такой высокий пост, он не побоялся во всеуслышание объявить об этой маленькой женщине, бросившей своего незадачливого и трусливого мужа. Вскоре Павел Григорьевич официально женился на двадцатипятилетней женщине, а ее бывшего мужа он пристроил в военное ведомство с повышением. Все остались довольны. Но оказалось, что содержания Курлова явно не хватало на возрастающие запросы молодой жены. Под разными предлогами он брал большие суммы в долг, в кредит. Эти деньги быстро таяли. В департаменте полиции существовал так называемый «рептильный

фонд», предназначенный для финансирования тайных агентов и ряда операций, которые не проходили по документам. Говоря современным языком, «черный нал». Как шеф жандармов, Курлов пользовался им достаточно вольно. Был и еще один пункт бесконтрольного расходования государственных средств. Это различные командировки. Курлов брал деньги на устройство приемов, но в поездках, как правило, жил весьма аскетично. И все равно не хватало!

Вскоре Столыпину стало известно, что его товарищ живет на широкую ногу. И что «рептильный фонд» стал чуть ли не собственностью Курлова. Он отдал негласное указание собрать наиболее подробную информацию о состоянии черной кассы, о том, как расходует средства Курлов и, самое главное, кто его финансирует. Уже два с половиной года Курлов был его первым заместителем. Все это время у них были равные отношения, и к Курлову как своему помощнику у него не было замечаний. Однако в последнее время Столыпин замечал, что Павел Григорьевич часто решал вопросы через голову министра, а случай с организацией охраны был просто вопиющим. Столыпин решил просто. Когда папка с материалами на Курлова ляжет к нему на стол, он сразу представит ее Государю. Ибо, если он сначала начнет вести душевительные беседы с Курловым, тот очень быстро найдет себе защитников. В середине августа объемистый материал был уже у Столыпина. Он внимательно его прочел. За Курловым было столько, что московский градоначальник Рейнбот, которого за растрату по настоянию Столыпина осудили на четыре года каторги, оказался непроказившим гимназистом. Петр Аркадьевич также вспомнил, как товарищ министра Гурко, отвечавший в 1906 году за хлебозаготовки, увы, проворовался, и Столыпин настоял, чтобы Гурко судили. Да,

Государь мягкий человек, иногда чересчур добрый, но он не выносил казнокрадов. Пусть сам Государь и решает судьбу своего любимчика. А он, Столыпин, позаботится о том, чтобы дело приобрело общественный резонанс. Конечно, сейчас, когда Курлов готовится к поездке в Киев, самое удобное время представить доклад царю. Но Столыпин понимал, что именно сейчас этого делать нельзя. Государь расценит этот шаг лишь как желание почти опального премьера испортить ему праздник. Он положил дело в несгораемый шкаф, от которого ключи были только у него. И тем самым сделал роковую ошибку.

За несколько минут до отъезда в Киев он решил проверить эту папку. Она была на месте, но в ней не хватало нескольких страниц. Очевидно, кто-то очень торопился, возможно, помешал незапланированный приход министра.

Столыпин подержал папку в руках. Повертел ее. Потом положил на свой стол на самое видное место и как бы ненароком оставил ключи в замке несгораемого шкафа...

Курлову стало известно о существовании секретной папки. Через некоторое время он узнал ее содержание. Уничтожить ее нельзя было. Это пахло скандалом, и ему бы не поздоровилось. Но все же самые компрометирующие документы он сумел уничтожить. Он понял замысел Столыпина. Тот все доложит царю сразу после окончания торжеств. Для Курлова это было сильным ударом и крушением его многих надежд. Он предполагал, что Столыпин, возможно, у себя дома хранит некоторые копии. А значит, министром внутренних дел Павлу Григорьевичу не бывать!.. Но сейчас не до жиру — быть бы живу. Он знал, Столыпин не остановится ни перед чем. Он видел, что министр живет так, словно сжигает за собой

все мосты, и если он не дорожит собой, то почему, позвольте спросить, он будет щадить Курлова, который попал к нему в товарищи вопреки его воле? Так рассуждал Курлов, направляясь в Киев в своем вагоне, и не видел выхода из создавшегося положения. Однако был все же выход, единственный, беспроигрышный, который устроил бы всех...

Поздно вечером подполковник Н. Кулябко ждал у себя на квартире агента Аленского. Он долго не давал о себе знать. Петербургский полковник фон Коттен в разговоре с Кулябко был удивлен той высокой характеристикой, какую получил агент Аленский из уст Кулябко. Когда начальник жандармского управления напомнил ему о деле Мержеевской, которую разоблачили и осудили исключительно благодаря усилиям Аленского, фон Коттен пренебрежительно отмахнулся:

— Она же ненормальная! Бомба в букете цветов, ну сами посудите.

Однако Кулябко верил в своего агента и в доказательство показал фон Коттену два документа:

«5 апреля 1909 года.

На днях состоится третейский суд между Бурцевым и Староверским по обвинению последнего в провокации. Председательствующим будет социал-демократ Мартов. Судьями со стороны Староверского будут Хрусталев и французский адвокат Пти, последний поддерживает теперь связь с революционерами...»

Этот документ не убедил фон Коттена, он возразил, что донесение мало чем отличается от публикации в прессе эсеров или социал-демократов.

Кулябко не стал спорить и остался при своем

мнении. Ибо после того как Аленский снова обнаружился, он прислал еще одно донесение:

«Из Парижа в Киев приехал социалист-революционер Сигизмунд (брюнет, высокого роста, плотный, с торчащими в сторону усами, лицо смугловатое), привлекавшийся вместе с арестованными на съезде в Киеве в 1905 году. Он в настоящее время посещает Берлина, тоже привлекавшегося по тому же съезду...»

В этот вечер Аленский принес список эсеров примерно из 20 человек, с указаниями всех кличек, адресов, явок. Позднее на основании этого донесения Кулябко составил список лиц, подлежащих аресту или высылке в связи с предстоящими празднествами — на 28 страницах. Список был размножен и разослан в соответствующие отделения. В конце августа накануне приезда высочайших особ в Киеве и окрестностях были произведены массовые аресты.

В середине сентября большинство из арестованных было выпущено, но примерно пятнадцать человек было отдано под суд, и большинство из них сослано на длительные сроки в Сибирь.

Таким образом, у Кулябко не было оснований не доверять агенту Аленскому.

Положение у Богрова было чрезвычайно тяжелое. В Киеве среди анархистов и эсеров снова стали ходить упорные слухи о его провокаторстве. Он понимал, что повторного объяснения, подобного тому, какое было у него с Петром Лятковским, может и не быть. Пожалуй, в эти дни он больше всего на свете боялся погибнуть от пули или от петли своих товарищей. Он метался по Киеву, долгое время жил на даче в Потоках, потом снова возвращался в город. Родители заметили, что их сын страшно нервничает. Они собирались ехать за границу. Мать, видя состояние сына, забеспокоилась:

— Митя, так ничего не случится? Могу я ехать спокойно?

— Да что это тебе, мама, все кажется. Конечно, можешь. У меня все в порядке.

12 августа его родители уехали в Берлин. Через несколько дней отец получил от Дмитрия письмо. Вот его отрывок:

«Дорогой папа, вчера дом опустел, уехали Володя и Вера. Впрочем, за последние дни я так забегался, что почти их не видел. У меня есть комбинация, по поводу которой я хотел тебе даже телеграфировать, но потом предпочел написать. Дело в следующем. Через близко знакомого газетного сотрудника М. я познакомился с некоторыми инженерами Гор. Думы. Один из них берется устроить большой заказ на водомеры на 12500 рублей, но при этом, конечно, требует куртаж в размере 400 рублей...

...Дома все в порядке. Р. внес деньги в Общ. Вз. Кред. Извинялся за опоздание и выражал полную готовность внести за следующий срок на месяц раньше. Ф. тоже перебрались. Страшно нудят со всякой мелочью. Успокой маму насчет билетов. От дедушки было письмо и перевод т. Маше 300 р.

Новостей больше никаких.

Целую крепко. *Митя.*

Р. S. Целая история из-за ванны у Р. М-м Р. настаивает на белой эмалированной ванне. О поставленной же слышать не хочет, боясь заразы, так как ванна от И. Идиотка страшная. Можно ли ей предложить поставить свободную медную ванну?..»

Удивительное письмо Д. Богрова своему отцу! Полное мелких бытовых, ничего не значащих для постороннего глаза подробностей, оно усыпляло родительскую бдительность и тревогу. Видно было,

что сын озабочен не только хозяйственными делами, но и предпринимательскими. Оно поразительно еще и тем, что он в деталях обдумывал убийство. В конце августа он был вынужден пойти на суд своих товарищей. Богров понимал: от того, как повернется дело, зависит все. Его жизнь или смерть. Жизнь или смерть Столыпина. Судьба России, наконец.

Неопровержимых улик против него не было. Косвенных — хоть отбавляй. Его приговорили к смерти. Ни один мускул не дрогнул на лице Богрова. Он не защищался и не оправдывался. Он только повторял, что все уже изложил Петру Лятковскому и добавить ему нечего. Единственное, что он попросил, — отложить исполнение приговора на несколько дней. За это время он полностью себя реабилитирует. Ему дали срок до 5 сентября. Оставался еще вопрос о его задолженности. Здесь Богров спорил до хрипоты, доказывая, что сумма явно завышена. Сошлись на 500 рублей. Товарищи предложили внести эти деньги 5 сентября. Богров категорически отказался, заявив, что он готов покрыть эту сумму в ближайшие дни, чтобы на нем не висело подозрение, что он якобы нечистоплотен в обращении с партийной кассой. На следующий день «Степану», своему главному обвинителю, он вручил требуемые деньги, и попросил, чтобы до 5 сентября его оставили в покое. Его действительно оставили в покое, но максималисты установили за ним постоянное наблюдение, опасаясь, что он сбежит из города.

Письмо П. А. Столыпина — Ольге Борисовне:

«20 августа 1911 года.

Душка моя, ангел, хотя я занят день и ночь, но, как всегда, без тебя живу половинною жизнью.

Главного, твоего присутствия, хотя бы невидимого, в спальне, не хватает.

Сегодня были у меня приехавшие из Китая монгольские князья и поднесли... подарки: прелюбопытные четки...

С докладом иду в четверг, надеюсь вечером же уехать в Киев в пятницу же ночью.

Все это может перемениться, так как, быть может, не справлюсь с делами. Нужнее... несколько заседаний Совета, но это очень соблазнительно. Все поручения твои исполнил...

Иду спать, прощай, нежная. *Твой*».

Последнее письмо Петра Аркадьевича Ольге Борисовне:

«28 августа 1911 года. Киев.

Дорогой мой ангел, всю дорогу я думаю о тебе. В вагоне было страшно душно. В Вильне прицепили вагон с... Саблером. В Киев прибыли в час ночи. Несмотря на отмену официальной встречи, на вокзале, кроме властей, собралось дворянство и земство всех трех губерний.

Сегодня с утра меня запрягли. Утром митрополичий молебен в соборе о благополучном прибытии И. В. (Их Величеств. — В. Х.), затем освящение музея Александра, потом приемы земских deputаций, которые приехали приветствовать царя. Это конечно гвоздь. Их больше 200 человек — магнаты, средние дворяне и крестьяне. Я сказал им маленькую речь. Мне отвечали представители всех шести губерний. Мое впечатление — общая, заражающая приподнятость, граничащая с энтузиазмом. Факт и несомненный, что нашлись люди, которые откликнулись и пошли с воодушевлением на работу. Это отрицали и левые и крайне правые, а теперь и сами

прозрели. (В Киеве незадолго до начала торжеств были забастовки. — В. Х.)

Тут холод и дождь, все волнуются, что будет завтра к приезду царя.

Были у меня оба Демидовы — говорят, что Мате лучше, и что она меня лихорадочно ждет. Здесь стоят еще у Генерал-губернатора Кривошеин и Великий Князь Андрей Владимирович (с завтрашнего дня).

Тягостны многолюдные обеды и завтраки.

Целую крепко и нежно, как люблю.

Р. С. Сегодня приезжает Олсуфьев, который кому-то говорил, что он пристыжен и кается».

Государь с императрицей и многочисленной свитой готовился к отъезду из Ливадии, где он отдыхал вот уже третью неделю, в Киев, на торжества. Александра Федоровна очень плохо себя чувствовала. У нее, несмотря на мягкий крымский климат, постоянно по утрам опухали ноги, и Николай каждый день в коляске возил ее на прогулку. Она не хотела ехать в Киев не только из-за нездоровья, но больше из-за того, что ей придется встречаться со Столыпиным, ибо в последние два месяца она даже фамилии его не могла слышать. Царь не настаивал, он раздумывал, как поступить, понимая, что, если государыня не приедет в Киев, это может быть расценено двояко и в любом случае не в пользу императорской семьи. Однако оставалось до отъезда еще несколько дней, и он, как это и делал в большинстве случаев, положился на волю Божью. По утрам он, как и всегда, просматривал газеты, которые специально отбирал для него дворцовый комендант А. И. Спиридович. Впервые Александр Иванович положил Государю газету «Земщина» с отчеркнутой статьей, раньше этого не было, ибо царь сам решал,

что ему читать, а что нет. Подчеркивание вызвало у него вполне понятное любопытство: «...В политике добрых ссор не бывает, изящные приемы уместны в цирке, на фехтовальном турнире, а при защите родного очага от вражеского нашествия позволительно пустить в ход и зубы, и оглоблю. Особенно когда речь идет о борьбе против Столыпина, который только прикидывается русским националистом. Столыпин, сторонник ограничения самодержавной власти в России, покровитель инородцев, хочет очернить А. И. Дубровина (руководителя «Союза Русского народа») в глазах Государя, хочет ввергнуть его в опалу и тем отшатнуть от него патриотов, которые, оставшись как овцы без пастыря, должны, по расчетам бюрократии, покорно пойти под бичом П. А. Столыпина... Нет, не о примирении со Столыпиным идет речь. Колесо истории должно сделать полный оборот и раздавить того, кто сам лезет под него, забыв недавний урок истории: Россию убить нельзя, ее можно только ранить. А ведь раненый русский медведь, мирный и добродушный до этого, задерет любого врага, в том числе и тайного».

Царь отложил газету, задумался. По сути, все правильно, но что-то в этой статейке вызвало в нем раздражение и закипающий гнев. Он приказал вызвать Спиридовича. Тридцативосьмилетний генерал-майор отдельного корпуса жандармов вот уже пять лет был начальником дворцовой охраны. Высокий, красивый, с хорошей выправкой, он нравился царю. И хотя ему иногда нашептывали о бесконечных амурных приключениях Спиридовича, царь в таких случаях брал его под защиту, говоря, что «это дело молодое». Он стоял перед царем навтыжку, всем своим видом изображая восхищение и восторг. Николай смягчился:

— Почему вы решили, милейший Александр Иванович, что мне непременно надо читать вот эту газетку? — Он протянул чуть ли не под нос «Земщину». — Мне кажется, я не давал вам подобных заданий.

Спиридович покраснел:

— Виноват, Ваше Величество. Государыня прочла ее и сказала мне, что это интересно. Я тоже прочитал. И подумал...

— Впредь я вам запрещаю думать, когда вы читаете нечто подобное, ибо вы начинаете думать не в том направлении, Александр Иванович. Если я недоволен своим премьером, это не значит, что подобной дрянью нужно призывать Россию к погромам. И против кого? Против человека, который мною призван исполнять мою волю. Неужели вы, Александр Иванович, не увидели нонсенс этой пачкотни? — И он швырнул газету под ноги Спиридовичу. — Последние месяцы они пишут много всяких глупостей и злобных вымыслов. Передайте вашему другу Дубровину, что я недоволен.

Спиридович бледный стоял перед Государем и только кивал, не зная, что ответить. Царь, видя его состояние, спросил как ни в чем не бывало:

— Вы когда отбываете в Киев?

— Сегодня вечером, Ваше Величество.

— У меня к вам просьба, Александр Иванович, — он подошел к Спиридовичу вплотную и взял его за пуговицу мундира. — Ежели Александра Федоровна поедет с нами, сделайте так, чтобы избежать встреч ее с Петром Аркадьевичем.

— Всенепременно, — ответил вконец ошарашенный Спиридович.

Вечером, упреждая отъезд царской семьи, он уехал в Киев и ломал голову, как выполнить приказ Государя. С учетом той выволочки, которую он ему устроил по поводу злосчастной статейки.

...Перед отъездом в Киев телефон генерала Курлова разрывался от звонков. Особенно усердствовал владелец газеты «Гражданин» князь Вл. Мещерский. Он, как и черносотенные организации, был заинтересован в том, чтобы Курлов стал министром внутренних дел. Его еженедельник играл не последнюю роль в травле Столыпина. Мещерский в числе многих других просителей настаивал, чтобы его включили в правительственную делегацию. Курлов был в сложном положении. С одной стороны, Мещерский с его связями, безусловно, оказывал ему мощную поддержку, в том числе и в некоторых щекотливых финансовых вопросах. С другой же, всему Петербургу была известна репутация Мещерского как престарелого педераста. И не хватало, чтобы он на таких торжествах вдруг оказался рядом с царственной семьей, ибо Александра Федоровна этого имени слышать не хотела. Потому Курлов с болью в голосе сообщил, что всеми списками занимается исключительно господин Столыпин и все вопросы такого рода — к нему, хотя он, Курлов, предлагал включить Мещерского в правительственный список, но Столыпин лишь замахал руками.

«Никак не уgomонится», — злобно сказал Мещерский и повесил трубку. Потом дважды звонил доктор Бадмаев и ничего не просил, а лишь спрашивался о здоровье. Курлова последние несколько месяцев беспокоили сильные боли в пояснице, и злые языки иронизировали, будто Павел Григорьевич надорвался в амурных битвах. И вдруг Курлова осенило: надо Бадмаева непременно взять с собой. Ведь все знают о недомогании товарища министра и многие знают также, что его пользует доктор Бадмаев. План еще не был ясен до конца, но каким-то внутренним сверхчутьем Курлов понял — Бадмаев должен ехать в Киев.

Он пригласил доктора в собственный вагон. За несколько часов до прихода поезда в Киев Курлова скрутило. Он, по его собственному признанию, не мог разогнуть поясницу...

Сергей Юльевич Витте в своем кабинете сидел над «Воспоминаниями», когда слуга ему доложил, что к нему пришли двое — журналист Сазонов и... Распутин.

У Сазонова была репутация грязного, ничем не брезговавшего газетчика, который пробавлялся тем, что писал самые невероятные небылицы про графов, князей, чиновников. Его штрафовали, арестовывали, и этим он поддерживал свою популярность, на которой неплохо зарабатывал. Правда, выходили и осечки. Однажды он опубликовал гнусную статейку, в которой намекал на «неформальные» отношения князя Мещерского с одним из великих князей. Как ему казалось, он все рассчитал правильно. Великий князь подаст на него в суд, начнутся другие публикации, мнения в обществе разделятся, гонорары и заказы посыплются как из рога изобилия. Однако просчитался. Вечером, выходя из ресторана, он столкнулся с тремя мрачными субъектами, они молча били его, стараясь изуродовать лицо. Полтора месяца Сазонов не выходил из дома. Потом его навестил сам Распутин... После долгого разговора Сазонов, припудрив лицо, после чего оно приобрело несколько двусмысленное выражение, согласился поехать к Витте.

...Сергей Юльевич, поразмышляв, приказал принять непрошенных гостей. Сазонов тут же положил на стол карточку, из которой явствовало, что он издатель газеты «Экономист».

— Ну здравствуй, Юльич, — произнес Распутин и

полез с поцелуями. Витте отстранился. — Брезгаешь, значит, — не обидевшись, сказал Распутин. — Но мы людишки негордые. С делом к тебе.

— Слушаю вас, господа, — сказал Витте, продолжая стоять. Следовательно, разговор должен быть короткий.

Распутин усмехнулся:

— Гонору в тебе, Юльич, через него и сидишь в своей конуре...

— Что вам угодно?

— Мы пришли к вам, Сергей Юльевич, по весьма важному и... сугубо секретному делу... Нам стало доподлинно известно, что судьба Столыпина, вашего предшественника, — решена.

— Я, простите, тоже читаю газеты, однако не понимаю, чем могу быть вам полезен.

— Да ты не ершись, не лезь в бутылку-то, а то мы развернемся — и были таковы, — с досадой сказал Распутин. — Вот вить даже сесть не предложил...

— Успокойтесь, Григорий Ефимович. А вы, Сергей Юльевич, уж коли нас приняли, извольте выслушать до конца, а там уж сами будете принимать решение. — Сазонов был спокоен, изредка трогал напудренное лицо.

Витте удивлялся, чего это тот на лицо насыпал, потом, наконец, заметил еле проступавшие синяки, все понял и решил набраться терпения.

— Я продолжаю, с вашего позволения. После торжеств в Киеве Государь твердо решил подписать отставку Столыпина, независимо от того, совпадет ли такое решение с желанием Петра Аркадьевича, который, как всем известно, много горя принес стране, в том числе и вам, Сергей Юльевич.

Витте впился взглядом в Сазонова. Сазонов понял, что попал в точку, и невозмутимо продолжал:

— Мы в ближайшее время отбываем в Нижний для переговоров с Хвостовым. Государь хочет, чтобы Хвостов стал министром внутренних дел... — Сазонов замолчал, поняв, что Витте проглотил наживку. Он смотрел на Витте спокойно и прямо. Распутин, непонятно зачем пришедший вместе с Сазоновым, рассеянно ковырял ногти. Он поднял глаза от своих рук и медленно произнес:

— Одним словом, так, Юльич, мы тебе предлагаем занять пост председателя Совета министров. Желающих много, свято место пусто не бывает, ну а ты нам подходишь, — грубо и цинично закончил Распутин.

Витте знал, что роль Распутина при дворе возрастает, он также знал, что скоро самый ненавистный его враг уйдет с политической арены. Он только одного не мог понять, почему Распутин объединился с этим гнусным газетчиком. Он уже было приготовил обтекаемую фразу, что, мол, не знает, кто их уполномочил, что некорректно вести такие разговоры, когда еще действует Столыпин, но два последних слова Распутина вывели шестидесятилетнего Витте из себя. Он сделал паузу исключительно для того, чтобы поставить на место двух нахалов, и вернулся за свой стол. А Сазонов с Распутиным так и остались стоять и несколько растерялись. Инициатива перешла к Витте:

— Я остался в недоумении, господа.

— Да не сумлевайся, все сделаем как надо, — покивал Распутин, уверенный, что Витте согласится.

— Я остался в недоумении, — вздохнув, повторил Витте. — Кто из нас сумасшедший. Вы, которые предлагаете мне такую вещь, или я, которому вы считаете, что такую вещь можно предлагать. Вон отсюда. — И уткнулся в бумаги.

Они попятились к двери в полной растерянности, и, перед тем как покинуть кабинет, Распутин сказал в сердцах:

— Дурак ты, Витте, как был дураком, так им и остался, прости Господи, — и сплюнул.

— Ступайте, милые, пока вас с лестницы не спустили.

Так до конца и не удалось выяснить, чем руководствовался Распутин, подговорив Сазонова, единственного журналиста, который не «раскатывал» Гришку в своей газете, пойти к Витте. Очевидно, он хорошо знал настроения в Царском Селе, вполне возможно, что кто-то и сказал, что Витте спит и видит, как ему вернуться на прежнюю должность, и более преданного слуги у царя не будет.

Однако на этом Распутин с Сазоновым не успокоились и в августе двинулись инкогнито в Нижний Новгород. Генерал-губернатор А. Н. Хвостов, по утверждению Витте, был «большим безобразником». Ему еще не было и сорока, а вес его приближался к десяти пудам. Он страдал ожорством и обожал заезжих актрис, из-за чего в городе постоянно вспыхивали скандалы определенного свойства. Реляции о злоупотреблениях Хвостова шли в министерство внутренних дел одна за другой. Столыпин после окончания торжеств предполагал послать туда представительную комиссию.

Больше всего возмущала Петра Аркадьевича борьба нижегородского губернатора с отрубам. Он всячески препятствовал желаниям некоторых крестьян выйти из общины. Вплоть до того, что таких смельчаков арестовывали, жестоко избивали в участках, а хутора их поджигали. На грозные письма и предупреждения, лётевшие из столицы, Хвостов не обращал внимания...

Хвостов принял Сазонова и Распутина сдержанно и сторожко слушал льстивые речи и заманчивые предложения. Конечно, он мечтал перебраться в столицу, конечно, он люто ненавидел Столыпина. Он

понимал, что не случайно два этих прохвоста у него появились. Но он был не так глуп, чтобы сразу кинуться к ним объятия. Он осторожно заметил, что Столыпин еще министр и что этот разговор пока неуместен.

Распутин ответил, что, когда Столыпина спихнут, разговора может уже не быть.

— Ты, милый, готовься, а когда в столицу-то переберешься, не забудь, кто тебе первый сказал, — на прощание говорил Хвостову Распутин, и с тем они отбыли из Нижнего Новгорода.

В сентябре, когда Государь назначил на должность председателя Совета министров В. Н. Коковцова, он предложил ему взять Хвостова в качестве министра внутренних дел. Владимир Николаевич твердо сказал, что он в этом случае вряд ли сможет исполнять обязанности, возложенные на него царем. Николай отступился.

Однако А. Хвостов с помощью Распутина все же стал министром внутренних дел. Это произошло в 1915 году, когда практически всеми назначениями ведали два человека: Распутин и Александра Федоровна. В 1918 году Хвостов был расстрелян большевиками.

Некоторые историки писали, что якобы когда Столыпин появился в Киеве и ехал в кортеже, за ним бежал какой-то человек и кричал: «Смерть вижу! Вижу, как смерть идет за ним!» «За кем, за ним?» — спрашивали испуганные зеваки.

«За ним, за Петром, смерть идет по пятам!» — кричал человек. Якобы это был Распутин, который таким образом предвещал гибель Столыпина. Возможно, Распутин так и кричал. Но только не в Киеве. Потому что во время торжеств в Киеве его не

было. Он завершал свой «визит» в Нижний Новгород, и никаких документальных свидетельств нет, чтобы с уверенностью говорить о его пребывании в Киеве, кроме этой байки.

Столыпин с тяжелым сердцем ехал в Киев. Не думаю, что у него были мрачные предчувствия в отношении собственной персоны. Он, как человек дальновидный, чувствующий окружающую его атмосферу, предполагал, сколько ему предстоит вынести унижений, пока будет длиться этот трех-четырехдневный ритуал, необходимый и весьма тягостный. У него было ощущение, что перед грядущей отставкой ему скорее нужно завершить ряд дел, прежде всего для самого себя. Он понимал, что вряд ли его назначат послом во Францию. Во-первых, потому, что там — достойный человек, бывший министр иностранных дел А. П. Извольский. Во-вторых, французам известны его проанглийские настроения, которые, увы, не разделяет император. Он полагает, что Столыпин так увлекся английским парламентаризмом, что готов отменить в России монархию. Смешно, право.

Незадолго до отъезда в Киев Столыпин написал Извольскому письмо в Париж:

«Нам необходим мир, война в следующем году, особенно в том случае, если ее цели будут непонятны народу, станет роковой для России и для династии. И наоборот, каждый год мира укрепляет Россию не только как военную и военно-морскую державу, но и с экономической и финансовой точек зрения. Кроме того, и это еще важнее, Россия год от года внутренне меняется; крепнет самосознание народа и роль общественного мнения. Нельзя сбрасывать со счетов и

наши парламентские установления. Как бы они ни были несовершенны, их влияние тем не менее вызвало радикальные изменения в России, и когда придет время, страна встретит врага с полным осознанием своей ответственности. Россия выстоит и одержит победу только в народной войне».

Письмо это звучит как политическое завещание, как пророчество, которое, увы, полностью сбылось. «Увы», потому что первая мировая война не была народной, и не могла ею быть. Она началась как война династическая. И еще в ней был один момент, который замечательно подметил генерал Скобелев: «Из всех мировых держав только одна Россия может воевать из чувства сострадания». Великая Отечественная война была войной народной, потому Россия и выстояла. Столыпин, возможно как ни один другой российский политик не только его окружения, но и дальнейших времен, глубоко понимал сущность народа, сущность России, сущность ее внешней политики. Особенно это видно из его письма А. П. Извольскому.



Глава 5

КИЕВ

НАКАНУНЕ СЕНТЯБРЯ

В

своей длинной и славной истории Киев еще никогда не принимал такого количества высокопоставленных чиновников, жандармов, тайных и явных агентов. Более полутора тысяч человек готовили приезд Государя и членов царской семьи на праздники, посвященные открытию памятника Александру Второму. И как это часто бывает в России, отцы города сбивались с ног от полной неразберихи, от пьянства столичных придворных офицеров, их постоянных дебошей, а также бесконечных приказов, зачастую противоречивших один другому. Обиженный генерал-губернатор Ф. Ф. Трепов принципиально не выходил из своего дома, демонстративно отстранившись от организации встреч и многочисленных приемов. Через две недели он будет благодарить

судьбу и Господа Бога за то, что ему не дали такой возможности — следить за порядком во время пребывания высочайших соб в его городе...

Жителям запрещено было выходить на балконы, открывать окна на тех улицах, по которым должен следовать царь. Кроме того, было набрано около десяти тысяч добровольцев для организации порядка на улицах. Размах охранных мероприятий был таков, что превзойти его было весьма затруднительно. Курлов на это и рассчитывал. Не заметить напряженных трудов его деятельности было просто невозможно.

Богров был взвинчен до предела. Он заметил за собой слезку. Улучив момент, он встретился с Кулябко и с возмущением спросил, в чем дело. Кулябко ответил, что он не давал такого распоряжения. На следующий день Богров сообщил, что в город прибывают два человека от эсеров с заданием совершить покушение на Столыпина и что они собираются остановиться у него. Однако у него просьба: избавить его от слезки. Через некоторое время человек, следивший за ним, был схвачен. Это оказался Муравьев, числившийся у анархистов боевиком, но по молодости еще не успевший совершить ни одного акта. Перепугавшись, что его схватили, он после непродолжительных угроз сказал, что, во-первых, должен был следить за Богровым, которому товарищи не доверяли, а во-вторых, ему поручили Богрова страховать, если он говорил правду об акте в отношении Столыпина. На всякий случай, по команде Кулябко, Муравьева основательно избили, а потом заперли в одиночку. Кулябко все сведения, поступившие к нему от Богрова и Муравьева, срочно доложил Курлову.

Нина Александровна и Николай Яковлевич — так якобы звали двух прибывших в Киев для организации покушения на Столыпина эсеров, которые, по заявлению Богрова, должны были остановиться у него на квартире. Позднее на спешном судебном процесс Богров с усмешкой заявил, что этих людей он просто выдумал и их в природе не существовало. Следователи легко в это поверили. Однако если вернуться в 1910 год и внимательно прочесть воспоминания Е. Лазарева, то выяснится, что эти имена принадлежали подлинным эсерам. Другое дело, неизвестно, приезжали они в Киев или нет и почему именно этими кличками решил воспользоваться Богров.

28 августа в город прибыл Столыпин. Накрапывал дождь, дул ветер. Больше всего его удивило, что их вместе с капитаном Есауловым никто не встречал. Более того, на вокзале даже не было экипажа, на котором можно было доехать до дома генерал-губернатора, где располагались высокие гости. Утром Столыпин позвонил Курлову и выяснил, что Курлов болен. Но Павел Григорьевич все же подошел к аппарату. Справившись о его самочувствии, Столыпин поинтересовался, почему не было охраны. Курлов, слегка кашлянув, ответил, что охрана была, но Петр Аркадьевич ее не увидел. Это надо было понимать таким образом, что, мол, вот как все хорошо организовано.

Когда Курлову доложили, что агент Аленский сообщил о возможном прибытии в Киев двух террористов, которые предполагают разместиться в

квартире у Богрова, Курлов распорядился установить наружное наблюдение дома, круглосуточно, но в дом не заходить, дабы не спугнуть приезжих. Его приказание филеры (сотрудники наружного наблюдения) выполнили в точности.

Самое удивительное (в скобках замечу — нелепое) было то, что никто из охраны после сообщения Богрова о нелегальном приезде двух террористов для покушения на Столыпина даже не попытался проникнуть в дом Богрова, под любым предлогом — очевидно, по прямому приказу Курлова. При всей своей ограниченности Н. Кулябко все же был не настолько глуп, чтобы на слово поверить своему агенту.

Есть одна, казалось бы, незначительная деталь. Богров довольно часто приходил с донесениями домой к Кулябко. В тот поздний вечер, когда он сообщил о приезде Нины Александровны и Николая Яковлевича, Кулябко ужинал вместе со Спиридовичем, кстати его родственником — они были женаты на родных сестрах, и вице-директором департамента полиции камер-юнкером Веригиным. Гости обратили внимание, что высокий незнакомец с ярким туберкулезным румянцем на щеках держался независимо и даже чуть нагло, и к тому же он картавил. После приватного разговора с Кулябко Богров ушел, Спиридович был удивлен, что этот человек запросто приходит домой к Кулябко. Подполковник рассказал о деле Мержеевской и о том, что ее ликвидировали (в смысле — арестовали) исключительно благодаря Аленскому. Спиридович поморщился:

— Ну и кличка! Вечно их тянет в дурную театральщину...

Кулябко по телефону доложил Курлову о том, что ему сообщил Богров. Курлов долго молчал в

трубку, потом, отдав приказание о наблюдении за домом, сказал, что он немедля скажет об этом Столыпину. Кулябко поинтересовался, как быть с билетами. Аленский настаивает на том, чтобы ему дали пригласительный, чтобы он мог опознать Нину Александровну и Николая Яковлевича. Курлов резко спросил:

— Вы их знаете в лицо?

— Помилуйте, — опешил Кулябко. — Я их отродясь не видел.

— Так как вы собираетесь их опознавать, господин Кулябко? — строго спросил Курлов.

— Я вас понял. Значит, билеты Аленскому выдать? — полувопросительно сказал Кулябко.

— Даже такие вопросы не могут решать без начальства, — вздохнул Курлов и повесил трубку.

— Ну, как там наш без пяти минут министр? — спросил Спиридович, ставший уже пунцовым от выпитого. — Свою жену побоялся сюда взять. Вон ведь сколь здесь молодежи нагнали, а? — очевидно имея в виду самого себя, сказал Спиридович и расхохотался.

— Вы, Александр Иванович, не торопитесь телегу ставить впереди лошади, — сказал Веригин. — Вы же знаете нашего царя-батюшку. Сегодня одно, завтра другое.

Спиридович уставился на Веригина и вдруг сообразил, что он из ведомства Столыпина.

— Вы, господин Веригин, иногда дальше носа своего ничего не видите, я прошу великодушно прощения. Курлов спит и видит себя министром внутренних дел.

— Он им будет всенепременно, — спокойно проговорил Веригин, — если я стану папой римским.

Вся компания дружно захохотала.

...Богров осторожно вышел из дома Кулябко и, пройдя несколько шагов, спрятался под платан. Если за ним слежка — он ее почувствует. Черт их знает, что они там отрядили. Выбрали следить за ним этого неврастеника Муравьева, сейчас в охранке наплетет со страху с три короба, а подозрения опять падут на его голову. Кулябко на его просьбу о билетах ничего не ответил. Если Богров не попадет в Купеческий сад 31 августа или в театр 1 сентября, его план провалится. Потому что из толпы он стрелять не будет: он плохо стреляет и обязательно промахнется. Разумеется, его повесят. И за что? За неудачную попытку покушения. А если и не повесят, то еще хуже; анархисты скажут, что специально промахнулся. Сейчас самую большую опасность он видел со стороны Муравьева. Если вдруг ему придется писать объяснения по поводу этого человека, значит, ему не доверяют и никаких билетов он не получит. Тогда остается одно: пустить себе пулю в лоб. Значит, он не может промахнуться, не должен, такого случая больше у него не будет, даже если у него впереди десять жизней.

Подходя к своему дому на Бибикивском, он сразу увидел, где расставлены филеры, и поморщился — настолько примитивно они вели наблюдение за его домом. Он был уверен, что они не пойдут проверять, приехали ли его «гости». Даже если придут, он всегда скажет, что они уже здесь, в Киеве, а за домом обнаружили слежку. Да, эти люди в природе существовали, но Богров их никогда не видел, однако знал, что на них уже существуют донесения, которые хранятся в Петербурге, у фон Коттена.

Курлов затребовал у Кулябко личное дело агента Аленского. Он долго и подробно его изучал, и ему почему-то стало казаться, что вся эта история слегка

отдает опереткой. Спрашивается, зачем сегодня левым необходимо покушение на Столыпина? Они и так неплохо осведомлены, что карьера его заканчивается. Если покушением на него они хотят искусственно возбудить беспорядки — вряд ли это удастся, сегодня не та ситуация. И получается, думал Курлов, ощущая на своей массивной спине руки Бадмаева, что мне надо раскрыть заговор, поймать убийц в момент, когда они должны будут спустить курок. Если получится, тем более на глазах императора, — все будет замечательно. Если нет... В любом случае те материалы, которые лежат на него у Столыпина, уже не будут иметь громоподобного звучания.

А вдруг они захотят совершить «центральный акт»? Курлов от этой мысли похолодел, а Бадмаев понял его реакцию по-своему:

— Прошу прощения, Павел Григорьевич, у вас здесь сложный участок...

Накануне приезда в Киев Государя со свитой Богров узнал, что Муравьев покончил с собой в полицейском участке. Сначала Богрова охватила бурная радость. Потом он испугался. В этот день он не выходил из дому и вздрагивал от каждого телефонного звонка. Интересная деталь: номер телефона его был — 609...

Вечером в его квартире раздался телефонный звонок. Богров вздрогнул, не решаясь взять трубку. Наконец на ватных ногах подошел к аппарату, снял телефонную трубку. Резкий мужской голос, не представившись, сообщил ему, что он может получить именные билеты в Купеческий сад.

Богров понял, что игра сделана и теперь все зависит только от него. Он подошел к огромному, до пола, зеркалу в бронзовой оправе и стал себя рас-

смаatrивать. Он долго вглядывался в свое отражение, словно прощался с собой. Представлял, как его фотографии через несколько дней заполонят первые страницы всех крупнейших газет мира, какие проклятия посыплются на него со стороны правых. Но ему это будет уже все равно. Родители... По сути, он был одинок. Друзей у него никогда не было. Потому он метался от анархистов к эсерам, ходил в Париже даже на собрания к социал-демократам, куда его затащил двоюродный брат, имевший у них вес. Женщины его не интересовали. Единственное, что разгоняло в нем кровь, — крупная карточная игра, но деньги, которыми он всегда располагал, — такие крохи в сравнении с его амбициями. Он смотрел на себя в зеркало и представлял, как его поведут к виселице. Ведь он должен приготовить фразу — такую, чтобы ее повторяли потомки. Страшно ли ему? Нет, не страшно, хотя он очень боится боли и опытные товарищи рассказывали, как слышен хруст позвонков, когда затягивается петля... Он представил, как затягивается петля на его шее, и его чуть не стошнило... Родители, опять вспомнил он. Мать интересовало только, чтобы он не болел и нормально питался. Отец был занят делами, считал все его увлечения глупостями и полагал, что в мире есть только одно, ради чего стоит жить, — это деньги. Но все равно, им будет невероятно больно и плохо. Но он уже не может по-другому. Он все для себя решил. И то, что он решил, в тысячи раз перевешивало те неудобства, слезы, переживания, которые он доставит своим близким. Если оглянуться назад, на свои двадцать четыре года, то надо откровенно признать: жизнь прошла бездарно. Что дало ему учение, что дали ему поездки за границу, что дало ему так называемое революционное движение? Ничего. Все,

что он знает, чувствует, все, что он умеет, — все это он почерпнул из книг. А для этого необходимо всего лишь научиться читать. Остальное же время потрачено совершенно впустую. Он ничего не умеет и не хочет уметь, потому что его умения никому не нужны. Каждый в этом мире думает только о себе. И дрожит за свою поганенькую жизнь так, что можно подумать, что его жизнь осчастливила человечество. А он не дрожит и не дорожит ею, и через несколько дней он это докажет. Всему миру. Ему рассказывали, как с гордо поднятой головой шел на казнь Каляев. Да кто такой Каляев? Ну убил великого князя. И чего он этим добился? Что изменилось? А вот вы посмотрите, как вся Россия на дыбы встанет, когда он прихлопнет Столыпина, как все содрогнется от этого убийства. А что Россия пойдет совсем другой дорогой, он в этом не сомневался. И эту дорогу выбрал он, Дмитрий Богров.

В 1920 году П. Г. Курлов в Берлине издал свою книжку воспоминаний: «Конец русской династии». Вот что он пишет о том, как узнал о подготовке покушения на своего начальника:

«Кулябко доложил мне, что накануне, совершенно неожиданно, к нему явился бывший сотрудник Киевского охранного отделения Богров, сведения которого были всегда очень ценны и не возбуждали никакого сомнения. По словам Кулябко, Богров сообщил ему, что на днях к нему явился известный партийный работник, которого он знал только по имени и отчеству, и, подтвердив намерение партии совершить крупный террористический акт в последние дни пребывания Государя в Киеве... просил Богрова от имени партии содействия. Далее Бог-

ров передал, что отряд боевиков должен был в целях безопасности приехать в Кременчуг, а оттуда по Днепру в Киев. На обязанности Богрова лежало приготовление для приезжих речной моторной лодки и подыскание в Киеве безопасного для них помещения... Я разрешил лишь предоставить для помещения приезжих квартиру, принадлежащую кому-либо из служащих охранного отделения...

Приведенные данные и принятые в целях освещения их меры я доложил П. А. Столыпину на другой день по приезде в Киев, причем министр сказал мне, что, по его мнению, все эти страхи преувеличены.

Не успел я заснуть, как меня разбудил мой секретарь с докладом, что меня желает видеть по экстренному делу подполковник Кулябко. Тотчас же я его принял и узнал от него, что вечером явился к нему Богров с заявлением, что член партии социалистов-революционеров, приезжавший к нему за несколько дней с просьбой облегчить прибытие из Кременчуга боевиков, сообщил ему об изменении террористической группой своих планов относительно путешествия в Киев, что группа эта уже прибыла и что в составе ее находится неизвестная даже ему женщина, имеющая при себе разрывные снаряды. Она должна была явиться на другой день в 12 часов на квартиру Богрова, где остановился приезжий, для совместного обсуждения дальнейшего плана действий. По его словам, боевая группа не имела в виду цареубийство, а покушение на жизнь председателя Совета министров П. А. Столыпина и министра народного просвещения Л. А. Кассо. Я приказал Кулябко обставить немедленно квартиру Богрова филерским наблюдением, командировав для этой цели опытных агентов.

В восемь часов утра я просил по телефону секретаря министра доложить П. А. Столыпину о необходимости безотлагательного с ним свидания и в 9 часов был уже у него и передал ему подробно сущность доклада Кулябко, добавив, что, если к полудню я не получу бóльших подробностей, мне придется прибегнуть к экстраординарным полицейским мерам, чтобы обеспечить возвращение Государя с маневров, его поездку на ипподром, поездку и возвращение из театра.

За самый театр я был относительно спокоен, так как билеты выдавались комиссией только известным людям, а в театре для тщательного контроля было назначено 15 офицеров и 92 агента дворцовой охраны и Киевского охранного отделения. Тем не менее я просил министра не занимать в этот вечер своего кресла в первом ряду, а сесть в генерал-губернаторскую ложу, от чего он категорически отказался...

Я приказал усилить охрану генерал-губернаторского дома, где проживал П. А. Столыпин, и поручил жандармскому офицеру тщательно проверять лиц, которые пожелали бы видеть министра.... На мое указание, что по возвращении в Петербург я буду просить его разрешения сделать несколько перемен в личном составе розыскных учреждений, П. А. Столыпин сказал мне в ответ:

— Это вы уже сделаете без меня...»

Текст воспоминаний по стилю и содержанию почти ничем не отличается от пространной, на 64 страницах, объяснительной записки, написанной Курловым ровным, почти каллиграфическим почерком после трагических событий в Киеве...

Курлов явно перестарался. Когда 29 августа в Киев прибыл царский поезд, Государь был немало

удивлен, что киевлян на улицах почти не было. На вопрос, в чем дело, Спиридович ему ответил, что в городе весьма тревожная обстановка и Курлов своим агентам сказал, что в этот день царский поезд не придет... Николаю понравилась сообразительность товарища министра.

По протоколу Столыпин должен был приехать на вокзал для встречи Государя. Ему *забыли* прислать какое-либо средство для передвижения. Его телохранитель Есаулов поймал случайную пролетку. Пока они ехали на вокзал, у Петра Аркадьевича было ощущение, что или раздастся выстрел, или кто-то кинется под копыта лошади. Однако на улицах было пустынно, и Киеву, казалось, не было дела до переживаний пока еще второго человека в государстве. Среди многочисленной свиты, встречавшей царя, Столыпин нарочито держался в тени, и потому вполне возможно, что царь его и не заметил. Однако когда экипажи стали разъезжаться, Столыпин, усмехнувшись, понял, что для него не нашлось места. Выручил В. Н. Коковцов, предложивший сесть в его экипаж.

— Вы что-нибудь понимаете, Владимир Николаевич? Объясните мне, что происходит.

— Ах, Петр Аркадьевич, если бы я сам что-то понимал... Я первого числа, с вашего позволения, возвращаюсь в Петербург.

— Возьмите меня с собой, — жалобно-шутливо произнес Столыпин.

— С превеликим удовольствием. Хоть вдоволь поговорим в поезде.

— А вам не страшно со мной ехать вместе? Курлов говорит, что на меня готовится акт.

— Конечно, страшно, — улыбнулся Коковцов. — Но я же не могу бежать следом за моим же экипажем.

Они рассмеялись.

Однажды вечером Столыпину позвонил взволнованный Курлов и сказал, что есть разговор, не терпящий отлагательства.

Петр Аркадьевич сидел за письменным столом в стеганой бархатной куртке с длинными кистями. В кабинете был глубокий полумрак. На столе горела электрическая лампочка. Вошел Курлов.

— Присаживайтесь, Павел Григорьевич. У вас, судя по вашему виду, что-то необычайно срочное. Не так ли? Как поживает ваш радикулит?

— Благодарю, как видите, я уже на ногах.

— Вот послушайте. Мне жена положила томик стихов незабвенного Алексея Николаевича Апухтина, Когда-то в молодости я был с ним очень дружен...

Однако что же вы сидите предо мной?

Как смеете смотреть вы дерзкими глазами?

Вы избалованы моею добротой,

Но все же я король, и я расправлюсь с вами!

Довольно вам держать меня в плену, в тюрьме!

Для этого меня безумным вы признали...

Так я вам докажу, что я в своем уме...

Столыпин замолчал, потом пробормотал:

— Это неинтересно, вот, еще послушайте:

И благости пример подам родному краю.

Я не за казни, нет, все эти казни — вздор.

Я взвешу, посмотрю, подумаю... не знаю...

Столыпин отложил книгу и в упор посмотрел на Курлова.

— Я, Петр Аркадьевич, признаюсь честно, несилён в поэзии, по правде говоря, ничего в ней не понимаю. Я вас беспокоил в столь поздний час, потому что располагаю важными сведениями. — И он подробно изложил то, что позднее описал в своих воспоминаниях.

Столыпину стало тоскливо. Он когда-то сказал фразу, что погибнет от пули охранника. А сейчас ему подумалось, что вот пуля уже готовится. Ее даже не скрывают от него, а хотят все обставить таким образом, чтобы выглядеть в случае чего героями...

Курлов закончил свой рассказ и испытующе смотрел на министра. Он ждал. А вдруг Столыпин скажет, что собрал на него документы. Курлов очень хотел это услышать и знал, что ответить. Но Столыпин только произнес:

— Полагаю, что ваши опасения, как и всегда, несколько преувеличены.

— Я, Петр Аркадьевич, не вправе давать вам советы, но ввиду *ситуации* не кажется ли вам, что будет весьма осмотрительным не участвовать в церемониях?

— Ступайте к Государю и попросите его слезно, чтобы он здесь, в Киеве, издал указ о моей отставке. И я тотчас уеду. Я говорю вполне серьезно.

Столыпин поднялся. Встал и Курлов, грузный, толстый. Выдавил из себя улыбку:

— Вы, Петр Аркадьевич, переутомились. Прошу прощения.

Столыпин подал ему руку для прощания и чуть дольше обычного задержал ладонь Курлова.

— А что, Павел Григорьевич, действительно очень хочется быть министром внутренних дел?

— Шутить изволите, Петр Аркадьевич? — Глаза у Курлова стали маленькими и настороженными.

— Отнюдь, — спокойно отвечив Столыпин, уже выпустив руку своего заместителя. — У вас есть весьма хорошее качество — вы честолобивы. Правда, иногда не в меру. Так вот, вы им обязательно будете... — И добавил, переходя почти на шепот: — Только вы должны меня беречь как зеницу ока.

— Честь имею, — сухо сказал Курлов и по-военному вышел из кабинета Столыпина.

«От страха совсем спятил, — злобно думал Курлов, возвращаясь к себе в гостиницу. — Но ведь прав, черт возьми. Однако... из двух зол выбирают меньшее».

И на том успокоился.

Почти всю ночь Курлов изучал документы, представленные ему на Богрова. И вдруг его осенило. Богров — молодой человек с несколько психопатическим складом характера. В этой брэнной жизни он жаждет только одного — славы, не важно какой ценой, лишь бы она была. Он жаждет славы Герострата, а для этого он не пожалеет ни мать, ни отца... Спиридовичу надо сказать, чтобы глаз не спускал с царя и с тех, кто будет к нему слишком приближаться. «Если что случится с царем, я Спиридовича повешу собственными руками».

Государь на следующее утро вдруг вспомнил, что на вокзале он не видел Столыпина. Вызвав Спиридовича, Николай поинтересовался, где находится председатель Совета министров. Узнав, что с ним все в порядке и что Столыпин был на вокзале и не подошел к нему, царь был в полном недоумении. Он принял Коковцова по его просьбе и пожаловался ему на Столыпина. Коковцов ему рассказал о том унижении, какое пришлось испытать Столыпину..:

Николай вызвал Спиридовича и приказал разобраться, кто лично отвечал за транспорт. В тот же день нашли нескольких стрелочников и отправили из Киева восвояси. А Государь позвонил Столыпину и был с ним весьма любезен. Царь пожелал, чтобы Столыпин принимал участие во всех церемониях, связанных с открытием памятника его деду.

Столыпин после разговора с царем повеселел и даже вслух сказал, подражая кому-то из своих слуг:

— Кажись, уцелею!

До беседы с царем Столыпин писал завещание, в котором просил похоронить там, где его настигнет пуля... Он хотел было порвать его, но, передумав, запечатал в конверт и, левой рукой поддерживая кисть правой, сегодня отчего-то не на шутку разболевшейся, написал крупно черными чернилами: «Вскрыть после моей смерти». Он долго смотрел на этот большой серого цвета конверт и размышлял, нет ли в нем некоей театральности. Не слишком ли часто он в последнее время думает и говорит о смерти, как будто сам *призывает или притягивает* ее... Не есть ли это следствие его нервной истощенности, его постоянного в последнее время нездоровья, усталости от всего, что он делает. Петр Аркадьевич поймал себя на мысли, что последний месяц *заставляет* себя внимательно слушать на заседаниях кабинета. Ему приходится максимально сосредоточиваться, когда к нему приходят посетители. Тяжело стало читать огромное количество документов, но самое страшное другое: он потерял интерес к своему детищу — земельной реформе. Доклады его близкого человека министра земледелия Кривошеина он выслушивал с вежливым безразличием и отделялся общими комплиментарными фразами. Да, он устал бороть-

ся. Устал доказывать очевидное. Возможно, нужно просто элементарно отдохнуть пару месяцев — и все придет в прежнее состояние. Однако он чувствовал в себе и иные перемены. Ему вдруг яснее и понятнее стали люди, которые его постоянно окружали в течение нескольких лет, ему невероятно жалко стало Курлова, по уши влюбившегося в маленькую глупую, взбалмошную женщину, Курлова, решившего, что именно он, Столыпин, его враг номер один, задумавший его погубить и для этого собравший на него документы... Вернусь в Питер и собственноручно уничтожу их, решил Столыпин. Это низко пользоваться их же методами. А лучше я ему их отдам, он в общем неплохой человек, пусть сам борется за свою честь. Надо будет извиниться за вчерашний глупый разговор, за эти мои дурацкие намеки. Что за ребячество, право!..

С той поры как он рассорился с Л. Н. Толстым, он ни разу не открывал ни одну из его книг. Петр Аркадьевич подошел к книжной стене и прямо перед собой увидел сочинения Толстого. Он наугад взял том. И открыл его также наугад. То, что он там прочел, поразило его...

«Засыпая, он думал все о том же, о чем думал все это время, — о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.

«Любовь? Что такое любовь? — думал он. — Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Мысли эти показались ему утешительны. Но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односто-

ронне личное, умственное — не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность...»

Раздался телефонный звонок. Столыпин от неожиданности вздрогнул. Он взял трубку нехотя, думая услышать голос Курлова или кого-нибудь в этом роде.

— Петр, родной, ты здоров? — Это была Ольга Борисовна.

— Здоров и безопасен. Здравствуй, родная. — Столыпин невероятно обрадовался, услышав голос жены.

— Мне сон какой-то нехороший приснился. Я целый день хожу сама не своя.

— С каких это пор мы стали так суеверны? — смеясь, проговорил Столыпин.

Потом он рассказал о том, что ему Государь позвонил *первый* и что был очень милый разговор. И что третьего, самое позднее — четвертого он покидает Киев, приедет к ней в Кейданы, а потом они переберутся в Калноберже, и первое, что он сделает, отключит телефон и отправит в бессрочный отпуск всех порученцев.

Ольга Борисовна успокоилась, услышав, как шутит ее муж, сказала, что получила его письма, и что уже отправила свое, и что она его любит и с нетерпением ждет встречи.

После разговора с женой Столыпин чуть ли не с отвращением положил книгу на место, а конверт бросил в верхний ящик стола. И успокоился окончательно.

30 августа состоялось открытие памятника Александру Второму. На открытие были приглашены делегации от разных слоев населения. Несмотря на ги-

гантские усилия по организации шествия «представителей трудящихся», и здесь не обошлось без накладок. Вспоминает киевский губернатор А. Ф. Гирс:

«Скажите, — начал П. А. свою беседу со мной, — кому принадлежит распоряжение о воспрещении учащимся-евреям участвовать 30 августа, наравне с другими, в шпалерах во время шествия Государя с крестным ходом к месту открытия памятника?» Я ответил, что это распоряжение было сделано Попечителем Киевского учебного округа Зиловым, который мотивировал его тем, что процессия имела церковный характер. Он исключил поэтому всех нехристиан, т. е. евреев и магометан. Министр спросил: «Отчего же вы не доложили об этом мне, или начальнику Края?» Я ответил, что в Киеве находится Министр Народного Просвещения, от которого зависело отменить распоряжение попечителя округа. П. А. Столыпин возразил: «Министр народного просвещения тоже ничего не знал. Произошло то, что Государь узнал о случившемся раньше меня. Его Величество крайне этим недоволен и повелел мне примерно взыскать с виновного. Подобные распоряжения, которые будут приняты как обида, нанесенная еврейской части населения, нелепы и вредны. Они вызывают в детях национальную рознь и раздражение, что недопустимо и их последствия ложатся на голову Монарха».

В конце сентября попечитель Киевского Учебного округа, Тайный Советник Зилов, был уволен со службы».

В последние два августовских дня погода в Киеве установилась. Было нежарко, сквозь перистые облака просвечивало солнце, приближалась мягкая

украинская осень. 31 августа был очень плотный день. Мероприятий было столько, что устроители ломали головы, как сделать так, чтобы на всех побывал Государь. Утром Столыпин принимал земских депутатов, а после них — обязательные маневры. Государь их обожал. Они были устроены в окрестностях села Святошино. По дороге Государь остановился в селе Гуровщина, а на 45-й версте был прием земской и крестьянской deputаций. Из Киева длинная вереница сопровождения выехала очень рано, ведь маневры начинались, когда еще не было десяти часов утра. В половине четвертого дня царь посетил Владимирский кадетский корпус. Все заметили, что его не сопровождала Александра Федоровна. Хотя и приехала в Киев, она по случаю нездоровья не принимала участия в торжественных мероприятиях.

Вечером, в 9 часов, Киевское городское общественное управление и русское купеческое собрание в роскошном саду на берегу Днепра, откуда открывался изумительный вид на только что открытый памятник, был устроен прием. Газета «Киевлянин» сообщала по этому поводу: «В 9 ч. вечера к саду Купеческого собрания изволил прибыть Государь Император в сопровождении Великих княжон Ольги Николаевны и Татианы Николаевны. В сад также прибыли министр Императорского двора генерал-адъютант барон В. Д. Фредерикс, председатель совета министров статс-секретарь П. А. Столыпин, министр финансов статс-секретарь В. Н. Коковцов, министр народного просвещения Л. А. Кассо, обер-прокурор Св. Синода В. К. Саблер и некоторые лица свиты...»

В саду на приеме присутствовало шесть тысяч человек. Несмотря на многочисленную охрану, не-

которые смельчаки умудрились перелезть через забор и лицезреть царя совсем близко. Сразу за забором начинался большой обрыв, который вел к Днепру.

В саду присутствовал и Д. Богров. Револьвер системы «браунинг» он держал в правом кармане брюк и поминутно оглаживал карман. Он стоял в первом ряду встречавших. Мимо него буквально в двух шагах прошли царь, а за ним свита, среди которой в белом мундире и почему-то с темной повязкой на рукаве шел Столыпин. И только когда он увидел их спины, Богров понял, какой замечательный случай упустил. Он повернулся и тут же ушел из сада, раздосадованный и потерянный. Он не мог понять, почему не вытащил револьвера, ведь с двух шагов попасть в Столыпина ничего не стоило...

Приветственные речи между тем были длинными, напыщенными и бесконечными. Государь терпеливо слушал и улыбался, не проявляя и тени усталости или нетерпения. Спиридович незаметно подошел к Государю и, улучив мгновение, что-то ему тихо сказал. Царь в ответ утвердительно кивнул. Сразу после этого вышла депутация от еврейского населения города. Газета «Киевлянин» так повествует об этом событии: «Общественный раввин д-р А. Б. Гуревич после краткой речи имел счастье поднести Государю свитки святой Торы (первые пять книг Библии. — *В. Х.*) и прибавить следующее: «Осчастливьте, Всемилостивейший Государь, принять от нас вечную свидетельницу наших молитв, самое святое, ценное и дорогое в нашей жизни — святую Тору». Государь Император всемилостивейше соизволил принять Тору, благодарить депутацию и велеть передать еврейскому населению г. Киева

Его благодарность за выраженные чувства и поднесенную святую Тору».

Вечер в Купеческом саду удался на славу. Столыпин стоял на высоком берегу и любовался, как солнце, уже зашедшее, еще освещало легким розовым светом тончайшие облака и справа чернел силуэт мощного основательного памятника Александру-Освободителю, царю, которого более всего почитал Петр Аркадьевич. Он смотрел на это величие природы и думал, как она величава и равнодушна. Сменяются цари, правители, он уйдет, сам или с чьей-либо помощью, а вся эта земная красота останется, и ее будут лицезреть с таким же страхом и благоговением потомки и тоже будут думать об одном: зачем они здесь, для чего они пришли в этот прекрасный и непознаваемый мир, и зачем уйдут, и что оставят после себя, хорошего и дурного...

Вчера к нему пришел Георгий Ермолаевич Рейн, председатель медицинского совета их министерства. И тоже пугал: все рассказывал, какой это ужасный город Киев, сколько здесь было покушений, насильственных смертей. Казалось, что весь город проникнут духом насилия. Он рассказывал, как шел суд над революционерами и здание суда было оцеплено войсками, ибо была опасность, что бунтовщиков захотят отбить. И еще он говорил, как однажды приехал в город, когда стояла невероятная жара, а в воздухе носились мелкие снежинки. Только потом он понял, что это был пух из перин после еврейского погрома. Столыпин вспоминал рассказ милейшего Георгия Ермолаевича, смотрел на постепенно темнеющую воду Днепра, слышал за спиной восторженные крики здравниц в честь Государя, и ему никак не хотелось думать и верить, что в мире есть

насилие, кровь, что есть люди, которые хотят лишиться жизни других людей из-за того, что они по-другому думают, по-другому молятся. Да просто хотят жить по-другому. «А я? Я ведь тоже служил и служу насилию, я ведь тоже отправлял людей на смерть, я подписывал смертные приговоры, я отклонял ходатайства о помиловании, и меня не мучила совесть, мне не снились по ночам кошмары, и я всегда полагал, что я делаю дело не богопротивное... Так ли это? Неужели в этом мире, куда приходишь на столь короткое время, нельзя жить без насилия? Может, действительно прав Толстой, что одно насилие, даже самое праведное, рождает другое, и так до бесконечности? Но что же тогда человек, который порождает насилие и сам страдает от него?..»

Уже совсем стемнело. Вот-вот должен начаться фейерверк на Трухановом острове. К Столыпину подошел Г. Рейн.

— Не помешал вам? — вежливо кашлянув, спросил Георгий Ермолаевич.

— Нисколько, — оживился Столыпин. — Какая красота. Неземная.

— Я не хочу быть навязчивым, Петр Аркадьевич, но я вам настоятельно советую надеть панцирь под мундир. Прошу прощения за такую интимную подробность, но ваш товарищ Павел Григорьевич непременно ходит с панцирем.

— Вот как, — рассмеялся Столыпин. — А я все думаю, чего это он так растолстел в последнее время... Ну а если серьезно, кинут бомбу — никакой панцирь не поможет. Уверяю вас, помяните мое слово, панцирь не понадобится... Как это сказал Достоевский? По-моему... «Красота спасет мир». Смотрите, какая красота!

...31 августа в газете «Киевлянин» горожане прочли программу торжеств на 1 сентября:

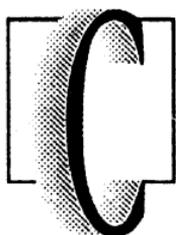
«10 ч. утра — маневры.

4 часа дня. Смотр потешных на Печерском плацу и соколиная гимнастика (там же один рысистый пробег лошадей на приз в честь Его Императорского Величества).

9 часов вечера. Спектакль в городском театре».



Глава 6
ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ
1911 года



С толыпин проснулся в отличном расположении духа. Еще не было шести часов. Он, по обыкновению, сделал гимнастику. Распахнул окно, что настрого запрещалось делать. Но он так устал от охранников в доме, которых было наткано на каждом углу. Однажды Петр Аркадьевич интереса ради насчитал их больше двадцати. Ярко светило солнце, но в комнату повеял утренний осенний холодок. Впервые за последние несколько месяцев Петр Аркадьевич спал крепко, ночью не просыпался, не видел никаких сновидений...

В дверь робко постучали. Дверь приоткрылась, в щель просунулось молодое усатое лицо:

— Извольте закрыть окошко, ваше высокопревосходительство.

— Ступай! — сердито сказал Столыпин, но подчинился.

Он вспоминал вчерашний прием в Купеческом саду, многолюдный и оттого плохо организованный. Агенты и филеры с испуганными лицами шныряли в толпе, и если вдруг нашелся бы какой-нибудь сумасшедший, ему бы никто не сумел помешать. Огромная полицейская машина, которой руководил Столыпин, была неповоротлива, если не беспомощна. Но он сказал Курлову правду, действительно уверенный, что через пару недель реорганизацией, если таковая будет, займется другой человек. Кто? Это уже не его забота. Кто бы ни пришел, ничего существенного сделать не сможет. Так размышлял Столыпин, сидя за массивным письменным столом с зеленым, потертым во многих местах сукном и работал над бумагой, о которой никому не говорил, — над проектом государственного переустройства России. Он усмехнулся, представив на мгновение, какова будет реакция царя, попади эти листочки к нему в руки...

Вспоминая вчерашнюю беседу с главным медиком министерства академиком Рейном, Столыпин с досадой подумал, что они все словно сговорились. И этот глупый и обезумевший от страха подполковник... как его, смешная фамилия — Кулябко, напоминает о себе по десять раз на дню. Едва он о нем подумал, как доложили, что к нему на прием просится Кулябко. «Дурак легок на помине», — вздохнул Столыпин и велел принять. Еще не было восьми часов утра. Кулябко, взмокший больше от волнения, нежели от спешной ходьбы, все вытирал платком шею и умолял не выходить на улицу без охраны, потому что он располагает информацией о готовящемся на него, господина председателя Совета министров, покушении.

— Хорошо, голубчик, я все понял, я все сделаю, как вы мне велите, — отвечивал Столыпин.

Кулябко заулыбался, ему понравилось, как Столыпин сказал слово «велите», и, пятясь, вышел.

Настроение у Петра Аркадьевича вмиг испортилось. Вот уже несколько дней подряд ему все кому не лень говорили о покушении. «Такое впечатление, что они сами его и готовят», — подумал Столыпин. В столовой уже накрыт был стол. Ему предложили холодного шампанского, от которого он отказался, поморщившись, заметил, что это дурная манера — завтракать с шампанским. Около одиннадцати часов он, не предупредив охрану, покинул дом генерал-губернатора и направился в гости к В. Н. Коковцову, остановившемуся совсем рядом. «Запугали так, черти, что боишься собственной тени», — проворчал Столыпин. Он шел по улице прямо, не оглядываясь, и получал от этого огромное удовольствие.

Вспоминает киевский губернатор А. Ф. Гирс: «До крайности встревоженный всем услышанным, я поехал в городской театр, где заканчивались работы к предстоящему в тот же вечер парадному спектаклю, и в Печерск на ипподром. Поднимаясь по Институтской улице, я увидел шедшего мне навстречу П. А. Столыпина. Несмотря на сделанное ему предостережение, он вышел около 11 часов утра из дома Начальника Края, в котором жил. Я повернул в ближайшую улицу, незаметно вышел из экипажа и пошел за министром по противоположному тротуару, но П. А. скоро скрылся в подъезде Государственного Банка, где жил министр финансов Коковцов».

В этот день Алексей Федорович Гирс был произведен в действительные статские советники. Государь, не дожидаясь окончания торжеств, уже раздавал награды...

В половине третьего Столыпин принял депутацию от клуба русских националистов. Разговор по-

лучился несуразный. Обвиняли евреев в том, что они захватили в городе основные строительные подряды, и просили Столыпина навести порядок. Среди депутатов был и В. Шульгин. Он молчал и улыбался, как старому знакомому, глядя на Петра Аркадьевича. Когда депутация ушла, Столыпин попросил Василия Витальевича задержаться и задал ему вопрос, так ли все плохо. Шульгин ответил, да, евреи во многом контролируют строительные подряды, но это потому, что они много работают, почти не пьют, ну и обидно, конечно... Когда прощались, Шульгин сказал тихо:

— Поберегите себя, Петр Аркадьевич. Без вас Россия погибнет.

Столыпин помрачнел: и этот туда же.

— Не преувеличивайте. Россия прекрасно обойдется без каждого из нас. Вопрос только в том, какой она может стать.

Когда за Шульгиным закрылась дверь, Столыпин задумался. Казалось, весь Киев знал, что на Столыпина готовится покушение. Это становилось невыносимым.

«А может, плюнуть на все? И сегодня же после спектакля вместе с Коковцовым уехать в Питер?»

Столыпин представил, как царь на следующее утро узнает, что он уехал, и подумает: испугался. А уж что будут говорить в его окружении, так здесь большой фантазии не нужно. Нет, надо оставаться до конца. Что будет, то и будет. Если уж дано Господом умереть от бомбы, то уж точно не утнешь...

У подъезда его ждал закрытый автомобиль и конная охрана. Круглыми путями они двинулись в сторону печерского плаца.

Вспоминает А. Ф. Гирс: «В пятом часу дня на-

чался съезд приглашенных. На кругу перед трибунами выстроились в шахматном порядке учащиеся школ Киевского Учебного Округа. Незадолго до 5 часов прибыл председатель Совета министров и я встретил его на условленном месте. Выйдя из автомобиля, П. А. Столыпин стал подниматься по лестнице, но встретившие его знакомые задерживали его, и я видел обеспокоенное лицо Кулябко, который делал мне знаки скорее проходить. Мы шли мимо лож занятых дамами. П. А. остановился у одной из них, в которой сидела вдова умершего сановника. Здороваясь с ним и смотря на его обвешанный орденами сюртук, она промолвила: «Петр Аркадьевич, что это за крест у вас на груди, точно могильный?» Известная своим злым языком, дама незадолго до того утверждала, что дни Столыпина на посту Председателя Министров сочтены и она хотела его уколоть, но эти слова, которым я невольно придал другой смысл, больно ударили меня по нервам. Сидевшие в ложе другие дамы испуганно переглянулись, но Столыпин совершенно спокойно ответил: «Этот крест, почти могильный, я получил за труды Саратовского Местного Управления Красного Креста, во главе которого я стоял во время Японской войны».

Затем Министр сделал несколько шагов вперед, и я просил его войти в ложу, предназначенную Совету министров и свите. Министр войти в ложу не пожелал и на мой вопрос почему, возразил: «Без приглашения Министра Двора я сюда войти не могу».

Вскоре прибыл царь с августейшими дочерьми. Он опоздал почти на полтора часа. Столыпин встретил Государя внизу, проводил его в ложу, а сам расположился в соседней.

...Богров, приехавший на печерский плац, был уверен, что он попадет туда без труда. Его остановил филер. Богров показал ему удостоверение охраны.

— Ты что, не знаешь, идиот, что здесь особые пропуска? Пшел вон!

Богров ретировался, а филер не доложил по начальству, что какой-то агент без специального пропуска пытался проникнуть на поле.

Когда уже начался забег лошадей, в ложу, где находился Столыпин, вошел запыхавшийся Курлов.

— Ну, где же ваши террористы? — улыбаясь, спросил Столыпин.

— Мои? Шутить изволите... — еще не отдышавшись, обиженно ответил Павел Григорьевич.

— Как ваша спина?

— Благодарю вас, Петр Аркадьевич, доктор Бадмаев — чудесник. Ежели пожелаете, я вас отрекомендую. Он руку вашу в момент поправит.

— Не извольте беспокоиться. Я наслышан о нем. Да у меня и таких денег нет, чтобы прибегать к его услугам, — простодушно сказал Столыпин, а Курлов чуть не вздрогнул от прозрачного намека.

А. Ф. Гирс: «К 9 часам начался съезд приглашенных в театр. На театральной площади и прилегающих улицах стояли сильные наряды полиции, у наружных дверей — полицейские чиновники, получившие инструкции о тщательной проверке билетов. Еще утром все подвальные помещения и ходы были тщательно осмотрены. В зале, блиставшей огнями и роскошью убранства, собиралось избранное общество. Я лично руководил рассылкой приглашений и распределением мест в театре. Фамилии всех сидевших в театре мне были лично известны, и только 36 мест партера, начиная с 12 ряда, были отправлены в распоряжение заведывавшего охраной генерала Курлова, для чинов

охраны, по его письменному требованию. Кому будут даны эти билеты, я не знал, но мне была известна цель, для которой они были высланы и этого было достаточно. В кармане сюртука у меня находился план театра и при нем список, на котором было указано, кому какое место было предоставлено».

Вечером 1 сентября Ольгу Борисовну вдруг охватило беспокойство. Шел мелкий дождик, порывы ветра раскачивали старые липы. И одна из ветвей постоянно билась в окно кабинета, где находилась Ольга Борисовна. Она приказала растопить печи. Ей было зябко, она куталась в шаль, но озноб не проходил. Дрова упорно не желали разгораться, дым стелился по первому этажу. Ольга Борисовна раздражалась, покрикивала на слуг и говорила, что ей самой впору заняться топкой. Восьмилетний Адик с испугом посматривал на рассерженную мать и не понимал, почему она такая. Она и сама не могла понять, что с нею происходит. Еле сдерживая ярость от нерасторопности слуг, она поднялась на второй этаж к себе в спальню, чтобы принять успокоительные капли. Сильный порыв ветра неожиданно распахнул створку окна, и она стала биться из стороны в сторону. Ветер поднял бумаги с маленького столика и бесцеремонно раскидал их по полу. Ольга Борисовна, едва не плача, бросилась их поднимать. Ставня все колотилась, и вдруг раздался глухой удар о стекло, так что оно треснуло. Ольга Борисовна поднялась и увидела на широком подоконнике большую черную птицу и окровавленный осколок. С душераздирающим криком Ольга Борисовна бросилась вон из комнаты. В коридоре опомнилась и увидела перед собой испуганных детей, а по лестнице с трудом поднималась Наташа.

— Что? Что стряслось, Господи, Ольга Борисовна? — говорила подоспевшая первой кухарка, вглядываясь в побелевшее лицо барыни.

Ольга Борисовна только показывала рукой на спальню и ничего не могла сказать. Подоспел молодой слуга, который растапливал печь, опасно вошел в комнату, увидел подрагивающую птицу на подоконнике, брезгливо взял ее двумя пальцами и швырнул за окно, потом прикрыл створки, тщательно проверил, все ли в порядке. В это время стал хлестать дождь, с такой силой, что казалось, стекло в оконной раме окончательно разлетится. Парень тщательно вытер кровь, убрал перья и сказал ломающимся басом:

— Входите, Ольга Борисовна, птица дурная залетела. Видать, со страху...

Ольга Борисовна отрицательно замотала головой и вместе со всеми стала медленно спускаться по лестнице на первый этаж.

Дрова уже весело потрескивали в печи, дверь на улицу была приоткрыта, и сизый дым, стелясь по полу, нехотя выплывал в дождливую ночь. Ольга Борисовна сидела в кресле и смотрела на огонь. Беспокойство не проходило. Более того, она чувствовала, как тоска все больше завладевает ее душой, всем ее телом и что ее руки начали мелко дрожать. Она вытянула перед собой пальцы и с удивлением смотрела, как они подрагивают.

За окнами бушевала непогода.

...Известный антрепренер Брыкин был на седьмом небе. Сам Государь с августейшими дочерьми соизволит посетить оперу Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Так полностью называлась опера, и Брыкин во всех афишах писал это длинное полное название и видел в том особый тайный смысл. Ему удалось собрать лучшие певческие силы юга России, оркестр был выше всяких похвал. Брыкин специально из Австро-Венгрии выписал одного из лучших концертмейстеров Европы Антона Берглера. Репетиции показали, что в России еще не было подобной постановки — настолько роскошными были костюмы и декорации, настолько великолепными были голоса певцов, хора. Да и постановка была очень дорогой. Но все это должно было с лихвой окупиться...

Улицы, ведущие к театру, выглядели необыкновенно нарядными. Фасад театра был искусно декорирован гирляндами из зелени. Везде были развешаны национальные флаги. Над главным входом на небольшом, изящном балконе в беседке из живых цветов установили бюсты Государя и Государыни. На боковой стене театра, которая была обращена к Фундуклеевской улице, из зажженных электрических лампочек составили вензель августейших особ. По бокам вензеля сияли электрические звезды. Вход в императорскую ложу был со стороны Фундуклеевской улицы, и он был тоже декорирован с большим вкусом.

Вся площадь перед театром была заполнена народом. Все ждали проезда Императора и августейших его дочерей. Газета «Киевлянин» на первой полосе поместила репортаж с места события: «Государь император в автомобиле изволит следовать в Императорский театр. В начале 10 часов вечера Его Им-

ператорское Величество в сопровождении Великих княжон Ольги Николаевны и Татианы Николаевны, великих князей Андрея Владимировича и Сергея Михайловича и наследника болгарского престола княжича Бориса Тырновского, изволил прибыть в театр и поместиться в ложе Начальника Края. Его Императорское Величество изволил сесть с правой стороны ложи; рядом с Его Величеством сели Великие Княжны, а за ними Великие Князья и княжич Борис.

В первом ряду партера поместились: министр императорского двора, генерал-адъютант В. Б. Фредерикс, председатель Совета министров статс-секретарь П. А. Столыпин, военный министр генерал-адъютант В. А. Сухомлинов, министр финансов статс-секретарь В. Н. Коковцов, министр народного просвещения Л. А. Кассо, обер-прокурор Св. Синода В. К. Саблер, а также чины Двора и свиты...»

Богров еще раз осмотрел себя в зеркало. Фрачная пара сидела на нем прекрасно. Он загодя к подкладке фрака пришил нечто вроде кармана, куда очень удобно лег браунинг. На всякий случай Богров зарядил всю обойму — восемь патронов. Один из них он дослал в ствол. Положил револьвер в приготовленное для него место, придиричиво себя оглядел. Нигде ничего не топорщилось. Он надел пенсне, провел рукой по изрядно седым волосам. И вдруг обнаружил, что он абсолютно спокоен. Он быстро выхватил браунинг и прицелился в свое отражение. Вытянув руку, он целился себе в грудь. Рука не дрожала. Он тысячи раз уже представлял, как подойдет к Столыпину почти вплотную и начнет стрелять, он представлял испуганное лицо этого человека, который не успеет

ничего произнести, но поймет сразу, зачем он к нему подошел, и в глазах его будет мольба о пощаде. Те, кто участвовал в «актах», рассказывали, что у всех в глазах одно: мольба о пощаде. Он проверил билет. Все правильно: партер, восемнадцатый ряд. Лишь бы этот дурак Кулябко не отослал его домой, чтобы следить за Ниной Александровной и Николаем Яковлевичем. А если и отошлет, не велика беда — что-нибудь придумаем.

Билет у него стали проверять задолго до подхода к театру. Один офицер уже на площади перед зданием театра придирчиво рассматривал его билет, и Богров заволновался. Проверяющий не торопился его пропускать, все переводил взгляд с билета на Богрова, с Богрова на билет. Богров почувствовал, как у него на лбу выступил пот, и он нервным движением поправил пенсне. Неожиданно рядом оказался Кулябко.

— Господин подполковник, вот этот фрачник... — начал проверяющий офицер.

— Пропустите его, он на задании, — хрипло сказал Кулябко и, ухватив Богрова за рукав, чуть ли не потащил его за собой.

Кулябко шел впереди, за ним спешил Богров и вытягивал билет, едва только ловил на себе вопросительные взгляды проверявших. Так они вошли в театр.

— Ну что? — спросил Кулябко, сверля взглядом Богрова.

— Они должны вот-вот подойти.

— Так они еще не у вас на квартире?

— Нет. Очевидно, почувствовали слежку. Но перед моим уходом был звонок. Я сказал, что слежки нет.

— Ну а он?

— Он ответил, что проверит. Если ее действи-

тельно нет, то придет. — Богров отвечал Кулябко спокойно, глядя ему прямо в глаза.

— Кто им откроет дверь?

— Горничная. Я ее предупредил.

— Что дальше?

— Они должны подъехать к театру к окончанию спектакля.

— Хорошо. Идите в зал. Никуда не уходите со своего места. Я к вам приду.

Кулябко исчез.

Богров вошел в зал. Обилие ослепительно белых мундиров, разодетых дам, которые блистали нарядами и драгоценностями, сам воздух, напоенный запахом цветов и дорогих духов, — все это обрушилось на Богрова с такой силой, что он на мгновение зажмурил глаза. Таких, как он, фрачников в партере были единицы, и они бросались в глаза. Но никто на них не обращал внимания, все ждали, когда в губернаторской ложе появится Государь с дочерьми и великими князьями. Богров сразу увидел Столыпина. Он был, как и все, в белом сюртуке, в окружении нескольких человек. Они оживленно разговаривали, чему-то смеялись. Столыпин взял с собой в театр капитана Есаулова, которому выделили место в противоположном конце зала, в одном из первых рядов. И почему-то ни Есаулов, ни Столыпин на это не обратили внимания.

Еще не приехал Государь, а в зал вошел Кулябко и приказал Богрову срочно ехать домой и проверить, на месте ли его гости. Богров послушно покинул зал, прошел фойе и оказался на улице. В это время толпа заволновалась, все двинулись в сторону Фундуклеевской улицы. Это на автомобиле приехал Государь. Богров стоял в одиночестве в тени старого платана. Площадь постепенно опустела. Очевидно,

спектакль уже начался. Богров не спеша двинулся к театру, но проверяющие офицеры его не пустили, у него оказался надорванным билет. Богров растерялся: из-за такой ерунды все может сорваться. Он потребовал позвать подполковника Кулябко. Через десять минут появился Кулябко:

— Ну что?

— Никого нет... Я боюсь, что они заметили слежку за домом. И могут приехать прямо сюда.

— Идите за мной.

Они прошли в зал. Публика стоя приветствовала Государя в ложе. Он кланялся. Хор на сцене вместе с публикой взволнованно пел «Боже, царя храни!». Закончился гимн. Медленно погас свет в зале, и на какое-то мгновение установилась тишина и темнота.

«Вот сейчас быстро подойти и все сделать», — вдруг подумал Богров и даже чуть приподнялся с кресла, но началась увертюра, и он поспешно сел и все первое действие сидел так, словно прилип к креслу.

Государь находился в ложе ближе к сцене. Перед ним лежала программка, и он то и дело подносил ее к глазам так близко, словно у него была близорукость. Столыпин отказался идти в губернаторскую ложу, расположенную как раз напротив ложи, где разместились царь с августейшими дочерьми и великими князьями. Он ожидал, что последует приглашение барона Фредерикса, с которым он мило беседовал перед началом спектакля, но старик, видимо, забыл это сделать, а Петр Аркадьевич не стал ему напоминать. Опера действительно была хороша, хотя Столыпин, большой знаток, отметил, что арти-

сты поют с чуть преувеличенными жестами, что царица Милитриса (сопрано) слишком толста и слишком вращает глазами, пытаясь привлечь внимание публики, но он отнес сие за счет того, что сидел в первом ряду. А оперу, самую распрекрасную, никогда нельзя слушать в первом ряду. Петр Аркадьевич изредка поглядывал на царскую ложу и видел, что царю опера нравится. Рядом со Столыпиным сидел Коковцов и поминутно вытаскивал часы, с тревогой на них поглядывая. Через два места клевал носом барон Фредерикс. Ему что-то шепнул обер-прокурор Саблер, барон встрепенулся и испуганно покосился на царскую ложу.

К Столыпину наклонился Коковцов:

— Петр Аркадьевич, после второго акта я вынужден вас покинуть.

Столыпин в знак согласия положил свою руку на руку Коковцова и слегка сжал ее. Потом наклонился к министру финансов и тихо сказал:

— Если вам не в тягость, позвоните Ольге Борисовне. Передайте, что я здоров и через пару дней приеду. Государь разрешил мне отпуск.

Закончилось первое действие. Зал с воодушевлением аплодировал. Государь, едва стала светлеть люстра, покинул ложу, следом за ним ушли великие княжны, великие князья и последним уходил княжич Борис, с любопытством оглядывая партер, его роскошное великолепие.

«Вот сейчас», — сказал себе Богров и медленно поднялся со своего восемнадцатого ряда. Столыпин стоял у темно-красного бархатного барьера, отделявшего оркестровую яму от зала. Рядом с ним был всего один человек, да и то не из охраны, судя по

дорогому светло-серому сюртуку, усеянному звездами. Это был Коковцов. Богров не спеша направился по проходу, что в середине зала. Но тут его кто-то грубо схватил за рукав. Богров вздрогнул. Это был Кулябко.

— Я вас прошу срочно еще раз пойти на Бибиковский.

— Как будет угодно.

Богров вышел в фойе и направился в туалетные комнаты. Как бы ненароком он оглянулся, чтобы проверить, не наблюдает ли за ним Кулябко. Но Кулябко в это время устремился на театральную площадь, чтобы еще раз проинструктировать агентов наружного наблюдения.

По мнению высших полицейских чинов, киевский оперный театр был самым безопасным и наиболее защищенным местом во время проведения торжеств. Кто же пришел в театр в тот самый вечер в четверг, 1 сентября 1911 года? Сотрудник ежемесячника «Новая жизнь» А. С. Панкратов в журнале «Исторический вестник» опубликовал большую статью, в которой был подзаголовок «Впечатления очевидца убийства П. А. Столыпина». В частности, он писал: «Дело было обставлено так, что в театр на парадный спектакль пройти было очень трудно. Спектакль устраивался городом. Билеты были расписаны между видными и всем известными людьми: чиновниками, дворянами и общественными деятелями. И многие даже из таких известных людей не получили права входа в театр, так как число мест было ограничено. Часть билетов разошлась между думцами, часть между видными киевлянами: польскими магнатами, состоящими в придворных

должностях или вообще близкими по своим симпатиям к русскому двору, чиновниками, дворянами и военными начальниками. Часть предоставлялась в пользование приехавших с Государем и вообще на киевские торжества людей. Кроме придворных и министров с их приближенными и чиновниками, в Киев съехались со всего Юго-Западного края губернаторы, вице-губернаторы, предводители дворянства, новые земские деятели и начальники военных частей. Наконец нельзя было отказать в билетах членам киевских монархических организаций, которые на торжествах вообще играли очень видную роль и которым везде отводились лучшие места... Наконец, полиция и жандармерия имела в театре видное количество своих представителей; жандармский мундир можно было встретить в антрактах: в фойе, в буфете, в коридорах.... Театр весь был белый от белых платьев женщин и кителей. В партере я насчитал только около 20 франчиков и почти все они были расположены сзади... Минут за десять до приезда Государя в зале появились министры. Вошел Кассо, Сухомлинов, Саблер. Наконец прошел к своему креслу председатель совета министров. Взоры всех были устремлены на него. Он стал лицом к публике. Его румяное лицо было ясно и, повидимому, спокойно.... Наконец, около 9 часов приехал Государь с августейшими дочерьми. Он сел в выступе генерал-губернаторской ложи и был весь открыт театру. Один из великих князей положил на барьере перед Государем афишу, которую Царь уже в темноте долго рассматривал и читал, а затем передал дочерям...»

В первом антракте Петр Аркадьевич сидел в кресле и читал программку. К нему подошел Курлов:

— По-моему, изумительная постановка, Петр Аркадьевич, как вы полагаете?

— Недурно, — Столыпин поднялся. — Задержана ли террористка, о которой вы мне докладывали?

— Не беспокойтесь, мы предпринимаем все, что необходимо. — Курлов слегка поклонился.

— Я не сомневаюсь в этом.

Зазвенел последний звонок. Курлов откланялся и ушел к противоположной стороне партера, где у него было кресло. Начался второй акт.

Алексей Федорович Гирс, сидевший буквально за Столыпиным во втором ряду, дословно слышал этот разговор и, как потом говорил своим близким, он окончательно успокоился, уверившись, что спектакль пройдет без эксцессов. Гирс видел, что Столыпин иногда взглядывал на царскую ложу. И ощущал, как от Столыпина идут мощные волны спокойствия и уверенности. Второй акт вызвал бурю восторгов. Окончание каждой арии или дуэта вызывало долгие аплодисменты. Особенно всех восхитила госпожа Воронец в роли царевны Лебеди. Брыкин специально ее выписал из Одессы и теперь, сидя в своей ложе, радовался, что не ошибся.

Едва зазвучали первые музыкальные такты второго отделения, Богров вернулся на свое место. Он так неловко сел в кресло, что раздался глуховатый звук: это револьвер стукнулся о деревянный подлокотник. Богров весь похолодел от ужаса, ведь курок он снял с предохранителя, револьвер от неосторожного толчка мог разрядиться... Неспешным движением Богров достал платок и отер лоб. Он напряженно смотрел впереди себя, и могло показаться, что действие оперы его целиком захватило, но он не слы-

шал музыки, не видел сцены. Он знал, что сейчас будет второй, и последний, антракт.

Когда загорелся свет и многие стали подниматься со своих мест, в первую очередь дамы, которые выписали свои наряды из Парижа, Столыпин подо­звал капитана Есаулова и попросил его подготовить автомобиль. Третий акт состоял всего из одной картины и, судя по программке, длился всего двенадцать минут. Есаулов спешно покинул зал.

Столыпин стоял, опершись на темно-бордовый барьер, спиной к оркестровой яме, музыканты с любопытством рассматривали премьеры. Царская ложа опустела. Столыпин разговаривал с военным министром Сухомлиновым и шталмейстером графом Потоцким. Коковцов, распрощавшись, уехал на вокзал.

Богров сидел в своем кресле и смотрел прямо перед собой. Потом он не спеша поднялся и быстро направился по проходу. Он никого и ничего не видел, кроме белого мундира Столыпина. Он боялся только одного — что споткнется, задев за что-нибудь, и упадет... Ему казалось, что он идет целую вечность, что обязательно кто-то должен его окликнуть или схватить за рукав, как это сделал ненавистный Кулябко. Он шел и смотрел только на Столыпина.

Очевидно, Столыпин почувствовал этот всепро­жигающий взгляд. Сухомлинов и Потоцкий стояли спиной к стремительно приближавшемуся Богрову. Столыпин поднял голову и в трех шагах от себя увидел молодого человека в пенсне и успел удивиться, почему у него такие седые волосы, но в ту же секунду понял: вот оно, пришло то, чего он ждал последние пять лет, пришло здесь, в Киеве, на глазах императора. И что сделать уже ничего нельзя, но даже если бы и можно, он ничего делать не будет, потому что, наверное, пришло избавление...

Богров, еще сидя в своем восемнадцатом ряду, незаметно вынул револьвер из-под полы фрака и нес его в правой руке, прикрывая сверху театральной программкой... Он отнял левую руку с программкой и с двух шагов совершенно твердой рукой, чему он потом удивлялся, дважды нажал на курок. От волнения он даже не услышал выстрелов, но они были, ибо Столыпин покачнулся. А зал взорвался дикими криками. Богров бросился бежать обратно по проходу, и у того ряда, где он сидел, его схватили и стали нещадно бить...

Столыпин опустил взгляд на мундир и увидел, как красное пятно постепенно проступало на белом сукне. Потом чуть ниже правой груди вспыхнула боль. И он почувствовал, что теряет сознание. Он медленно опустился в кресло и левой рукой стал расстегивать китель. Потом поднял взгляд на царскую ложу, там никого не было, и он зачем-то левой рукой совершил крестное знамение, но его не закончил — не было сил. Вокруг стоял страшный гул, какие-то испуганные лица что-то ему говорили, кричали, а он слышал только боль, которая поднималась все выше и выше и вот уже дошла до горла и ему невозможно было дышать. Ему хотелось сказать, чтобы его скорее вынесли на воздух, но люди почему-то стали стаскивать с него мундир. Горячо полыхнуло в глазах, и он потерял сознание.

Журналист А. Панкратов писал: «Я вышел в коридор, прошелся и когда опять поравнялся со своей ложей, то услышал два один за другим последовавших, сухих, но резких треска. Я подумал: «Что-то лопнуло. Электрический прибор какой-нибудь?» Какой-то офицер пробежал мимо и проговорил:

«Это шампанское». Н. Н. Балабуха (журналист от «Колокола». — В. Х.), выбежавший, кажется, из буфета, сказал: «Выстрелы». Мы бросились в свою ложу. Все это было делом нескольких секунд. У меня в это время промелькнула мысль: «Если покушение, то понятно на кого»... После, когда все делились своими впечатлениями, я узнал, что у всех была эта последняя мысль.

Наша ложа была пуста. Прежде всего до меня донеслось восклицание дамы, сидящей за роялью в оркестре:

— Государь жив.

Мы посмотрели вниз и замерли. П. А. Столыпин стоял бледный, без кровинки в лице и ленивым, вернее, большим длительным движением снимал с себя китель... Я увидел на его белом жилете немного повыше правого кармана красное пятно величиной с медный пятак... он сел в кресло, вытянул как-то неестественно ноги и уронил голову на грудь...»

Алексей Федорович Гирс: «Возвращаясь, я встретил министра финансов Коковцова, пожимавшего руку встречным и говорившего: «Я уезжаю сейчас в Петербург и тороплюсь на поезд». Простившись с министром, я медленно пошел по левому проходу к своему креслу, смотря на стоявшую передо мной фигуру П. А. Столыпина, я был на линии 6 или 7 ряда, когда меня опередил высокий человек в штатском фраке. На линии второго ряда он внезапно остановился. В то же время в его протянутой руке блеснул револьвер, и я услышал два коротких сухих выстрела... П. А. как будто сразу понял, что случилось. Медленными и уверенными движениями он положил на барьер фуражку и перчатки, расстегнул сюртук, и увидя жилет, густо пропитанный кровью, махнул рукой, сказав: «Все кончено».

Затем он грузно опустился в кресло и ясно и отчетливо, голосом, слышным всем, кто находился недалеко от него, произнес: «Счастлив умереть за царя».

Услышав выстрелы, царь спешно вошел в свою ложу. Верный Спиридович, выхватив наголо шашку, бросился по проходу догонять Богрова, и он его бы зарубил, но не дала публика, набросившаяся на террориста. Тогда Спиридович немедленно ринулся обратно к царской ложе и встал внизу перед нею с обнаженной шашкой, демонстрируя, что он зарубит каждого, кто подступится к царю хоть на шаг. Эту картину и застал Государь, увидев раненого и смертельно бледного Столыпина и нелепую фигуру начальника дворцовой охраны.

Тем временем офицеры отбили Богрова от разъяренной публики и увели его. Ему порвали фрак, выбили передние два зуба и основательно разбили лицо.

Вспоминает А. Ф. Гирс: «Я все-таки пошел за убийцей в помещение, куда его повели. Он был в изодранном фраке, с оторванным воротничком на крахмальной рубашке, лицо в багрово-синих подтеках, изо рта шла кровь.

— Каким образом вы прошли в театр? — спросил я его. В ответ он вынул из жилетного кармана билет. То было одно из кресел в 18 ряду. Я взял план театра и список и против номера кресла нашел запись: «отправлено в распоряжение генерала Курлова для чинов охраны».

В это время в помещение, где губернатор Гирс допрашивал избитого, но совершенно невозмутимого Богрова, вбежал Кулябко. Не обращая внимания на Гирса, он заревел:

— Сволочь проклятая, морочил нам голову, мерзавец. — И бросился с кулаками на Богрова. Два

дюжих офицера еле оттащили начальника киевской полиции.

— Что вы себе позволяете, подполковник Кулябко? — строго сказал Гирс. — Его будут судить по всей строгости закона.

— Простите, ваше превосходительство, ради Бога простите меня, дурака, доверился этому жиду. — И Кулябко повалился в ноги Гирсу.

— Встаньте немедленно и... подите вон...

Вспоминает почетный лейб-хирург, академик Г. Е. Рейн: «Я подбежал к Столыпину. Он был бледен. Из кисти правой руки сильно брызгала струйка крови из раненой артерии, окрасившая мой мундир и ленту, а на правой стороне груди, на границе с брюшной полостью, виднелось зловещее кровавое пятно... Орден Св. Владимира, прикрепленный к петлице форменного белого кителя, был прострелен как раз посредине. Выходное отверстие пули не было видно. Другая пуля, прострелившая кисть правой руки, пролетела в оркестр и ранила музыканта. (Эта пуля досталась концертмейстеру, австрийцу Антону Берглеру, рикошетом угодив ему в пах. Он долгое время болел, несколько месяцев не садился в оркестровую яму и писал множество реляций, чтобы ему возместили физический и моральный ущерб, что в конце концов и было сделано, и только после того, как об этом распорядился Государь. — В. Х.) ...Решено было вызвать немедленно карету скорой помощи и перевести раненого в ближайшую частную клинику д-ра Маковского, вполне благоустроенную...»

Между тем в театре происходило что-то весьма странное и нелепое. Публика, забыв о раненом Столыпине, исходила воплями и слезами в своих верно-

подданнических чувствах: какое счастье, что стреляли в Столыпина, а не в царя. Государь тоже повел себя весьма своеобразно. Он из ложи наблюдал за страданиями своего премьера, за тем, как Рейн пытался остановить кровотечение, и не сделал даже попытки подойти к Столыпину. Позднее некоторые пытались это объяснить тем, что Спиридович просил его не подходить, дабы не провоцировать повторного «акта»: а вдруг в зале еще оставались террористы? Вполне возможно, что это так и было. Но дальше — полнейшая безвкусица и бестактность. Публика, уже не знавшая, как еще выразить свои чувства к царю, потребовала исполнять «Боже, царя храни...». Весь театр вместе с хором трижды пел гимн, а наш царь-батюшка стоял в своей ложе и кланялся, кланялся, кланялся...

А в это время в клинику Маковского увозили Столыпина. От невероятно сильной боли к нему вернулось сознание, и он, не в силах сдерживаться, тихо постанывал, а академик Рейн держал его за руку и все приговаривал: «Потерпите, голубчик». Через двадцать минут карета «скорой помощи» была уже в клинике Маковского.

Вспоминает академик Г. Е. Рейн: «В клинику, куда привезли раненого министра, тотчас же приехал профессор хирургии Киевского университета Н. М. Волкович и другие известные хирурги. В клинике же собралась группа сановников, потрясенных грозным пережитым событием и желавших узнать, опасна ли рана и переживет ли Столыпин нанесенное ему ранение и его последствия.

Исследование показало, что пуля, пронизав печень спереди назад, остановилась под кожей спины, справа от позвоночника. Судя по направлению пулевого канала, ни крупные кровеносные сосуды, ни кишечник не были ранены, — поэтому и имея

ввиду, что раны печени не требуют, по господствовавшему среди хирургов мнению, немедленного оперативного пособия, сопряженного при том с тяжелою операциею вскрытия брюшной полости на ослабленном от кровотечения больном, решено было единогласно прибегнуть к консервативному, выжидательному лечению. Для удаления пули, не представлявшей в данный момент никакой опасности для организма, показаний не было».

В ночь на 2 сентября Ольга Борисовна получила телеграмму от Коковцова. Она еще не развернула ее, но уже знала, чувствовала, что с мужем что-то случилось. Она была уверена, что сейчас прочтет, что ее мужа разорвало бомбой. Ранен, телеграфировал Коковцов. Она тут же послала телеграмму старшей дочери, чтобы та немедленно приезжала в Калноберже, ибо у Оли — скарлатина, а ей срочно нужно выехать в Киев.

Тем временем Курлов отдал распоряжение Кулябко, чтобы арестованного Богрова срочно передали в руки петербургских следователей, находившихся под началом Павла Григорьевича и пребывавших в Киеве в большом количестве. Однако прокурор киевской судебной палаты категорически отказался это сделать, заявив, что по закону преступление будет расследоваться там, где оно совершено. Тотчас, еще когда Богров находился в здании театра, по распоряжению генерал-губернатора Ф. Ф. Трепова, взявшего расследование под свой личный контроль, явился судебный следователь по особо важным делам при киевском окружном суде В. И. Фененко. Следом за ним приехал прокурор киевской судебной палаты Чаплинский.

Курлов связался с генерал-губернатором.

— Федор Федорович, я полагаю, что дело столь чрезвычайной важности должно расследоваться исключительно силами петербургской прокуратуры, — начал Курлов. — Вы опытный, заслуженный человек и понимаете, что Государь император лично будет интересоваться ходом следствия. Я ничуть не подвергаю сомнению опыт ваших сотрудников, однако...

— Напрасно вы полагаете, Павел Григорьевич, что, устранив меня от охраны Его Императорского Величества, вам удастся устранить меня от расследования. И я вам обещаю, милейший Павел Григорьевич, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы представить Государю объективную картину этого ужасного происшествия.

— Увы, я вынужден с вами не согласиться, и я буду докладывать об этом Его Величеству. — Курлов еле сдерживал себя от ярости.

— Это ваше право, однако позвольте заметить, что дело по ранению председателя Совета министров мы вам отдадим, если будет письменное на то разрешение Государя императора. Честь имею. — И Трепов, довольный, что хоть частично отыгрался, повесил трубку, не дожидаясь обычных слов при телефонном прощании.

Богров при допросе держался абсолютно спокойно и платком все пытался остановить кровь, идущую у него из разбитых десен. Первое, о чем он заявил, что вся история с Николаем Яковлевичем и Ниной Александровной выдумана от начала до конца.

— Тогда как прикажете понимать вот это? — спросил Фененко и прочел вслух: — «Николай Яковлевич очень взволнован. Он в течение нескольких часов наблюдает из окна через бинокль и видит наблюдение.

Уверен, что за ним поставлено наблюдение скверно, слишком откровенно. Я не провален еще».

Богров усмехнулся, потом сказал:

— Дайте мне другой платок, а то я вам здесь все перепачкаю.

Ему принесли платок.

— Эту записку я написал для Кулябко. Кулябко ваш очень доверчивый...

Фененко потемнел лицом:

— Отвечайте только на вопросы, вам задаваемые.

В это время в комнату вошел ротмистр и что-то зашептал Фененко. Богров деликатно отвернулся в сторону.

— Хорошо, спасибо, — сказал Фененко, и ротмистр исчез.

— Что же вас побудило стрелять в председателя Совета министров, да еще в такой торжественный вечер, в присутствии Государя императора?

— Вам рассказать о моих политических взглядах? — поинтересовался Богров.

— Здесь я задаю вопросы, — стукнул ладонью по столу Фененко. — Или же вы не знаете, как умеют разговаривать у нас?

— Извольте, — тихо ответил Богров и посмотрел на платок. Кровь из десны уже не шла. — На Столыпина я смотрю как на лицо, находившееся при служебных своих обязанностях, а не как на гостя. Я ведь анархист, вам это известно.

Дальше он подробно рассказал, что билет ему был вручен по распоряжению Кулябко, однако Кулябко не был осведомлен об истинных целях Богрова. На вопрос, откуда у него оружие, Богров ответил, что он приобрел его в Берлине в магазине вместе с патронами. Иногда в лесу он тренировался в стрельбе. В общей сложности стрелял раз тридцать.

Допрос Богрова продолжался до пяти часов утра. В четыре часа в комнату вошли четыре офицера и доложили, что у них предписание от товарища министра господина Курлова забрать подозреваемого Богрова для срочного этапирования в Петербург. К этому времени допрос Фененко вел уже не один, а вместе с подполковником отдельного корпуса жандармов Ивановым. Подполковник поднялся во весь свой огромный рост:

— Прошу прощения, господа, но я подчиняюсь только приказу генерал-губернатора его превосходительства господина Трепова. Надеюсь, вы принесли письменное от него распоряжение?

— У нас приказ господина Курлова — забрать подозреваемого в совершении государственного преступления.

— Надеюсь, я изъяснился достаточно внятно, — вкрадчиво произнес Иванов и сделал шаг навстречу столичным офицерам.

— У вас, подполковник, будут неприятности, и не далее как в скором времени, — смутившись, сказал один из пришедших офицеров.

— Не имею чести вас задерживать больше.

— Вы об этом пожалеете.

Все четверо покинули помещение.

— Прошляпили, а теперь локти себе кусают, — пробормотал Иванов и уставился ненавидящим взглядом на Богрова.

— Ну, чем тебе не угодил Столыпин? Отвечай, да поживее.

— Попрошу на «вы», — тихо проговорил Богров и выдержал взгляд Иванова.

— Отвечайте, — сказал уставший Фененко. — Вам был задан вопрос.

— Покушение на жизнь Столыпина произведе-

но мною потому, что я считаю его главным виновником наступившей в России реакции, то есть отступления от установившегося в 1905 году порядка: роспуск Государственной думы, изменение избирательного закона, притеснение печати, иностранцев. Игнорирование мнений Государственной думы и вообще целый ряд мер, подрывающих интересы народа... Никакого определенного плана у меня выработано не было, я только решил использовать всякий случай, который может меня привести на близкое от министра расстояние, именно сегодня, ибо это был последний момент, в который я мог рассчитывать на содействие Кулябко, так как мой обман немедленно должен был обнаружиться...

— Это ваш револьвер? — спросил Иванов, держа в руках оружие и делая ударение на «о».

— Предъявленный мне револьвер принадлежит мне (система «браунинг» № 239630), он был заряжен восемью патронами, из коих один был в дуле, а семь в обойме.

В пять часов утра Богрова с особыми предосторожностями вывели из театра. Перед входом стояла рота жандармов, вызванная Ивановым «на всякий случай». Тут же подъехал тюремный экипаж. Богрова усадили между двумя полковниками, а напротив разместился жандарм с револьвером, направленным на Богрова. За экипажем следовали еще три повозки, набитые жандармами. Иванов опасался, что «столичные штучки» попытаются отбить Богрова. Однако до военной крепости-тюрьмы «Косой капонир» доехали без приключений. Богрова заключили в одиночную камеру.

В эту же ночь Курлов предпринял попытку добиться у судебных властей разрешить Кулябко

встретиться с Богровым. Ему в такой просьбе было отказано.

Рано утром генерал-губернатор Трепов позвонил Фененко и Иванову и приказал выполнять все распоряжения по делу Богрова только в том случае, если они исходят лично от него. О любой иной бумаге, подписанной даже «сами догадываетесь кем», должны незамедлительно телефонировать ему лично.

Едва был арестован Богров, как по распоряжению Кулябко отправлен наряд на Бибиковский бульвар для проведения тщательного обыска на квартире. Ротмистр, проводивший обыск (к сожалению, его подпись под донесением неразборчива), спустя некоторое время написал весьма любопытное донесение, которое, увы, не фигурировало в расследовании. Но каким-то чудом оно уцелело. Часть документов особого отдела департамента полиции лишь недавно стала доступна для исследований и прочтения.

«Начальник Киевского
охранного отделения.

№ 8091

«соверш. секретно»

Доношу Вашему Превосходительству, что 1 сентября в момент покушения на жизнь Шефа жандармов министра Столыпина (ротмистр, очевидно, не был в курсе, что шефом жандармов к тому времени был Курлов. — В. Х.) я находился в наряде у городского театра с народной охраной. Когда в зале театра происходило задержание преступника, подполковник Кулябко, выйдя из театра, встретился со мною и поспешно сказал: «Аленский» стрелял в Столыпина, поезжайте к нему на квартиру и произведите обыск»... Я потребовал от телефонной конторы, чтобы в

случае вызова кем-либо для разговоров телефон № 609 (находится в квартире Богрова), после отбоя, мне сообщался телефон, откуда вызывали. Вскоре после этого телефон в квартире Богрова дал сигнальный звонок. Подойдя к аппарату, я спросил: «Что угодно?» Я услышал незнакомый голос, просимый позвонить Владимира Григорьевича (брат Д. Богрова. — В. Х.) ...я узнал, что с квартирой Богрова разговаривал надзиратель Петербургской полиции... Выяснилось, что со мной разговаривал надзиратель регистрационного бюро Калядин, и объяснился, что назвался именем Розенштейна умышленно.

Через некоторое время телефон в квартире Богрова дал новый звонок и меня спросили: «Это квартира Богрова?» На мой утвердительный ответ последовал вопрос: «Известно ли здесь о происшествии в театре и что у задержанного там оказалась в кармане визитная карточка с фамилией Богрова». Я сказал, что мне ничего не известно, и спросил, зачем это мне сообщается и кто говорит. На это мне ответили: «Вам это неинтересно, говорю вам так, на всякий случай, из гостиницы», а затем последовал отбой. По последовавшему затем сообщению станции со мной разговаривали по телефону № 2624. Я немедленно же вызвал указанный номер, и мне ответили, что это канцелярия бюро по выдаче билетов на торжества и у телефона дежурный. На мой вопрос, кто сейчас разговаривал от них с телефоном № 609, последовал ответ: «никто не разговаривал». Тогда я заявил Начальнику телефонной конторы претензию, что телефонистки, несмотря на отданное распоряжение, путают, и сообщили мне номер телефона, по которому со мной никто не говорил. На это начальник конторы ответил: «Я сам знаю, что с вами говорил номер 2624»... Я вновь вызвал № 2624, прося позвать к те-

лефону кого-нибудь из г. г. офицеров. Затем мне ответили: «У телефона ротмистр Терехов». Я передал ему, что по их телефону кто-то предупредил на квартиру Богрова об инциденте в театре... На это последовал ответ: «Я передаю телефон». На мой вопрос, кто у телефона, ответили: «Курлов». Я повторил свою просьбу, но вместо ответа телефон был передан новому лицу. Затем было сказано: «У телефона ротмистр Козловский». На мой вопрос, кто же говорил, мне ответили: «Павел Григорьевич Курлов»...

О вышеизложенном я доложил подполковнику Кулябко, а затем по приказанию полковника Спиридовича, подал о сем рапорт.

Исполняющий должность начальника
Киевского охранного отделения
ротмистр ».

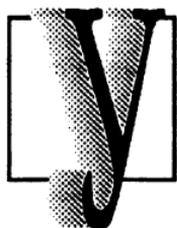
(Подпись неразборчива.)

В своей обширной объяснительной записке, уже через месяц после трагического происшествия в театре, Курлов ни словом не обмолвился о том, что он сам лично звонил на квартиру Богрова. Судя по донесению неизвестного нам ротмистра, звонок этот был спустя 15—20 минут после выстрела в Столыпина. Очевидно, Курлов хотел послать для обыска на квартиру своих людей, но Кулябко исключительно по своему служебному рвению опередил Курлова, не предупредив его об этом...

Это донесение очень долго ходило по различным кабинетам киевского охранного отделения. В конце сентября оно попало в департамент полиции в Петербурге. На нем резолюция: «Доложено 28 сентября 1911 года и принято к сведению»...

Глава 7

ВТОРОГО СЕНТЯБРЯ



тром 2 сентября в Киеве началась паника. Горожане, уверенные, что с минуты на минуту начнутся еврейские погромы, стали к ним лихорадочно готовиться. Одни для того, чтобы принять в них участие, другие же ринулись на вокзал — штурмовать билетные кассы. «Союзники» со своей депутатией пришли к Коковцову, который, уже в вагоне узнав о покушении, отменил свое возвращение в Петербург. По установившемуся порядку, он принял на себя всю полноту власти, как это было и раньше, когда Столыпин уходил в отпуск на несколько дней. «Союзники» заявили, что сейчас очень хороший момент покончить разом с «жидами-революционерами». Все адреса и явки у них имеются. Коковцов им заявил, что он примет все меры к тому, чтобы в городе сохранялся порядок, и с тем

выпроводил черносотенцев, весьма недовольных Коковцовым. Владимир же Николаевич связался с военным министром Сухомлиновым и попросил его срочно ввести в город войска, те, что участвовали в маневрах. Вечером 2 сентября войска уже втягивались в улицы города, а на следующий день некоторые организации от «Союза русского народа» сделали заявление, что нельзя допускать беспорядков, ибо это было бы проявлением неуважения к Государю императору. Еврейское население Киева постепенно успокоилось.

Зато высшие правительственные чиновники пришли в необычайное волнение. Вопрос со Столыпиным решился сам собой. Многих уже не волновало, выживет премьер или нет. Волновало другое: кто займет его место. Кто будет премьером и министром внутренних дел. Царь для себя решил, что совмещать в одном лице эти две должности нельзя — слишком много власти в одних руках. Большую деятельность развил В. Н. Коковцов, не без основания надеявшийся, что царь его назначит премьером. Очень активизировался сенатор А. А. Макаров. Он до 1909 года был товарищем министра, но с приходом Курлова вынужден был уйти из МВД, и вот у него появился шанс взять реванш у Курлова.

Нижегородский генерал-губернатор толстяк Хвостов тоже примчался в Киев, хорошо помня разговор с Сазоновым и Распутиным и кусая теперь локти, что очень холодно их тогда принял.

Российские и зарубежные газеты оповестили мир о злодеянии в Киеве.

«Правительственный вестник» сообщал 2 сентября: «Публика в страшном напряжении нервов настойчиво требует исполнения гимна, занимает

места, ждет. Вздвигается занавес. Государь император приближается к барьеру ложи. На сцене вся труппа исполняет гимн. Артисты, хор опускаются на колени. Многие протягивают сложенные, как на молитву, руки. К небу несется мольба «Боже, Царя храни». Театр в течение нескольких минут дрожал, пока Государь не покинул ложи...»

Мелодраматизм и жуткая фальшь, захлестнувшие театр, распространились на правительственные публикации. Зато сообщения о состоянии здоровья Столыпина были сухи и протокольны, как военные сводки. Тот же «Правительственный вестник» чуть далее сообщал: «К раненому вызваны: лейб-медик Боткин, профессора: Оболенский, Волкович, Афанасьев и другие врачи. Столыпина посетили Министры, лица Государевой свиты...»

По сообщению той же газеты, потрясенная публика узнала, будто Столыпин сказал, что он счастлив умереть за царя. Сам Государь в этот день не приехал в клинику. Очевидно, был очень занят.

Позднее, из Севастополя, Государь написал своей матери подробное письмо. Вот отрывок из него:

«Следующие три дня 31-го, 1-го и 2 сентября я проводил на маневрах и большом параде, а эти вечера были заняты в городе.

Я порядочно уставал, но все шло так хорошо, так гладко, подъем духа поддерживал бодрость, как 1-го сентября в театре произошло пакостное покушение на Столыпина. Ольга и Татьяна были со мною тогда, и мы только что вышли из ложи во время второго антракта, т. к. в театре было очень жарко. В это время мы услышали два звука, похожие на стук падающего предмета; я подумал, что сверху кому-нибудь свалился бинокль на голову, и вбежал в ложу.

Вправо от ложи я увидел кучу офицеров и людей, которые тащили кого-то, несколько дам кричало, а прямо против меня в партере стоял Столыпин. Он медленно повернулся лицом ко мне и благословил воздух левой рукой. Тут только я заметил, что он побледнел и что у него на кителе и на правой руке кровь. Он тихо сел в кресло и начал расстегивать китель. Фредерикс и проф. Рейн помогали ему.

Ольга и Татьяна вошли за мною в ложу и увидели все, что произошло. Пока Столыпину помогали выйти из театра, в коридоре рядом с нашей комнатой происходил шум, там хотели покончить с убийцей, по-моему — к сожалению, полиция отбила его от публики и увела его в отдельное помещение для первого допроса. Все-таки он сильно помят и с двумя выбитыми зубами. Потом театр опять наполнился, был гимн и я уехал с дочками в 11 час. Ты можешь себе представить, с какими чувствами!

Аликс ничего не знала, и я ей рассказал о случившемся. Она приняла известие довольно спокойно. На Татьяну оно произвело довольно сильное впечатление, она много плакала...

Бедный Столыпин сильно страдал в эту ночь, и ему часто впрыскивали морфий. На следующий день, 2 сентября был великолепный парад войскам на месте окончания маневров — в 50 верстах от Киева, а вечером я уехал в гор. Овруч на восстановление собора св. Василия...»

В приведенном отрывке из письма можно невооруженным взглядом увидеть две детали: полную бесчувственность царя и немецкое хладнокровие Александры Федоровны. Как бы ни относиться к Столыпину, но выразить свое сострадание — чувство, которое так свойственно православным, — вот

что ожидалось от царской семьи, отличавшейся своей набожностью. Но нет! Даже смертельно раненному не пришлось независимости, самостоятельности и отсутствия в фигуре ярко выраженного вопросительного знака. Только этим можно объяснить, что царь 2 сентября уехал на свое любимое занятие — посмотреть на маневры.

Очевидно, тон этого письма дал повод некоторым современным беллетристам выстроить фантастический сюжет, в котором царская семья принимала активное участие в заговоре против Столыпина. В одной из публикаций автор настолько осмелел, что написал сцену, где Александра Федоровна подробно интересуется Богровым и его планами относительно Столыпина. Горько и тяжело читать подобные вещи...

После очередной дозы морфия Петр Аркадьевич почувствовал себя настолько хорошо, что попросил подать зеркало. Правая рука сейчас была перебинтована, и он ее совсем не ощущал. Сестра милосердия, жалобно и испуганно смотревшая на Столыпина; держала перед ним большое зеркало. Петр Аркадьевич долго смотрел на свое осунувшееся за ночь лицо и с улыбкой произнес:

— На этот раз я, кажется, выскочу. Бог даст...

Из Петербурга приехал личный врач Столыпина доктор Цейдлер. Произведя осмотр, выслушав врачей, он заявил, что настроен оптимистично, что и сообщил своему шефу. Столыпин с благодарностью кивнул и прикрыл глаза, действие морфия стало ослабевать, боль в правом боку увеличивалась, но ему неловко было об этом сказать, после того как его так обнадежили. Он лишь интересовался, почему до сих

пор не приехала его жена, и попросил, чтобы ее поторопили. Ольга же Борисовна, едва дождавшись приезда Мати, оставила ее с выздоравливающей после скарлатины Олей и уже ехала в поезде, куда ей постоянно приносили телеграммы о состоянии здоровья мужа. Они были оптимистического свойства.

В 9 часов утра открылось маленькое окошко, и рука поставила на полку железную миску, ложку и черный хлеб.

Богров, уже четыре часа проведенный в одиночной камере, так и не смог заснуть. Он все думал о том, что произошло в театре. Больше всего занимал его вопрос, насколько удачны были выстрелы. Если Столыпин остался жив — значит, все напрасно. В том, что его повесят, Богров не сомневался. Он поднялся, взял миску, понюхал ее. От чуть дымящейся темной жидкости шел неприятный запах. Богров вспомнил, что он не ел почти сутки. Вчера, перед тем как пойти в театр, у него было отвращение к еде. Удивительно, но он не испытывал чувства голода. Болело почти все лицо, опухли разбитые губы. Несколько зубов были выбиты, еще несколько сильно качались. Богров подумал, что было бы лучше, если б его вчера убили. Он постучал в железную дверь. Когда открылось окошечко, он попросил принести бумагу и карандаш, что было незамедлительно сделано.

«Дорогие мои, милые папа и мама.

Знаю, что вас страшно огорчит и поразит тот удар, который я вам наношу, и в настоящий момент это единственное, что меня убивает. Но я знаю вас не только за самых лучших людей, которых я встречал в жизни, но и за людей, которые все могут понять и простить.

Простите же и меня, если я совершаю поступок, противный вашим убеждениям.

Я иначе не могу, и вы сами знаете, что вот 2 года, как я пробую отказаться от старого.

Но новая спокойная жизнь не для меня и если бы я даже и сделал хорошую карьеру, я все равно кончил бы тем, чем теперь кончаю.

Целую много, много раз. *Митя*».

Между тем к дому № 33 на Малой Владимирской улице стекался народ. У клиники доктора Маковского стояла молчаливая большая толпа и ждала известий о состоянии здоровья Петра Аркадьевича Столыпина. Каждый час выходил человек и зачитывал краткий бюллетень.

А Россия-матушка в связи с ранением Столыпина разделилась в своих симпатиях и антипатиях на две непримиримые стороны. Черносотенные газеты злорадствовали, забыв о Боге, о сострадании. Ими владело только одно чувство — месть. В таких случаях великолепно проявляется сложная человеческая сущность, и сразу видно, у кого вера в Бога — лишь необходимый ритуал или инструмент в достижении определенных целей. Другие же становятся выше своих эмоций и антипатий. Будем откровенны, к моменту покушения на Столыпина его почитателей и сторонников стало неизмеримо меньше, чем их было, скажем, в 1909 году. Такова уж наша российская сущность. Мы устаем, когда у власти один человек находится, как нам кажется, слишком долго. Он нас начинает раздражать, мы думаем, что он все делает не так. Конечно, это не относится к тоталитарному строю, но там были другие правила игры, и весь наш протест сводился к анекдотам, за некоторые из которых, правда, сажали. Я не говорю о радикалах, которые, всегда были и всегда будут, независимо от

того, насколько жесток или мягок режим. Я говорю о большинстве народонаселения, к которому отношу и себя. Однако русский человек еще и тем отличается от прочих, что ему в обостренной мере свойственно чувство сострадания — одно из самых истинных проявлений христианства. И потому мне уж никак не понятно, когда начинают сводить счеты с больным, или раненым, или, не приведи Господь, мертвым. Но существовали и иные публикации, в которых были печаль и скорбь. В частности, статья в «Санкт-Петербургских ведомостях»:

«Ночь на 2 сентября прошла в городе крайне тревожно. Известие о злодейском покушении на жизнь председателя совета министров разнеслось по городу с быстротою молнии. Когда я в 3-м часу ночи прошелся по улицам города, то видел еще много народа, потрясенного событием.

Того оживления, того ночного движения, которое было все эти дни до злодейства, уже не было. Рестораны, кафе были пусты, как никогда. Извозчики проезжали без седоков. Исчезли веселые изящные автомобили. Погасли все огни. Имя П. А. Столыпина было на устах у всех прохожих... И тут же возгласы, та же невыразимая скорбь...»

2 сентября Кулябко и его подчиненные развили бешеную и, как потом оказалось, совершенно бесполезную деятельность. Дом на Бибииковском бульваре был окружен чуть ли не целым войском. Обыск в 12 комнатах квартиры Богровых производило более 70 человек. С утра 2 сентября в Киеве и окрестностях стали производить повальные аресты. В первую очередь арестовали всех родственников Богрова, вклю-

чая женщин. Потом на основании картотеки, существовавшей в департаменте полиции в Петербурге, стали арестовывать всех, кто носил фамилию Богров. Николаю Кулябко, для того чтобы спасти свою репутацию (а значит, и свою должность), необходимо было доказать, что существовал широкомасштабный заговор. И чем больше он и его подручные производили арестов, тем меньше было надежд. Богров очень добросовестно воспользовался советами старого эсера Егора Лазарева, говорившего ему, что если он задумал одиночный акт, то должен посвящать в него как можно меньше людей. Максималисты, которые поставили его перед смертным выбором, — не в счет.

В. И. Фененко в «Косом капони́ре» допрашивал Богрова. Перед этим были приняты все необходимые предохранительные меры. На территорию «Косого капони́ра» можно было попасть только в случае, если был выпущен специальный пропуск. После того как Курлов узнал, что Кулябко отказано во встрече с Богровым в категорической форме, он оставил мысль этапировать террориста в Петербург. Позднее Ф. Ф. Трепов на вопросы своих приближенных, почему он не отдал Богрова Курлову, сказал просто:

— Да они бы его пристрелили при попытке к бегству. Сколько у Павла Григорьевича было таких случаев, когда он был начальником управления тюрем. Я сделаю все для того, чтобы он сам там посидел.

Вечером 2 сентября Курлов в сопровождении своей охраны явился в здание генерал-губернатора и заявил охране, что ему поручено опечатать кабинет Столыпина. Охрана не перечила. В кабинет Курлов вошел стремительно и по-хозяйски. Лишь только он подошел к столу Петра Аркадьевича, как увидел темно-серую папку без надписи. Едва он ее открыл, как сразу понял: это то, что он искал и чего он боялся.

Он положил папку в свой черный портфель. Сопровождавший чиновник от генерал-губернатора робко заметил, что необходимо сделать опись. На что Курлов спокойно сказал:

— Это секретная документация, связанная с организацией системы охраны Его Императорского Величества. Она не подлежит описи.

Курлов с облегчением вздохнул. Отныне судьба Столыпина его не волновала. Но, как покажут более поздние события, он рано обрадовался...

Фененко продолжал допросы Богрова. Богров на втором допросе заявил:

«Я не признаю себя виновным в том, что состоял участником преступного сообщества, именующего себя группой анархистов и имеющего целью своей деятельности насильственное ниспровержение установленного основными законами образа правления, но признаю себя виновным в том, что, задумав заранее лишить жизни председателя совета министров Столыпина, произвел в него 1 сентября сего года два выстрела из револьвера Браунинга и причинил ему опасные для жизни поранения, каковое преступление, однако, совершено мною без предварительного уговора с другими лицами и не в качестве участника какой-либо революционной организации...

...На вопрос о том, почему я через короткий промежуток времени из сотрудников охранного отделения снова сделался революционером, я отказываюсь отвечать. Может быть, по-вашему это нелогично, но у меня своя логика. Могу только добавить, что в киевском охранном отделении я действовал исключительно в интересах сего последнего...

Еще в 1907 году у меня зародилась мысль о со-

вершении террористического акта в форме убийства кого-либо из высших представителей правительства... В нынешнем году я снова вернулся к ней, причем я решил убить министра Столыпина, так как я считал его главным виновником реакции, находил, что его деятельность для блага народа очень вредна...

...Вернувшись из Купеческого сада и убедившись, что единственное место, где я могу встретить Столыпина, есть городской театр, я решил непременно достать туда билет и с этою целью пошел в охранное отделение и ввиду того, что Кулябко уже спал, я написал предъявляемую мне записку. В этой записке я сообщил, что у Нины Александровны имеется бомба, что у Николая Яковлевича имеются высокопоставленные покровители, и что покушение на Государя не состоится из опасения еврейского погрома. Я рассчитывал, что эта запись произведет на Кулябко серьезное впечатление и что он примет меня лично и тогда я выпрошу билет на спектакль. Так оно и вышло».

Фененко задал ему вопрос, почему же все-таки Столыпин, ведь и Государь был доступен для террористического акта. Богров объяснил, что он не планировал «центральный акт», потому что он еврей, а значит, могли бы начаться еврейские погромы. Фененко этот вопрос оформил отдельным протоколом, но Богров отказался его подписать.

В тот же день Столыпин попросил, чтобы к нему срочно приехал Коковцов. Входя в палату, Владимир Николаевич услышал стоны. Но едва Коковцов вошел, Петр Аркадьевич взял себя в руки:

— Владимир Николаевич, я чуть было не забыл. Возьмите ключ из моего жилета, он в шкафу висит,

откройте портфель в моем кабинете. Там лежит всеподданнейший доклад. Ведь именно сегодня я хотел передать его Государю...

Коковцов сделал так, как велел ему Столыпин. В тот же вечер он передал Государю доклад, подготовленный Столыпиным.

— Как там наш страдалец? — спросил Государь.

— По-моему, он не жилец, Ваше Величество. Врачи поговаривают, что раздроблена печень.

— А Боткин наш утверждает обратное, — возразил Государь. — Он только что вернулся из лечебницы. Да и потом, Владимир Николаевич, у Петра Аркадьевича богатырское здоровье, не в пример нам... Я думаю, что он еще послужит отечеству, — твердо сказал Николай.

Поздно вечером в Киев в сопровождении своих братьев, сенаторов Нейдгартов, приехала Ольга Борисовна. Она поспешила в клинику Маковского. Муж ее спал. Очевидно, ему дали очередную дозу морфия. Она смотрела на него и не узнавала. У него ввалились глаза, был чуть приоткрыт рот. Он коротко и бесшумно набирал воздух в легкие и шумно, с каким-то надрывом выдыхал его. Она взяла его здоровую левую руку в свои ладони. Его ладонь была горяча. Она почувствовала, как он легонько сжал ее руки, но глаза при этом не открыл. Братья уехали устраиваться в гостиницу, а она попросила врачей выделить ей комнату рядом с мужем, что и было сделано незамедлительно. Но она никуда не ушла, а всю оставшуюся ночь просидела рядом с ним и видела, как во сне розовеют его щеки, как вздрагивают ресницы, она чувствовала, как рука то становится невозможно горячей, то холодеет, и она пугалась

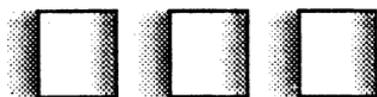
и звала сестру милосердия. Приходила пожилая женщина, осторожно проверяла повязку на груди, и Ольга Борисовна отворачивалась, боясь туда смотреть, словно опасаясь своим тревожным взглядом причинить ему дополнительную боль...

Окна начинали светлеть едва заметной предрассветной дымкой, а она неотрывно смотрела на его такое дорогое и такое несчастное лицо. И уже видела в нем что-то чужое и пугающее. Она снова взяла в свои прохладные ладони его левую руку. Рука его трепыхнулась, и он открыл глаза. Он посмотрел на нее строго и без удивления и сказал:

— Ну наконец-то. Я заждался, почему ты так долго ехала?

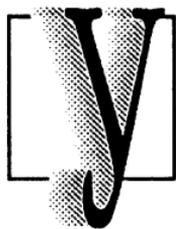
Ее глаза наполнились слезами, и она медленно наклонилась. Осторожно сгибаясь, боясь причинить ему боль, она, едва касаясь губами, поцеловала его неловко и неуклюже в лоб и в переносицу.

— Не надо плакать, Олюшка. Я просто невероятно соскучился без тебя... Я безопасен и почти здоров. Врачи говорят, что самое трудное позади...



Глава 8

ТРЕТЬЕГО СЕНТЯБРЯ



тром был опубликован бюллетень о состоянии здоровья Петра Аркадьевича.

«12 часов дня. Констатированы две огнестрельные раны — одна в правой половине груди, другая в кисти правой руки. Входное отверстие в груди находится в области 6-го межреберного промежутка, внутри от сосковой линии; выходного отверстия нет, пуля прощупывается сзади под 12-м ребром в расстоянии 3-х поперечных пальцев от линии остистых отростков. Ранение в первые часы сопровождалось значительным упадком сил и сильными болями, которые Министр переносил стоически. Первая половина ночи проведена тревожно. К утру наступило улучшение. Температура 37, пульс 92.

Академик *Рейн*. Проф. *Волкович*.
Проф. *Малков*. Проф. *Яновский*.
Д-р *Афанасьев*. Пр.-доц. *Дитерихс*».

Профессор Цейдлер днем удалил пулю и показал ее Столыпину. Петр Аркадьевич безучастно взглянул на нее и отвернулся. Потом он попросил, чтобы к нему пришел Рейн. Столыпин поблагодарил Георгия Ермолаевича за то, что тот остался в клинике, хотя по протоколу должен был ехать вместе с Государем в Овруч. Рейн ответил, что Государь очень беспокоится о здоровье Петра Аркадьевича и сам посоветовал ему остаться вместе со Столыпиным.

Владимир Николаевич Коковцов почти весь этот день провел в клинике. И врачи и чиновники — все собирались в большой приемной комнате на первом этаже, однако в палату на втором этаже, где лежал Столыпин, кроме жены, могли входить только несколько врачей.

После полудня в клинику приехали следователи Фененко и Иванов. Они обратились с просьбой допросить Столыпина. Врачи были категорически против. Коковцов сказал:

— Если самочувствие Петра Аркадьевича удовлетворительное, пусть он сам решит, принять ему господ следователей или нет. Дело поранения господина Столыпина настолько государственно важное, что если это необходимо для ведения следствия, то желательно это осуществить.

Рейн пожал плечами и поднялся на второй этаж. Коковцов спросил подполковника Иванова:

— Я понимаю, господин подполковник, существует тайна следствия, однако удалось вам узнать у преступника что-нибудь существенное, кроме того, что нам уже известно?

Иванов смутился, бросил быстрый взгляд на Фененко. Тот нехотя ответил:

— Допросы ведутся каждодневно, ваше высоко-

превосходительство... Единственное, что можно сказать, представляется, что он действовал в одиночку. Впрочем, следствие еще не закончено, и окончательные выводы делать преждевременно.

Вошел Рейн:

— Господа, Петру Аркадьевичу несколько лучше. Он согласился с вами побеседовать. Я вам даю десять минут. Извольте уложиться в этот срок. Прошу следовать за мной.

Сестра милосердия протянула Фененко и Иванову по халату, и они поднялись на второй этаж.

Разговор со Столыпиным был тщательно запротоколирован, хотя пользы от него было мало. Столыпин сказал, что он раньше не знал Богрова. Он также не знал о нем и по секретному отделу, с которым ему по долгу службы приходилось знакомиться. Называл ли кто-либо из охранения эту фамилию в Киеве, он точно сказать не может... Как себя вел Богров, когда подошел к нему? Столыпин ответил, что очень удивился, увидев рядом с ними фрачника, ибо это не было принято по протоколу. Увы, в чем-то виноват он сам, потому что отослал Есаулова, своего телохранителя подготовить автомобиль. Да, его предупреждали, что на него готовится покушение, однако ему казалось, что охрана хорошо организована, и у него не было особенного беспокойства, тем более в театре, в присутствии Государя. Богров же, подойдя почти вплотную, как показалось Столыпину, сначала растерялся и даже в глазах его промелькнул испуг, Впрочем, вполне возможно, что это только показалось...

Столыпин закрыл глаза, поняв, что он невероятно устал, после ранения еще не приходилось говорить столь много.

— Оля... — позвал он тихо.

Тут же вошла Ольга Борисовна и, не обращая внимания на следователей, будто их не было вовсе, села на край постели, взяла его за руку, потом губами потрогала лоб.

Следователи поднялись.

— Прошу прощения, господа, я устал, — тихо сказал Столыпин, не открывая глаз.

Тут же появился Рейн:

— Прошу вас покинуть палату, господа.

Следователи вышли. Столыпин обратился к Рейну:

— Оставьте нас вдвоем, Георгий Ермолаевич.

Его левая рука, казалось ставшая меньше и чуть пожелтевшая, покоилась в прохладных мягких ладонях жены. Он смотрел на нее внимательно и пристально. Потом произнес твердо:

— Ни о чем таком не думай. Я выйду отсюда. И выйду сам. Ты меня знаешь. Если я сказал это, я сделаю. Господь милостив и справедлив. Ты веришь мне?

— Верю, верю, — почему-то шепотом ответила Ольга Борисовна. — Напрасно ты стал с ними разговаривать. Тебе надо беречь силы. Да, я тебе верю, мой милый. Я знаю, что ты поправишься. Мы тебя подлечим с Божьей помощью, и снова заживем счастливо и хорошо... Теперь тебя чаще буду видеть. А то Адик уже стал забывать, как ты выглядишь.

Помолчали.

Потом Ольга Борисовна осторожно спросила:

— А что Государь? Навещал тебя?

— Он в Овруче. Сегодня вечером приезжает. Полагаю, что придет.

— Дай-то Бог...

Столыпин не ошибся. На пристани Государя встречал Коковцов. Первый вопрос царя был о здоровье Столыпина. Коковцов сообщил, что наступило улучшение.

— Дай-то Бог... Господь услышал наши молитвы.

Он выразил желание немедленно поехать в лечебницу, чтобы навестить Столыпина.

У Петра Аркадьевича к вечеру поднялась температура, опять начались боли. Пришлось вколоть морфий. Когда царь приехал в клинику Маковского, Столыпин спал. Однако никто из врачей ему не осмелился об этом сказать. Он поднялся на второй этаж. Рейн просил его подождать у дверей, а сам вошел в палату. Через минуту сконфуженный Георгий Ермолаевич появился в сопровождении Ольги Борисовны.

— Ваше Императорское Величество, я очень тронута вашим вниманием, — говорила Ольга Борисовна, глядя царю прямо в глаза. — Петр Аркадьевич целый день ждал вас. Однако ему сейчас дали лекарство, и он спит...

И она замолчала, выжидательно глядя на Государя.

«Могла бы сказать: прикажете разбудить его? Я бы все равно отказался. Как невежливо с ее стороны», — подумал Государь и произнес:

— Я и Александра Федоровна, вся наша семья невероятно огорчены поранением Петра Аркадьевича. Я уверен, что он поправится, тем более здесь такие замечательные доктора. Пусть почивает ваш супруг. Передайте ему мой сердечный привет.

В том же письме к матери Николай писал по поводу своего приезда в клинику Маковского: «Вер-

нулся в Киев 3 сентября вечером, заехал в лечебницу, где лежал Столыпин, видел его жену, которая меня к нему не пустила».

Курлов принял следователя Фененко в своем роскошном номере киевской гостиницы. Он поднялся из-за массивного стола, прошел навстречу, пожал руку Фененко как коллеге, усадил и спокойно сказал:

— Вы можете задавать мне любые вопросы любого свойства. То, что случилось, это ужасно. И те, кто допустил нарушения, понесут наказание. Полагаю, что и доля моей вины тоже имеется. Слишком я доверился подполковнику Кулябко. Однако как идет следствие?

Фененко отнюдь не смутил высокий ранг «свидетеля», ибо он представлял интересы военной прокуратуры и никак не зависел от могущественного Курлова.

— Следствие идет в соответствии с теми мероприятиями, которые проводятся в связи с покушением на председателя Совета министров.

О, достойный ответ. Ich bin ganz Ohr. Как говорят немцы, я весь внимание.

Фененко интересовал только один вопрос. Несведущему он показался бы малозначительным и неинтересным, однако Курлов сразу понял, какая опасность таится за этим вопросом. Дело в том, что так называемыми тайными сотрудниками можно пользоваться только для получения сведений о подпольных революционных организациях, и ни в коем случае их нельзя привлекать для охранных целей. Фененко скучным голосом, глядя куда-то в

сторону, просил объяснить Курлова как руководителя всех охранных мероприятий в Киеве, как получилось, что Богров получил доступ и в Купеческий сад и в театр, если это запрещено инструкцией и об этом запрещении безусловно знал господин Курлов.

Павел Григорьевич согласился, что инструкция была нарушена, но он как товарищ министра безусловно не обязан был вникать в такие мелкие подробности, которые находятся в компетенции Кулябко.

— Вы знали о том, что Богров находится в здании театра?

— Господин Фененко, вы забываетесь. Я не подследственный. Я сделал вам любезность, согласившись с вами побеседовать. Не кажется ли вам, что вы выходите за рамки?

Фененко поднялся, закрыл папку, где делал записи:

— Ваше превосходительство, я выполняю лишь свой долг и задаю вопросы, которые безусловно интересуют следствие. Прошу прощения, если я вам доставил некоторые неудобства. Однако есть вопросы, на которые все равно придется искать ответ. Ибо я полагаю, что за ходом следствия наблюдает Его Императорское Величество. Разрешите откланяться.

— Я вас более не задерживаю.

Курлов был в ярости. Из-за этого идиота Кулябко сейчас все разом может полететь в тартарары. Он позвонил вице-директору департамента полиции Веригину, который о Богрове знал не меньше Кулябко, и попросил его связаться со Спиридовичем. Они должны в срочном порядке встретиться и по-

говорить. Потом он решил вызвать Кулябко, но передумал. Эта встреча в данной ситуации была бы лишней и нежелательной.

Фененко знал, какие вопросы задавать Курлову. Он был уверен, что Павел Григорьевич вспылит. Он также предвидел, что ничего конкретного Курлов ему не скажет, ибо их задача с Ивановым — весьма простая: поскорее закончить дело и поскорее Богрова отправить на виселицу. Он знал, что как только с Богровым будет покончено, дело приберут к рукам в Петербурге. И потому он старался как можно больше добыть сведений. Он все больше и больше убеждался в том, что руку Богрова кто-то искусно и тайно направлял. То, что так занервничал Курлов, ни о чем не говорит. Кроме того, что на своей карьере он может поставить крест. Однако следователь решил некоторую информацию выпустить в прессу. Фененко думал о том, что публикации должны быть в тех изданиях, которые пользуются хорошей репутацией в обществе.

...В газете «Новое время» появилось короткое сообщение: «Киев. 5 ч. 34 м. дня. Из достоверных источников сообщаю: П. А. Столыпин сказал в известной речи в Государственной Думе и затем подтвердил в циркуляре, что так называемыми «сотрудниками» можно пользоваться только для получения сведений о замыслах революционеров, но ни в коем случае не употреблять их в целях охраны. На этой точке зрения П. А. Столыпин стоял очень твердо. Возникает недоумение, каким образом после этого Богров, бывший именно «сотрудником», мог очутиться в театре в роли охранника...»

В этой же газете была напечатана еще одна короткая информация: «При больном безотлучно на-

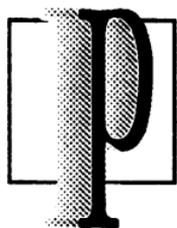
ходится его супруга, там же находится и секретарь П. А. Столыпина г. Граве, разбирающий поступающую почту и телеграммы. Статс-секретарь Столыпин и его супруга получают тысячи телеграмм. Личный доступ к больному совершенно закрыт. Двери главного входа закрыты и охраняются полицией».

В тот же вечер в Михайловском монастыре в Киеве епископ Павел отслужил молебен о здравии Петра Аркадьевича Столыпина.



Глава 9

ПЯТОГО СЕНТЯБРЯ



оссийская общественность была в шоке от происшедшего. Во-первых, уже стали понемногу забывать, что покушения и убийства были составной частью российской жизни. Во-вторых, когда обнаружилось, что стрелял сотрудник киевской охранки, это на всех произвело неизгладимое впечатление. Стали размышлять, кто же трудится в охранке и вообще какие отношения установились между тайной полицией и революционными группами. Когда Столыпин однажды в разговоре обронил, что он погибнет от пули охранника, он, очевидно, только стал понимать, сколь запутанные отношения установились между секретными агентами с той и с другой стороны. Выяснилось, что Богров почти совсем неизвестен в среде революционеров, и ни одна партия не взяла на себя ответственность после выстрелов

1 сентября. И если первые допросы, которые проводили Фененко и Иванов, наводили их на мысль, что Богров просто не хочет выдавать товарищей, то уже ближе к завершению следствия они все больше склонялись к тому, что это был одиночный акт. Однако некоторые журналисты довольно быстро раскусили суть Богрова и уже в первые дни следствия высказали предположение, что анархистам была известна его двойная жизнь и потому они не оставили ему выбора. Нюанс, причем весьма существенный, заключался в том, что Богрову не надо было делать выбор. Он его сделал уже давно.

4 сентября подполковник Иванов еще раз допрашивал Богрова... А Богров вдруг явственно ощутил *конечность* своей жизни, и ему стало страшно. Он не спал ночью. Надзиратель рассказывал, что стоны из одиночной камеры перемешивались с всхлипываниями, что он говорил только одно слово «мама»... Иванов, услышав подробный доклад о состоянии подследственного, ожидал увидеть его сломленным и ничтожным. Таких он достаточно повидал на своем веку. Особенно убийц. На допросах хорохорятся. Иные острят, шутят. Пытаются даже уколоть следователя, но, как только им становится известно, что их скоро выведут из камеры на виселицу, человека будто подменяют. Многие из них ползают на коленях, начинают лизать сапоги, а когда их ведут на казнь, практически все делают под себя, и многих приходится просто волочить к виселице, вдыхая мерзкий запах, который исходит от смертника.

Следователь вошел в камеру. Богров сидел на кровати и смотрел в крохотное оконце. Иванов заметил, что цвет лица у его подследственного был зеленым — и от многочисленных синяков, и, очевидно, от болезни желудка.

— Как вас кормят? — сухо спросил Иванов.

— Отвратительно, — спокойно сказал Богров. — Я не знаю ваших порядков, но я готов написать жалобу, чтобы мне изменили питание. У меня плохой желудок от рождения.

— Я распоряжусь. Но если вам угодно, вы можете изложить жалобу письменно.

— Я вам верю. А теперь слушаю вас. Только прошу иметь в виду, ничего нового я вам сообщить, к сожалению, не смогу. Все, что я знал, думал, я вам уже сказал.

— Этот допрос, полагаю, последний. Ибо дело абсолютно ясно... — Иванов сел за небольшой, привинченный к каменному полу стол и раскрыл папку.

— Вы позволите задать мне вопрос? — осторожно спросил Богров.

— Слушаю вас.

— Что Столыпин?..

— Вас это не касается.

— Меня повесят?

Иванов развеселился даже:

— У вас что, милейший, есть другие предположения?

— Я не о том, — поморщился Богров. — То, что я отсюда не выберусь, и кошке понятно. Я хотел спросить: или расстреляют...

— Суд решит. Суд, и только суд, — строго сказал Иванов. — Я хотел бы уточнить некоторые детали по поводу получения вами билета. Если вы нездоровы, я готов оставить вам бумагу и карандаш. Можете сами написать все, что вам заблагорассудится, по указанной мною теме.

— Да, — тихо проговорил Богров. — Меня бы это устроило. Извините, а сейчас я хочу лечь. Я немного отдохну и к вечеру вам верну бумагу.

В девять часов вечера 4 сентября Иванов читал показания Богрова. Почерк указывал, что у его подследственного не все было в порядке с психикой. Стремление к ажитации тесным образом соседствовало с наивной верой в то, что он, Богров, — центр мироздания. Подполковник увлекался новой наукой — графологией и полагал, что делает большие успехи.

«...Относительно причин, побудивших Кулябко выдать мне билет, показываю следующее: я сообщил Кулябко, что ночевавший у меня «Николай Яковлевич» собирается в 9 ч. вечера выйти для встречи с «Ниной Александровной», куда-то в окрестности Владимирского собора и просил инструкций, как мне поступить в случае, если кто-либо из этой компании даст мне какое-либо поручение. Кулябко категорически воспретил мне исполнять какое бы то ни было поручение. Когда я заявил, что при таких условиях я должен был быть изолирован от компании бомбистов, иначе возбужу подозрение их, и что лучше всего для этой цели выдать мне билет в театр, ибо, показав этот билет «Николаю Яковлевичу» и другим, я смогу принять на себя исполнение роли наблюдателя за Столыпиным и неправильно данным сигналом испортить их предприятие. Билет я получил в 8 ч. вечера на углу Бибиковского бульвара и Пушкинской улицы, куда я вышел встревоженный долгим неполучением билета. Я прилагал все усилия к тому, чтобы достать билет в театр на 1-ое сентября именно потому, что полагал, что более мне не представится *удобного* случая для встречи с Столыпиным, ибо мой обман должен был быть выяснен в самом непродолжительном времени охранным отделением. План покушения мною разработан не был. Я был уверен, что находясь в театре, смогу улу-

чить момент для того, чтобы приблизиться к министру. При разговоре я просил Кулябко дать мне место поближе к креслу Столыпина, но он и Веригин ответили мне, что в первых рядах будут сидеть только генералы и потому мне сидеть там неудобно. Вообще Кулябко обращал внимание, что я очень взволнован, но приписывал это волнение тому, что я неожиданно попал в центр заговора; вместе с тем он мог бы обратить внимание на то, что держал я себя весьма не конспиративно, приходил днем в охранное отделение, телефонировал туда из своей квартиры, ходил в Европейскую гостиницу, и, наконец, решался посещать открыто такие места, как Купеческое и театр, куда, как лицо неблагонадежное, билетов получить не мог бы. Билет в Купеческое был мною получен от Кулябко, без всякой особенной мотивировки. Я по телеграфу часов в шесть вечера просил его выдать мне билет, и он предложил прислать за ним посыльного.

По возвращении из Поток (там была дача Богровых. — В. Х.) меня посещали несколько раз: Владимир Абрамович Скловский, мой товарищ по гимназии и по университету, который, однако, о моих планах совершенно осведомлен не был, пом. прис. Поверенного Лев Леонтьевич Фельдзер, с которым я встречался ежедневно в кабинете присяжного поверенного Александра Соломоновича Гольденвейзера, который находится за границей; студент Киевского университета Самуил Леонтьевич Фельдзер, мой товарищ по гимназии, заходил ко мне только один раз, возвращаясь от доктора. Я категорически утверждаю, что все эти лица не имели ни малейшего понятия о моих планах. Сведения, которые я давал Кулябко, им не записывались, и письменный след о них сохранился лишь в одной записке, которую я

посылал ему 31 августа из охранного отделения в квартиру.

Подлинный подписали: *Дмитрий Богров*. Подполковник *Иванов*».

4 сентября Столыпину стало хуже. Газеты выходили экстренными выпусками, где сообщалось о состоянии Петра Аркадьевича. Днем 4 сентября киевская газета «Современное слово» написала: «В общем состоянии здоровья статс-секретаря П. А. Столыпина наступило некоторое ухудшение. По словам врачей, никаких оснований для серьезных опасений теперь, однако, нет». Эта весть мигом разлетелась по всей России. Все, кто переживал за Столыпина, кто желал выздоровления не только Столыпину, но и России, — все вздохнули с облегчением.

Но уже вечером в опубликованном бюллетене киевляне прочли: «Явление воспаления брюшины продолжается. Температура 36,6 гр. Пульс 116—120. Дыхание 28. Положение очень серьезное».

Царь намеревался пробыть в Киевской губернии до 6 сентября. 4-го вечером на пароходе «Головачев» он отплыл в Чернигов, опять же на маневры.

Перед отплытием его личный врач Боткин на вопрос о самочувствии Столыпина ответил, что при некотором ухудшении опасения за его здоровье нет.

Между тем атмосфера в городе напрямую зависела от состояния здоровья Петра Аркадьевича. После вечернего бюллетеня на центральных улицах Киева опять запахло погромами. Стали собираться группы людей, в основном из «Союза Михаила Архангела». Однако Коковцов, которому Государь

официально поручил «исполнять должность» председателя Совета министров, твердо решил удержать порядок в городе, по крайней мере во время пребывания Государя в Киеве. Отдельные группы «союзников», вооруженных палками и металлическими прутьями, по приказанию Коковцова довольно быстро разогнали казаки. Те, кто стояли во главе «союзнических» организаций, не преминули пожаловаться. Они нашли себе защитника в лице обер-прокурора Синода Саблера. Хитрый Саблер ответил, что непременно разберется, но даже и словом не обмолвился об этом, когда они утром 5 сентября встретились с Коковцовым в клинике Маковского.

Малая Владимирская с двух сторон была перегорожена канатами, на улицу полицейские пропускали только редкие экипажи, и то по необходимости. На мостовую набросали солому, чтобы экипажи как можно тише проезжали мимо окон лечебницы.

5 сентября состояние Столыпина резко ухудшилось. Он вызвал к себе самого Маковского и поинтересовался, как себя чувствует музыкант, которого ранило рикошетом. Дело в том, что Антон Берглер в течение почти получаса кричал «Помогите», но никто на него не обращал внимания, думая, что он вызывает к помощи в связи с выстрелами в Столыпина. И только когда под ним образовалась большая лужа крови, наконец-то обратили внимание на то, что австрийский концертмейстер серьезно ранен. Его отвезли в больницу, но 5 сентября он уже вышел оттуда, злой, рассерженный, еле передвигающийся...

Столыпин все чаще стонал и говорил, что больно, ему увеличили дозу морфия, и он ненадолго заснул. И вдруг Ольга Борисовна увидела, как невиди-

мая тень легла на его лицо. Оно стало еще более серьезным, значительным и отрешенным, и ей показалось, что заострился нос. Она вспомнила, как умирала ее мать, — у нее лицо, перед тем как ей уйти, было точно такое же. Ольга Борисовна прижала свои маленькие кулачки к груди и больше всего на свете боялась зарыдать. Она не стала звать врачей. Она просто неотрывно глядела на своего мужа. Он медленно открыл глаза и смотрел на нее. Словно вспоминая, где он и кто она. Потом слабо улыбнулся.

— Ну что ж... Олюшка... Кажется, пора прощаться...

— Петр... Петенька... Любимый мой... — Она не знала, что говорить, она смотрела, стараясь запомнить в нем все до мельчайшей черточки. Пока он был здесь, с нею. Пока он не ушел в вечность.

Бесшумно вошли врачи — Цейдлер, Рейн, Маковский.

Они осмотрели его, прощупали вздувшийся живот. Столыпину было больно от самого легкого прикосновения.

В 12 часов 30 минут был опубликован официальный бюллетень: «С ночи ослабление деятельности сердца приняло угрожающие размеры. Пульс 132, очень слабого наполнения; воспалительные явления со стороны брюшины без резких изменений, температура 37, общее состояние тяжкое».

Через час был объявлен новый бюллетень: «Здоровье статс-секретаря Столыпина с каждой минутой ухудшается. Болезнь прогрессирует. Пульс, упавший на короткий срок, заработал снова с силой большей, чем показано в последнем бюллетене. Температура — 35,5. Средства, применяемые врачами, не производят действия».

Публика, читавшая вывешенный на дверях кли-

ники бюллетень, молча расходилась. Газетчики спешили передать сообщения в свои издания о том, что положение Столыпина критическое.

Но он был еще в сознании, и, как это часто бывает перед наступлением конца, ему вдруг стало лучше. Настолько, что он почти не чувствовал боли, его только удивляла комната, она стала почему-то много больше и вся медленно наполнялась приятным сиреневым светом, но он боялся об этом спросить свою жену, а просто думал, что наступает рассвет. Уже зажгли электрические лампочки, и Столыпину они казались странными бутонами, которые увеличивались в размерах.

Ольга Борисовна увидела эту перемену и повеселела. Когда вошел Рейн, она ему сказала:

— Смотрите, Георгий Ермолаевич, ему лучше.

Рейн подошел к Столыпину, низко наклонился, пытаясь заглянуть прямо в зрачки. Столыпин ему слабо улыбнулся. Рейн вздохнул:

— Мужайтесь, голубушка, Ольга Борисовна...

И тихо вышел.

— Помнишь няню нашу, Колабину? — вдруг спросил Петр Аркадьевич. — Она еще песенку пела нашей Мате...

— Песенку? — изумилась Ольга Борисовна. Почему вдруг он вспомнил про няню? — Да-да, что-то припоминаю... «Два сержанта из окна...»

— «Любовались на кота», — сказал Столыпин, обрадовавшись, что он тоже вспомнил: — «Они хлопнули окном, побежали за котом»... Какая славная...

Ему показалось, что вдруг стали медленно гаснуть лампочки, почему-то сразу стало темно, исчез этот милый сиреневый свет. Он хотел еще раз увидеть свою жену, хотел позвать ее. Ему показалось, что она куда-то стремительно ушла, оставив его од-

ного, именно тогда, когда она была так нужна. Вдруг боль совершенно отпустила, и ему стало невероятно легко и свободно, он хотел об этом сказать Ольге, но было темно, и ее непременно надо было позвать. Он звал, но никто не откликнулся. А все его существо наполнялось необыкновенной легкостью и светом. И он тогда понял... что свет, который был снаружи... перешел в него. Весь. Без остатка. И потому кругом так темно. Он собрал все свои силы и закричал:

— Зажгите электричество!

Ольга Борисовна почувствовала, как резко вздрогнула его рука, покоившаяся в ее ладонях, и обмякла. Он глубоко вдохнул и замер. Потом еще раз вдохнул, потом открыл глаза, строго на нее посмотрел и прошептал так тихо, что она с трудом разобрала:

— Зажгите электричество...

Она прижалась своим лицом к его щеке, обтянутой желтизной, и почувствовала, как она холодеет. Она поднялась, беспомощно огляделась, не зная, что ей нужно делать, но в палату уже входили люди, много людей, и она не могла понять, зачем так много людей сюда приходит и что они собираются делать. Она стояла прижавшись к серой стене и с ужасом смотрела туда, где еще мгновение назад был ее муж, любимый, бесценный, умный, красивый, талантливый, обожаемый ею больше всего на свете, даже больше собственной жизни, но она никогда не умела сказать ему о том, она не умела так страстно, так трепетно говорить, как это он ей говорил всегда, и ей казалось, что это будет вечно. А сейчас там было чужое, незнакомое тело, почему-то отдаленно похожее на ее Петра.

К Ольге Борисовне подошел Рейн. Он что-то ей говорил. Она слышала и не понимала его. Потом он

приложил к ее носу что-то белое с резким, одуряющим запахом. Она глубоко вздохнула и пришла в себя:

— Благодарю вас, Георгий Ермолаевич. Вы сделали больше, чем могли.

На следующее утро в газете «Новое время» появилось сообщение, набранное крупным шрифтом: «КИЕВ. ВЧЕРА В 10 ЧАС. 12 МИН. ВЕЧЕРА ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ ТИХО СКОНЧАЛСЯ. В ИСТОРИИ РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ГЛАВА».

Позднее Г. Е. Рейн писал в своих воспоминаниях: «Судебно-медицинское вскрытие, произведенное проф. Судебной медицины Н. А. Оболонским установило, что П. А. Столыпин погиб от огнестрельной раны, нанесенной ему преступником. На вскрытии вся печень оказалась раздробленной несколькими глубокими трещинами, радиально расходящимися во все стороны от пулевого канала. Пуля браунинга среднего калибра имела 2 перекрещивающихся надреза и действовала как разрывная. Разрывному действию пули способствовали и занесенные ею в рану частицы простреленного ордена. Таким образом, вскрытие подтвердило прижизненный диагноз, но столь глубоких ранений печени не предполагалось...»

Богров сообщение о смерти Столыпина встретил равнодушно, сказав только: «Я думал, что это произошло в театре». В эти пять дней, пока он находился в одиночной камере, он понял, что все

бесконечные рассказы о мужестве революционеров, террористов — по большей части красивые легенды, необходимые для новой вербовки смертников. На самом деле все обыденнее и страшнее. Его уже действительно совершенно не занимала судьба Столыпина, ни живого, ни тем более мертвого. Его занимала собственная судьба, пока еще живого, ощущавшего боль, запахи, хотя и мало приятные, видевшего предметы в убогой, хотя и невероятно большой камере, слышавшего звуки — шаги надзирателя, шуршание крыс, которые останутся, а его уже не будет, клацанье железной двери, и ему хотелось, чтобы эти звуки были всегда, ему хотелось, чтобы к нему все время приходил следователь. И чтобы он спрашивал, спрашивал, спрашивал... А он бы ему рассказывал про всю свою жизнь, такую глупую и неудавшуюся, про этих напыщенных дураков, возомнивших, что они перевернут мир, убив с десятков чиновников. Или даже самого царя. Только сейчас он понял, ничего нельзя изменить с помощью убийства. Ибо сначала надо изменить что-то в себе, внутри, убрать эту мерзость, из-за которой вдруг кажется, что именно ты — самый неповторимый и великий, именно ты можешь сделать вызов — нет, не царю, не его слугам, наподобие этого жалкого Столыпина. Ты можешь сделать вызов — Богу! Вот что, оказывается, в нем сидело, вот что делало его в собственных глазах неподсудным любому суду — тому, что вершат людишки, слабые, ничтожные, мелкие, трусливые. Но неужели надо было пройти через убийство, чтобы понять в себе это? Очевидно, да. Следовательно, те мгновения, которые ему остались на поверхности этого удивительного и прекрасного мира, существо которого он начинал осознавать только сейчас в этой

вонючей камере, — эти мгновения надо прожить достойно.

Нет, он не верил в загробную жизнь, так же как не верили в нее многие товарищи, шедшие на виселицу или под расстрел с криками, воплями о пощаде.

Он знал, что дальше будет вечное небытие, и меньше всего думал о том, как о нем будут писать газеты, как обсуждать товарищи. Он вспомнил свое любование перед зеркалом накануне выстрела, и ему стало до омерзения противно — от той отвратительной театральщины, в которой он и его друзья жили все это время.

Богров сидел неподвижно на своей койке, по полу иногда деловито пробегали тощие крысы. В коридоре была полная тишина. Казалось, в крепости «Косой капонир» все вымерло. Богров слушал эту удивительную тишину, и вдруг его осенило. Он понял, почему одни убивают других. Убивают буквально за все — за правду, за ложь, за цвет кожи. За веру, за безверие, за воровство, за честность, за любовь. Они убивают только потому, что в каждом есть одно всепоглощающее чувство — ненависть. Он впервые понял, что это такое, когда видел погром в Киеве в октябре 1905 года. Вот тогда она, эта ненависть, впервые вошла в его сердце, в его душу, в его мозг. Но, думал Богров, причину для ненависти так легко найти, ибо каждый человек, едва родившись, уже готов впустить в свое сердце это всепоглощающее и испепеляющее чувство. Более того, размышлял Богров, человек, несущий в себе ненависть, заражает ею каждого, кто с ним общается. Даже если он не убивает, не грабит, не поджигает. И что же делать дальше, как жить человечеству? Если бы его выпустили, он всем бы рассказал о том, к чему он

пришел. Богров усмехнулся, потому что понял: если он ухватится за эту, казалось бы, спасительную ниточку, то погибнет прежде, чем его доведут до виселицы. Он решил прощсе. Сейчас попросит бумаги и подробно напишет то, о чем думал. Он стал стучать что есть силы в железную дверь. Открылось окошечко. Хриплый голос спросил:

— Чего надобно?

— Бумаги чистой, карандаш, — требовательно сказал Богров.

Окошко захлопнулось.

Через час надзиратель принес все, что он просил.

Богров лихорадочно взял чистый лист в руки, приготовился писать. Потом представил, как его листки читает, позевывая и почесываясь, тот же Иванов или этот толстый с сонными глазами Фененко. Эти листки подошьют в его дело, а может, и вообще выкинут... Аккуратно он положил листы и карандаш на стол. И показался себе невероятно смешным и нелепым. Чуть было не уподобился этим лживым проповедникам, как бы они ни назывались — раввинами, попами, ксендзами.

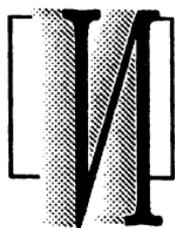
Нет, только ненависть — чувство мощное и созидательное. Только благодаря ненависти человечество может совершенствоваться, отбраковывая слабых, ничтожных, бездарных, вроде убиенного Столыпина. Богрову показались детскими, наивными его признания, которые аккуратно записывали Иванов и Фененко. Но объяснить им то, что он сейчас узнал в себе, он не смог бы. Да и не захотел. Нет, он убил Столыпина совсем не потому, что тот плохо управлял Россией или поощрял или не поощрял еврейские погромы. Нет. Просто Столыпин как раз и был тем *недочеловеком*, который не должен был быть у власти. И Богров устранил сам эту несправедли-

вость. Человечество из своей среды выдвигает и будет выдвигать таких, как он, чтобы именно они вершили настоящее вселенское правосудие с единственной целью — улучшить человечество, раз и навсегда избавив его от присущих ему слабостей, которые в конечном счете разрастутся до таких размеров, что люди сами себя начнут поедать и даже придумают соответствующую теорию, почему это необходимо делать. Вот для этого он и жил, Богров. Для этого он и пойдет на виселицу. Спокойно, без театральных жестов и мелодраматических слов. Ибо только он, единственный в мире, знает истинную причину того, что он совершил. И теперь ему совершенно безразлично, как будет оценен его поступок потомками. Потому что он знал: он не одинок. Такие, как Богров, появятся на этой земле и будут совершать то, что им начертано свыше. Для таких не существует ни судей, ни адвокатов, ни палачей...



Глава 10

ПРОЩАНИЕ



з письма Николая Второго своей матери, Марии Федоровне:

«6 сентября в 9 час. утра вернулся в Киев. Тут на пристани узнал от Ковцова о кончине Столыпина. Поехал прямо туда, при мне была отслужена панихида. Бедная вдова стояла, как истукан и не могла плакать... В 11 час. мы вместе, т. е. Аликс, дети и я, уехали из Киева с трогательными проводами и порядком на улицах до конца. В вагоне был для меня полный отдых. Приехали сюда (очевидно, в Ливадию. — В. Х.) к дневному чаю. Стоял дивный теплый день. Радость огромная попасть снова на яхту!»

Итак, царь не остался на похороны, хотя намеревался это сделать. На отъезде настояла Александра Федоровна. Царь продолжал мстить и мертвому Столыпину, мстить мелко и ничтожно.

Во время панихиды произошли некоторые события, которые позднее по-разному истолковывались общественностью. После приличествующих слов Государя, обращенных к вдове, Ольга Борисовна сказала ему:

— Как видите, Ваше Величество, не перевелись еще Сусанины на Руси.

Государь не нашелся что ответить. Он постоял у гроба и обронил всего одно слово:

— Прости...

Фраза, произнесенная Ольгой Борисовной, уверен, обдуманно и сознательно, на следующий день облетела всю страну. Некоторые увидели в ней некую театральность, мелодраматическую позу. Витте в своих «Воспоминаниях» не удержался от ядовитых комментариев: «Когда Государь вошел в комнату, где лежал труп Столыпина, она, как истукан, шагами военного подошла к Государю и сказала: «Ваше Величество, Сусанины еще не перевелись в России», затем сделала несколько шагов задним ходом и стала на свое место. Ее театральная походка сопровождалась глупой театральной фразой...»

Однако многих граждан эта фраза восхитила. Они услышали в ней то, что хотели услышать: Столыпин погиб за царя. Однако, мне кажется, смысл сказанного Ольгой Борисовной гораздо глубже и объемнее. Если вдуматься, то вдова, одна из умнейших и образованнейших женщин своего круга, которая вела себя весьма независимо, знала досконально развитие отношений между Государем и ее мужем, — она хотела выразить то, что было у нее на душе. И она это сделала — красиво и глубоко. Ибо в этой фразе был и справедливый упрек царю и его окружению. Возможно, Государь понял значение фразы, иначе бы он не написал в письме к своей матери столь откровенно и неприязненно по отно-

шению к Ольге Борисовне, по отношению к памяти Столыпина. Иначе бы он остался на похороны, а не поручил генерал-губернатору Ф. Ф. Трепову говорить речь от имени Государя...

В завещании, которое написал Столыпин, было записано, что он желает быть похороненным там, где настигнет его пуля.

Вспоминает А. Ф. Гирс: «8-го сентября вечером печальная процессия двинулась из лечебницы в Печерск (Киево-Печерская лавра. — В. Х.), сопровождаемая многочисленной толпой русских людей. Все было величественно и вместе с тем просто и это так гармонировало со светлым обликом того, кто безвременно отошел в вечность. 9-го сентября утром, в Трапезной церкви, заставленной венками с национальными лентами, собралось Правительство, представители армии и флота и всех гражданских ведомств, многие члены Государственного совета, центр и почти все правое крыло Государственной думы, а также более сотни крестьян, прибывших из ближайших деревень отдать последний долг почившему. Киевский Генерал-губернатор Генерал-адъютант Трепов по повелению уехавшего 7 сентября Государя, представлял Его Особу. Старшие чины Министерства Внутренних дел и чины Государственной канцелярии несли дежурство у гроба. После отпевания гроб вынесли и опустили возле церкви, рядом с исторической могилой другого русского патриота Кочубея.

Сейчас же после смерти Столыпина, в той же группе земских гласных и членов Государственной Думы из партии националистов, возникла мысль о постановке ему памятника в Киеве. Было использовано пребывание в Киеве Государя императора и Кокцовца и на Всероссийский сбор пожертвований уже 7 сентября утром последовало Высочайшее соизволение. Пожертвования потекли столь обильно, что в три

дня в одном Киеве была собрана сумма, которая могла покрыть расходы на памятник... Местом постановки памятника была избрана площадь возле Городской Думы, на Крещатике, а исполнение его поручено итальянскому скульптору Ксименесу, бывшему в Киеве. В 1912 году, ровно через год после смерти П. А., памятник был открыт в торжественной обстановке, среди съехавшихся со всех концов России, его почитателей. Столыпин был изображен как бы говорящим с думской кафедры, на камне высечены сказанные им слова, ставшие пророческими: «Вам нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия».

В 1918 году новая власть сломала памятник П. А. Столыпину. Но, как известно, постаменты не могут долго пустовать. Посыпалось множество предложений, кому поставить памятник на освободившееся место. Родственники Богрова настаивали, чтобы там был памятник убийце Столыпина.

Этот вопрос самым серьезным образом обсуждался в Москве. Богрову памятник не поставили. Мне представляется, исключительно по причине так называемого «пятого пункта». Ведь существуют у нас улицы имени убийц — скажем, Каляевская. Или станция метро «Войковская», по имени одного из тех, кто принимал участие в расстреле царской семьи. Но это уже совсем другая история...

Россия скорбела. Кажется, лишь после смерти фигура Столыпина стала приобретать то значение и то величие, какое обычно приходит лишь по истечении времени. Но в этом тоже кроется еще одна наша национальная особенность. Для того чтобы узнать истинную ценность того или иного общественного человека, ему нужно умереть. В России всегда покойников любили больше, чем живых. Особенно если

усопший доставлял столько хлопот своей персоной. А еще более — своей деятельностью.

Однако возвращаюсь к церемонии похорон. Все крупнейшие российские газеты дали подробный отчет. Вот что писала газета «Речь» 10 сентября: «Гроб вынесли обер-прокурор св. Синода Саблер, министры Щегловитов и Тимашев, титулярный советник Лыкошин, председатель Государственной думы Родзянко, Балашев, Лерхе, Владимир Бобринский и другие. Вдову, по ее желанию, вел под руки статс-секретарь Кривошеин.

Могилу, по заделке ее, окружили члены Совета министров, член Государственного совета Пихно, председатель государственной Думы Родзянко, Гучков и другие члены Государственной думы и чины министерства внутренних дел. О. Б. Столыпина... сохраняла все время геройское самообладание, как и все члены семьи покойного...

Сегодня, в день погребения председателя совета министров статс-секретаря П. А. Столыпина, согласно полученным с.-петербургским телеграфным агентством в огромном числе телеграмм, повсеместно в Империи были совершены заупокойные литургии и отслужены панихиды в присутствии местных административных властей, гражданских и военных чинов, представителей общественных учреждений, учащихся и при громадном стечении народа».

Черносотенные газеты продолжали исходить ненавистью и злобой к мертвому Столыпину. В ответ на призыв построить памятник на народные деньги газета «Гроза» писала: «Да будет стыдно каждому русскому, кто положит хоть грош на созидание памятника Столыпину. Строится он врагами отечества». Другая газетка того же толка выразила возмущение, что «похороны Столыпина показывались в кинематографах в Вильне. Русские люди требовали прекращения

издевательства, но полиция отказалась запретить эти картины». И конечно, последней каплей в грязной, разнузданной брани стало нечто вроде некролога в той же «Грозе»: «Политиканствующий сановник возмечтал о себе как о великом реформаторе, в чем усердно уверяли Столыпина окружавшие его льстивые холопы, и он принялся так облагодетельствовать Россию, что стон пошел кругом... Он опоганил Святую Русь напуском на нее жидовского хищного племени».

Как ни горько, как ни стыдно приводить подобные, с позволения сказать, «цитаты», но делать это необходимо по нескольким причинам. Отношение к Столыпину среди его современников было далеко не однозначным. Самым большим парадоксом было то, что убил его еврей, много раз говоривший, что Столыпин притесняет еврейское население, и в этом хоре не последний голос принадлежал Витте. С другой же стороны, обезумевшая в антисемитском угаре публика обвиняла Столыпина в потворстве евреям и «жидомасонам». Я полагаю, что такое злостное искажение его политики по отношению к евреям России, как с той, так и с другой, противоположной стороны, было сознательным и целенаправленным. Оно рассчитано только на одно наше качество — на нашу русскую лень. И у того, кто не поленится протянуть руку и взять с полки книгу с речами и выступлениями Столыпина по одному из самых больных и запутанных вопросов российской национальной политики, многие недоумения отпадут сами собой.

Эти яростные споры продолжаются и по сию пору. Однако жаль, что некоторые спорщики, как политики, так и ученые, не всегда бывают добросовестными. Ибо они ловко пытаются подверстать некоторые идеи Столыпина под свою политическую базу, носящую сиюминутный, зачастую утилитарный характер.

На следующий день после похорон Столыпина Коковцов отбыл в Ливадию.

Царским указом он был назначен председателем Совета министров. Незадолго до прибытия Владимира Николаевича Государь писал своей матери:

«Я нахожусь в переписке с Коковцовым относительно будущего министра внутренних дел. Выбор очень трудный. Надо, чтобы вновь назначаемый знал хорошо полицию, которая сейчас в ужасном состоянии. Тому условию отвечает государственный секретарь Макаров; он был товарищем при Столыпине и год тому назад составил законопроект о полиции. Я еще думаю о Хвостове, бывшем вологодским губернатором, теперь он в Нижнем. Не знаю, на ком остановиться...»

Коковцов, как известно, настоял на Макарове.

Назначение Владимира Николаевича Коковцова на пост премьера сопровождалось длинным и многозначительным напутствием Александры Федоровны. В 1933 году в Париже он опубликовал свои воспоминания, где достаточно подробно изложил суть беседы между ним и императрицей, которая проходила, естественно, в присутствии Государя. Они стояли на большой открытой веранде. Внизу был расположен изумительной красоты парк, террасами спускавшийся к морю. Когда Коковцов изложил программу своих действий, сделав это, как всегда, в очень взвешенных выражениях, императрица, внимательно слушавшая, вдруг перебила его:

— Вам не надо делать сравнений с покойным Столыпиным. Мне кажется, что вы слишком большое значение придаете его деятельности.

— Однако он был безусловно крупным политиком, — в некотором замешательстве ответил Коковцов. Последние месяцы он весьма расходился во мнениях со Столыпиным, но, вне всякого со-

мнения, безмерно уважал Петра Аркадьевича.

— Оставьте историю тем, кто ею занимается, — решительно сказала Александра Федоровна. — Уверяю вас, не нам судить. Она сама рассудит место каждого из нас. Единственное, о чем я хочу вас попросить, Владимир Николаевич, — Государь и я, мы надеемся, что вы всегда будете с нами искренним до конца, как бы горька ни была правда.

— Поверьте, Владимир Николаевич, — добавил Государь, — мы будем вам искренне признательны и благодарны. Увы, в последнее время у нас не было таких отношений с покойным Столыпиным. И меня это огорчает до сих пор.

Коковцов, хитрый и невероятно гибкий политик, принял эти пожелания за чистую монету. Когда в 1914 году вмешательство Распутина в государственные дела приняло угрожающие, скандальные размеры, Владимир Николаевич и председатель Государственной думы Родзянко подготовили обстоятельный доклад о Распутине. Царь не стал его читать. Через некоторое время Коковцов был смещен со своего поста...

Глава 11

КАЗНЬ

10

сентября Иванов решил в последний раз допросить Богрова. Богров устало, как нечто надоевшее, повторил то, что уже говорил не один раз. Подполковник Иванов все это записал. Дал расписаться Богрову. Поставил свою подпись.

— У вас есть какие-либо просьбы? — спросил Иванов.

— Передайте это письмо моим родителям. — И Богров протянул листок бумаги.

— Вы, я полагаю, знаете, что вас ожидает?

— Да.

— Вы не хотите подать на помилование?

— Нет. Если я вам больше не нужен, оставьте меня...

Письмо Богрова к родителям!

«Дорогие мама и папа!

Единственный момент, когда мне становится тяжело, это при мысли о

вас, дорогие мои. Я знаю, вас глубоко поразила неожиданность всего происшедшего, знаю, что вы должны были растеряться под внезапностью обнаружения действительных и мнимых тайн. Что обо мне пишут, что дошло до сведения вашего, я не знаю. Последняя моя мечта была бы, чтобы у вас, милые, осталось обо мне мнение, как о человеке, может быть и несчастном, но *честном*. Простите меня еще раз, забудьте все дурное, что слышите, и примиритесь со своим горем, как я мирюсь со своей участью. В вас я теряю самых лучших, самых близких мне людей, и я рад, что вы переживаете меня, а не я вас. Целую вас много, много раз. Целую и всех дорогих близких и у всех, у всех прошу прощения. Ваш сын *Митя*.

10 сентября 1911 г.

Суд над Дмитрием Богровым проходил в здании крепости «Косой капонир» 9 сентября. Для этого выбрали самую большую пустовавшую камеру. Туда надзиратели принесли около тридцати стульев. Большой стол перед ними накрыли красным сукном. Это был военный суд. За судейским столом сидело пять человек во главе с генералом Рейнгартеном.

Богрова ввели в сопровождении двух пожилых солдат. Он был все в том же разорванном фраке и когда-то белоснежной рубашке с оторванным воротом. Опухоль на губах спала, хотя сверху была видна болячка. А под глазами еще оставались синяки от побоев. Он вошел прямо и, пока зачитывали приговор, смотрел то на судей, то на приглашенную публику. В так называемом зале суда находились высокопоставленные лица: генерал-губернатор Трепов, министр юстиции Щегловитов, командующий киевскими войсками Н. Иванов, киевский губернатор Гирс, следователи Фененко и Иванов, предводитель дворянства Куракин, ну и так далее.

Богров от защиты отказался.

Чтение обвинительного акта заняло примерно тридцать минут. Оно было написано на трех листах. Был также допрошен подполковник Кулябко. Курлов, Спиридович и Веригин, естественно, на суд не явились. Прокурор отказался их допрашивать в зале заседания, потому что тогда нужно было переносить суд, а Государь торопил с вынесением приговора.

Заседание длилось почти три часа. После этого пятеро военных судей совещались двадцать минут, и генерал Рейнгартен объявил, что Богров приговорен к смертной казни через повешение. Кроме того, суд вынес особое постановление, «что разбором дела установлены данные, достаточные для возбуждения преследования против руководителей охраны».

Богров выслушал приговор абсолютно спокойно. Когда председатель суда обратился к нему, есть ли у него просьбы или жалобы, Богров сказал, что его плохо кормят, несмотря на неоднократное напоминание о плохой еде, и просит, чтобы его нормально накормили. Рейнгартен распорядился удовлетворить просьбу приговоренного к смертной казни. Публика встретила приговор в гробовом молчании. Более всего ее поразили выдержка и спокойствие Богрова.

Казнь была назначена на 11 сентября. Когда председательствующий уже вынес решение, кто-то спохватился, что это воскресенье. А по воскресным дням и в праздники на Руси не принято было казнить. Но было и еще одно немаловажное препятствие. Вдруг выяснилось, что в Киеве некому приводить приговор в исполнение. В Киеве не оказалось ни одного палача! Прокурор Чаплинский распорядился поискать заплечных дел мастера среди уголовников Лукьяновской тюрьмы. Наконец одного такого нашли. Он согласился, но поставил условие,

чтобы после исполнения им приговора его перевели в другую тюрьму. Он боялся, что сокамерники узнают, что он палач!

По распоряжению прокурора казнь перенесли на 12 сентября.

Примерно в пяти километрах от крепости «Косой капонир» была расположена знаменитая, воспетая русским композитором М. Мусоргским Лысая Гора. Ее крутой обрыв еще с воскресного вечера оцепили войска. Выстроили виселицу и неподалеку от нее вырыли глубокую яму.

По городу, особенно среди «союзников», распространился слух, будто Богрова хотят заменить, а повешен будет совсем другой человек, из уголовников. Депутация пришла к губернатору Гирсу с требованием, чтобы на казни присутствовали «представители общественности». Гирс позвонил генерал-губернатору Трепову. Тот, ворча и чертыхаясь, разрешил.

Примерно около трех часов ночи раздался скрежет ключей и в камеру к Богрову вошли с зажженным фонарем несколько человек. К их удивлению, Богров спал. Надзиратель подошел к спящему и тронул его за плечо. Богров тут же проснулся, увидел, что в камере стоят люди и молча смотрят на него.

— Уже? — спросил он и стал поспешно шарить себя по одежде, словно проверяя, все ли на месте. — Я готов, — сказал он.

Все расступились, и Богров первый направился к распахнутой двери. Уже в коридоре его за руки с двух сторон схватили надзиратели и таким образом вывели из тюрьмы. На улице в кромешной темноте стояла тюремная карета. На Лысую Гору он ехал так же, как и в тюрьму из театра, по бокам сидели

два жандарма, а напротив — еще один, с револьвером на изготовку. Богров смотрел в маленькое решетчатое окно, пытаясь определить, куда его везут, но там была сплошная темнота. Минут через двадцать карета остановилась. Когда его вывели из кареты, он увидел толпу людей с зажженными фонариками. Все фонарики были направлены на него. Глазам стало больно, и он загородился рукой. Подошел офицер и бесцеремонно направил фонарь в лицо Богрову.

— Он? — спросил офицер.

— Лицо как лицо, ничего особенного, — пробормотал Богров, часто моргая от яркого фонарного света.

— Он! Он! — загалдели в толпе. Несколько человек из депутации получили разрешение присутствовать при казни.

Когда его вели к месту казни, кто-то из «зрителей» крикнул:

— Как, фрак-то не жмет?

Богров промолчал, а сопровождавший офицер строго заметил: «Сейчас не место для ваших шуток, господа».

Его ввели на дощатый, наспех сколоченный помост. Стоя на нем, он почувствовал, что доски прогибаются. «Еще обломятся, чего доброго», — подумал Богров, вполуха слушая приговор, который читал, без конца сбиваясь, помощник секретаря окружного суда. Наконец он закончил читать и отер потный лоб. Скорее всего, впервые зачитывал смертный приговор.

— Не желаете что-нибудь сказать раввину? — спросил прокурор Чаплинский.

— Желая, — ответил спокойно Богров. — Но в отсутствие полиции.

— Увы, это невозможно.

— Тогда можете приступать, — сказал Богров и опустил голову.

К нему подошел палач, связал руки за спиной. Богров сам направился к табурету, стоявшему прямо под толстой петлей. Палач никак не мог надеть на голову саван, и Богров почувствовал, что у того трясутся руки.

— Голову, что ли, выше поднять? — спросил Богров, и в это время вонючая жесткая тряпка плотно легла ему на лицо. Палач, поддерживая его под локоть, помог ему подняться на табурет и надел на шею петлю. Оглянулся, ожидая команды. Чаплинский сделал жест рукой. Палач что было сил ударил ногой по табурету. Что-то тихо хрустнуло. Богров вздрогнул всем телом и затих, продолжая раскачиваться.

Кого-то из публики стошнило.

Как требует закон, тело висело около пятнадцати минут. Палач снова посмотрел на тюремщиков. Опять кто-то из офицеров дал знак. Палач, на этот раз ловко, снял тело и положил его на землю. Факелы освещали этот убогий клочок земли на Лысой Горе, где лежало то, что еще мгновение назад называлось Дмитрием Богровым. Палач снял колпак. Доктор склонился над телом... Смерть Богрова зафиксировали на бумаге и расписались те, кому полагалось это по чину. Палач сбросил тело Богрова в яму, его закрыли досками и спешно стали закидывать землей. Казнь и тайное захоронение продолжались в общей сложности около 40 минут.

«Союзники» на память взяли себе по куску веревки, а кое-кто пытался отрезать часть материи от фрака, когда Богров уже был мертв.

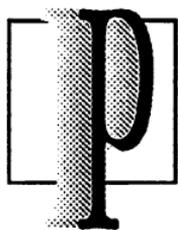
В 6 часов утра охрана на Лысой Горе была снята.

А душа бедного и грешного Богрова в это время стремительно уносилась ввысь. Чтобы попросить прощения у Столыпина.

Родители, отдохавшие в Берлине, уже на следующий день узнали о том ужасном преступлении, которое совершил их сын. Когда пришло известие, что Митя повешен, мать потеряла сознание и пробыла в горячке почти месяц. Отец Григорий Григорьевич через своих близких знакомых попросил распродать все киевское имущество, включая огромный дом на Бибиковском бульваре. На вырученные деньги он снял большую квартиру в центре Берлина и обставил ее со вкусом. Практически все родственники Богровых навещали их в Берлине. Когда же началась первая мировая война, их объявили «нежелательными иностранцами». Старики Богровы кружным путем, через Швецию и Финляндию, рискнули вернуться в Россию. Уже шла война и никому не было до них дела. Богров-отец застал приход советской власти. Он в это время жил в Петрограде в своем собственном доме, где и умер в январе 1918 года. Увы, мне не удалось установить, что случилось с матерью Д. Богрова.

Глава 12

СЛЕДСТВИЕ ЗАКОНЧЕНО. ЗАБУДЬТЕ



оссийскую общественность поразил скорый и чересчур поспешный суд над Богровым. Однако этого хотели люди, непосредственно занимавшиеся организацией охраны Государя в Киеве, — Курлов, Спиридович, Веригин, ну и, конечно, Кулябко. Впрочем, киевский подполковник понимал, что, несмотря на свое родство со Спиридовичем, в любом случае он останется крайним. Но общественное мнение было столь взбудоражено слухами о том, что в убийстве Столыпина непосредственно замешана охранка, что царь вынужден был своим указом назначить следственную комиссию, которую возглавил сенатор М. Трусевич, злейший враг П. Г. Курлова. Ибо именно Трусевич намеревался занять пост товарища министра внутренних дел, но генерал

от кавалерии Курлов его опередил. Трусевич рьяно взялся за дело. Следствие велось в течение почти целого года.

В октябре 1911 года Государственная дума сделала запрос на имя председателя Совета министров Коковцова и министра внутренних дел Макарова. В частности, в запросе было написано: «1) Сознают ли они (власти. — *В. Х.*), что убийство бывшего председателя Совета министров П. А. Столыпина, равно как и другие аналогичные убийства высших сановников (Плеве, Великого Князя Сергея, Лауница, Богдановича) являются естественным логическим следствием существующей организации политической полиции с широко развитой ее системой провокации, которая естественно, разлагая правящие сферы, кладя на них пятно позора сотрудничества с наемными убийцами, налагает на общество гнет наглого, грубого насилия, парализующего живые силы народа; 2) намерены ли они что-либо предпринять для уничтожения организации политической охраны с ее системою провокации. Запрос предлагаем признать срочным».

Ответ министра внутренних дел Макарова на запрос последовал лишь через месяц. Он был обтекаемым, верноподданническим, а версия убийства Столыпина сводилась к тому, что анархисты не оставили выбора Богрову и потому он был вынужден убить бывшего председателя Совета министров, чтобы спасти свою жизнь. Дума же настаивала не только на реорганизации политической полиции, но и на судебной ответственности ряда высших должностных лиц (подразумевалось: Курлов, Веригин, Спиридович, Кулябко).

В марте 1912 года в 1-м департаменте Государственного совета Трусевич прочитал свой доклад с

расследованиями обстоятельств убийства Столыпина. В своем двухчасовом выступлении он обстоятельно рассказал о вопиющих промахах в организации охраны в Киеве. Но, пожалуй, основное место в докладе занимали изыскания Трусевича о финансовых махинациях троицы — Курлова, Веригина и Спиридовича. Курловым были получены несколько сот тысяч рублей на организацию охраны. К моменту доклада он не отчитался за большую часть этой суммы. Выяснилось также, что он брал через Спиридовича большие займы у крупных петербургских ростовщиков. Взамен Курлов продвигал Веригина по службе, который к моменту покушения в свои тридцать с лишним лет был исполняющим должность вице-директора департамента полиции. В августе 1911 года Столыпин отклонил предложение Курлова утвердить в должности Веригина из-за нелестных характеристик, которые поступали на него...

М. Трусевич закончил доклад следующими словами: «Описанные деяния, заключающие в себе признаки преступлений, подлежащих рассмотрению в судебном порядке, вызывают необходимость в возбуждении против генерала Курлова, статского советника Веригина, полковника Спиридовича и подполковника Кулябко уголовного преследования по установленным в законе правилам».

В июне 1912 года, после того как последовало согласие министра внутренних дел, сенатора Н. З. Шульгина утвердили следователем по делу четверки. Когда следствие было закончено, оберпрокурор сената И. Кемпе подписал «Особый журнал», направляемый на утверждение Государю, в котором все четверо признавались виновными. Мнения в Государственном совете разделились.

Обвиняемые развили бешеную деятельность. Пресса каждый день публиковала взаимоисключающие друг друга сведения...

14 октября 1912 года председатель Совета министров граф В. Н. Коковцов был вызван в охотничье угодье Спала, под Варшавой, где Государь отдыхал после торжеств, связанных с празднованием 100-летия Бородинской битвы. В своей книге «Из моего прошлого» Коковцов вспоминает эту встречу:

«Мой доклад затягивался, приближалось время к завтраку. Государь сказал мне: «Отложите остальное до после-завтрака; погода такая скверная, что никуда нельзя выйти, а у меня на душе есть большой камень, который мне хочется снять теперь же. Я знаю, что я Вам причину неприятности, но я хочу, чтобы вы меня поняли, не осудили, а главное не думали, что я легко не соглашаюсь с Вами. Я не могу поступить иначе. Я хочу ознаменовать исцеление моего сына каким-нибудь добрым делом и решил прекратить дело по обвинению генерала Курлова, Кулябко, Веригина и Спиридовича. В особенности меня смущает Спиридович. Я вижу его здесь на каждом шагу, он ходит как тень около меня, и я не могу видеть этого удрученного горем человека, который, конечно, не хотел сделать ничего дурного и виноват только тем, что не принял всех мер предосторожности.

Не сердитесь на меня, мне очень больно, если я огорчаю Вас, но я так счастлив, что мой сын спасен, что мне кажется, что все должны радоваться кругом меня, и я должен сделать как можно больше добра».

Говоря со мною, Государь, видимо, волновался и смотрел мне прямо в глаза, ожидая моего ответа.

«По Вашим словам я вижу, Государь, что Вы приняли уже окончательное решение и вероятно привели его уже в исполнение». Государь подтвердил это наклоением головы. «Ваше Величество, знаете, как возмущена была вся Россия убийством Столыпина и не только потому, что убит Ваш верный слуга, но еще более потому, что с такою же легкостью могло совершиться еще большее несчастье. Все, что есть верного и преданного Вам в России, никогда не помирится с безнаказанностью виновников этого преступления, и всякий будет недоумевать, почему остаются без преследования те, кто не оберегал Государя, когда каждый день привлекаются к ответственности неизмеримо менее виноватые, незаметные агенты правительственной власти, нарушившие свой служебный долг. Ваших великодушных побуждений никто не поймет, и всякий станет искать разрешения своих недоумений во влиянии окружающих Вас людей и увидит в этом, во всяком случае, несправедливость... Если бы Ваше Величество не закрыли теперь этого дела, то в Вашем распоряжении всегда была бы возможность помиловать этих людей в случае осуждения их. Теперь же дело просто прекращается, и никто не знает и не узнает истины».

Государь внимательно выслушал меня и сказал мне:

«Вы совершенно правы. Мне не следовало поступать так, но теперь уже поздно. Я сказал Спиридовичу, что я прекратил дело и вернул меморию Государственному Секретарю. Относительно Курлова я уверен, что он, как честный человек сам подаст в отставку, и я прошу Вас передать мои слова министру внутренних дел. Вас же прошу, Владимир Николаевич, объяснить в Совете министров, чем я ру-

ководствовался, и не судить меня. Повторяю — Вы совершенно правы, и мне не следовало поддаваться моему чувству».

Итак, дело, по высочайшему повелению, ограничилось тем, что все четверо были отправлены в отставку. Больше всех радовался Кулябко, что он избежал тюрьмы. Из полиции он ушел окончательно, некоторое время мыкался без дела. А потом стал коммивояжером по продаже швейных машин. Его следы затерялись в годы гражданской войны.

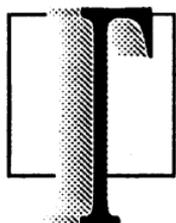
Веригин был расстрелян большевиками в 1920 году.

Спиридович всплыл на поверхность, когда первая мировая война была уже в разгаре. В 1916 году он был ялтинским градоначальником. Потом эмигрировал. Написал несколько любопытных книг по истории российских революционных партий и умер в 1952 году в возрасте 80 лет.

Павел Григорьевич Курлов недолго находился в отставке. Еще до начала войны он был назначен исполняющим должность генерал-губернатора в Прибалтике. При Временном правительстве его арестовали, но большевики Курлова освободили. Он эмигрировал. Последние годы жил в Берлине, где издал книжку воспоминаний, основной пафос которой — как его обожал Столыпин. Однажды в 1923 году он вышел из дома, остановился и упал замертво от апоплексического удара.

Глава 13

СЕМЬЯ СТОЛЫПИНА



Государь назначил солидный пенсион семье Столыпина, от которого Ольга Борисовна отказалась. В первое время после гибели мужа она пыталась узнать правду о том, как это произошло, кто стоял за выстрелами Богрова. Она написала царю письмо, в котором умоляла его не приводить в исполнение приговор над Богровым, пока сенатор Трусевич не закончит свое расследование. Все было напрасно.

Старшая дочь в скором времени уехала в Берлин. Вдова в основном жила в имении, воспитывала сына. Когда погиб Столыпин, мальчику исполнилось восемь лет. Наташа, хотя и передвигалась без помощи костылей, но сильно хромала. Ольга, Лена и Александра уже были взрослыми девушками на выданье.

В разгар гражданской войны Ольга Борисовна, по настоянию своей дочери Елены, забрав детей, уезжает на Украину в имение к Щербатовым. Им кажется, что здесь они будут в безопасности. Но началась война с Польшей, и в 1920 году красные вошли в Немирово, имение Щербатовых, что в сорока километрах от Винницы. Всех Щербатовых тут же расстреляли. Дочь Ольга видела, как их убивали, и заступилась. В нее тоже выстрелили. Через несколько дней она умерла на руках матери. Все остальные Столыпины уцелели случайно. Поляки буквально на два дня заняли Немирово, и Столыпины ушли вместе с ними, когда их стала теснить Красная Армия.

Ольга Борисовна умерла в 1944 году и похоронена на русском кладбище в предместье Парижа, в Сент-Женевьев де Буа.

Сын Петра Аркадьевича — Аркадий Петрович — прожил длинную и интересную жизнь. Незадолго до его кончины с ним встречался А. И. Солженицын. Его подробные рассказы во многом стали отправной точкой в романе «Август четырнадцатого», особенно в тех главах, которые посвящены жизни и деятельности Столыпина. Аркадий Петрович сотрудничал в издательстве «Посев», выпустил несколько интересных книг, связанных с историей русской эмиграции во Франции. Скончался он в 1991 году и похоронен рядом с останками своей матери.

Наталья Петровна незадолго до начала революции стала фрейлиной императрицы. Вместе с сестрой Ольгой она отправилась на фронт сестрой милосердия, не предупредив об этом мать. В конце 1916 года вышла замуж за князя Юрия Волконского, но брак этот не был счастливым. Некоторое время она жила в Ментоне, в приюте «Русский дом»,

потом переехала в Ниццу, где и скончалась от рака в 1949 году в возрасте 60 лет.

Елена Петровна сначала была замужем за князем Владимиром Щербатовым, позднее, уже в тридцатых годах, вышла замуж за князя Вадима Волконского. Она прожила 93 года и похоронена в 1985 году в Савойе (Франция).

Александра Петровна — младшая дочь Петра Аркадьевича и Ольги Борисовны. Она вышла замуж за графа Кейзерлинга, и у нее, как и у ее сестер, тоже не было детей. Она умерла в 1987 году в возрасте 90 лет.

И наконец, старшая, любимая дочь Петра Аркадьевича, Матя, Мария Петровна. Из Берлина, где Борис Бок, ее муж, долгое время работал в российском посольстве военно-морским атташе, они сразу после революции вернулись в Литву, в родовое имение Столыпиных Калноберже. Но с началом второй мировой войны начались их скитания. Мне неизвестна судьба Бориса Ивановича Бока, о нем ничего не пишет и Д. А. Столыпин. Известно только, что Мария Петровна скиталась по всему миру, пока сразу после окончания второй мировой войны не осела в Нью-Йорке. В 1953 году она там издала свою книгу воспоминаний об отце, которая в 1997 году вышла и у нас в России. Мария Петровна скончалась в 1985 году в возрасте ста лет в Сан-Франциско. У нее была приемная дочь Ирина.

Внук Петра Аркадьевича — Дмитрий Аркадьевич Столыпин, 64-летний человек, видный деятель русского зарубежья, в настоящее время живет в Париже. Несколько лет назад, в 1994 году, он приезжал в Россию, в Саратов, на открытие культурного центра имени П. А. Столыпина. Он написал уникальные заметки о своих ближайших родственниках.

Вот что пишет о себе Дмитрий Аркадьевич Столыпин:

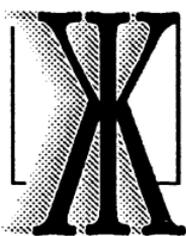
«В данное время (1996) я являюсь одним из трех вице-президентов французского Пен-Клуба, коего я был помощником секретаря и, уже давно, генеральным секретарем. В этом положении я со своими коллегами принял в качестве совместных членов «неконформистов» из России и из Востока. В том, что называется «Права Человека», у меня оказалось много работы.

При покровительстве Пен-Клуба я создал премию, полулитературную, полусвязанную с «Правами Человека», председатель которой был Евгений Ионеско, со времени создания премии и до кончины писателя (1994).

Несколько представителей интеллигенции России и восточных стран, бывших в трудных условиях или в тюрьме, воспользовались этой премией. Лидия Чуковская... была также лауреатом этой премии...

В 1994 году впервые я ездил в Россию: в Саратов через столицу...»

Послесловие



Жизнь любого героя кончается смертью, и в этом печальная участь моего повествования. Ожесточенные споры о том, будет помнить Столыпина Россия или нет, начавшиеся буквально на следующий день после его смерти, сегодня отпали сами собой. Убежден, что главные исследования, посвященные Столыпину, ждут нас впереди, в XXI веке, когда удастся полностью открыть его архивы, хранящиеся в США. Однако дело не только в них, а в дальнейшем осмыслении его короткой, но совершенно фантастической по своей насыщенности деятельности. Мне кажется, что еще до сих пор Россия, народ, а также сменяющие друг друга руководители — мы все так и не осознали всю невероятную глубину того наследия, какое оставил после себя Петр Аркадьевич. Его национальное чувство, которое сегодня подвергается жесткому рентгеновскому облучению, как и наши нацио-

нальные чувства должны быть согреты глубокой духовной общностью многочисленных народов, издревле населяющих нашу Россию. Однако Столыпин знал, чувствовал, что русский народ, избранный Богом, не всегда живет по-божески, и потому, возможно, Бог, как строгий и любящий родитель, отвернулся от своего любимого сына, отвернулся почти на целое столетие. Увы, есть за что. Стоило большевикам стать богоборцами, как Россия в большинстве своем пошла за ними и тот же народ, боголюбивый и богобоязненный, убивал священников, грабил церкви, скидывал кресты, глумился над святынями. Ибо никакая самая тоталитарная, самая кровожадная власть не удержится без опоры на массы. Так было в Германии в тридцатые годы, так было и в России после 1917 года. Мне возразят: не все, не все! Мне скажут: поклеп на русский народ. Но... Молчание и страх, увы, тоже согласие. И я, было время, молчал и соглашался, и я был атеистом. Но атеист и безбожник — это разные вещи, между ними, возможно, еще большая пропасть, чем между верующим и атеистом.

Народ не может быть плохим, ленивым, агрессивным... Но в эпоху трагических перемен и потрясений меняются соотношения. Не случайно самое страшное проклятие у древних китайцев: «Чтобы жить тебе в эпоху перемен». Мы уже почти сто лет живем в эпоху перемен. И в эту эпоху изо всех щелей появляются нигилисты, ниспровергатели, разрушители. Они ничего другого не умеют. Но они гениально умеют разрушать. Их чуть больше, чем в нормальном стабильном обществе, но они задают тон, они обладают огромной магнетической силой, и многие увлекаются этой силой, разрушающей, сметающей все на своем пути. Это еще происходит от-

того, что кипучая жажда деятельности лучше всего находит себя именно в разрушении, потому что очень скоро видны плоды своего «труда», тогда как что-либо возводить прочное, основанное на христианской морали — долго, невероятно тяжело, и строительству этому, кажется, не видно конца и края. Поэтому надо все делать быстро — но тогда с помощью штыка, палки, лагерей, насилия. Авось история простит!.. Не простит. Уничтожая лучших из лучших, естественно, исходя из самых высоких побуждений, вожди были уверены, что улучшают нацию. А мы теперь видим, как нация мутирует.

Какая бы власть ни была — она всегда достойна своего народа, как и народ достоин своей власти. Только высокое национальное сознание способно выдвинуть высокую власть. А высокое национальное сознание, и об этом постоянно говорил Столыпин, предполагает безусловное уважение к любой национальности независимо от ее численности. И оно же предполагает безмерное уважение к Родине-матери. Только в этом взаимном глубоком чувстве и может по-настоящему состояться величие России. Столыпин, как никто другой, понимал это...

На Дворцовой площади все так же возносился на столпе ангел смерти, и все так же в его склоненной голове ощущалась гордыня. Из окна, у которого девяносто с лишним лет назад стоял Петр Аркадьевич Столыпин, вся площадь казалась расчерченной на огромные квадраты. Сияло холодное апрельское солнце. Вокруг Александрийского столпа шумела жизнь, простая и бесшабашная. Мальчишки гоняли по площади на велосипедах и роликах. Самозабвенно целовались совсем юный парень и девочка лет

пятнадцати и ни на кого не обращали внимания. У подножия памятника на холодных гранитных плитах сидели девочки-подростки с яркими рюкзаками за плечами и уплетали мороженое. За их хрупкими, нежными спинами на темной гранитной стене были начертаны бессмертные тексты: «Светка, я безумно люблю тебя». И еще: «Да здравствуют самые лучшие в мире косички». Дворцовую оглашал надрывный и хриплый голос старика. Он старательно, с упорным азартом распевал без пауз песни, лет двадцать тому назад звучавшие на обязательных демонстрациях. Мимо пронеслась милицейская машина, чуть притормозила около неугомонного старика и умчалась. А он пел. Пел плохо, громко, да еще и фальшивил. На столбе за его спиной была приклеена табличка, из коей явствовало, что старик — кавалер орденов Отечественной войны и Ордена Славы третьей степени. И Зимний дворец, и величавое здание Генерального штаба, и ангел, обнявший свой крест как последнюю надежду, слушали надрывное пение и взирали на беспечных горожан, еще недавно называвшихся ленинградцами и вдруг в одночасье ставших жителями Санкт-Петербурга. Они взирали на этих чужих и непонятных людей, они слышали вопли бедного героя-фронтовика...

Что-то там маячит впереди, в дымке грядущих столетий!.. Какие еще потрясения и трагедии должны будут обрушиться на эту невозможно красивую и музейную площадь, чтобы наступило согласие между людьми и этими зданиями.

Но надо жить дальше и привыкать друг к другу...

Москва, Санкт-Петербург

1998, март — июль

Библиография

С о л ж е н и ц ы н А. Август четырнадцатого. М., 1992.

С т о л ы п и н П. А. Нам нужна великая Россия: Полное собрание речей и выступлений. М., 1991.

Б о к М а р и я. Воспоминания о моем отце. Нью-Йорк, 1953.

Убийство Столыпина. Нью-Йорк, 1989.

Столыпин. Жизнь и смерть: Сборник воспоминаний и статей. Саратов, 1997.

А в р е х А. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991.

З ы р я н о в П. Петр Столыпин. Политический портрет. М., 1992.

М а с с и Р. Николай и Александра. М., 1996.

Ж у х р а й В. Провокаторы. М., 1993.

История России в портретах. Смоленск, Брянск, 1996. Т. 1.

Дневник Императора Николая Второго. М., 1991.

Россия на рубеже веков: Сборник статей. М., 1991.

Из глубины: Сборник статей о русской революции. Нью-Йорк, 1988.

П у р и ш к е в и ч В. Как я убил Распутина. М., 1990.

Хронология истории Российского Государства. Репринтное издание 1909 года.

П и к у л ь В. Нечистая сила. М., 1981.

П и к у л ь В. Три возраста Окини-сан. М., 1985.

С и н е л ь н и к о в С. Аграрная реформа Столыпина. М., 1973.

Г у л ь Р. Азеф. М., 1994.

К о к о в ц о в В. Из моего прошлого. М., 1991.

К у р л о в П. Гибель императорской России. Берлин, 1923.

Ш у л ь г и н В. Дни. М., 1989.

В и т т е С. Воспоминания: В 3 т. М., 1980.

Б о г р о в В. Дмитрий Богров и убийство Столыпина. Берлин, 1931.

Г е р а с и м о в А. На лезвии с террористами. Париж, 1985.

Г и р с А. Смерть Столыпина: Из воспоминаний бывшего киевского губернатора. Париж, 1927.

Р е й н Г. Из пережитого. Берлин, 1933.

Государственная деятельность Председателя Совета министров статс-секретаря Петра Аркадьевича Столыпина / Составитель Е. Верпаховская. Санкт-Петербург, 1909. Т. 1—3.

С т о л ы п и н А. П. А. Столыпин. Париж, 1927.

С т е п а н о в С. Загадки убийства Столыпина. М., 1995.

Т о л с т о й Л. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1955. Т. 78.

Оглавление

От автора	5
-----------------	---

Часть первая

Глава 1. Рождение сына	9
Глава 2. Волнения	28
Глава 3. Мальчик Митя	35
Глава 4. Николай	41
Глава 5. Семейные проблемы	54
Глава 6. Новая встреча с Государем	71
Глава 7. Последние месяцы мирной жизни	83
Глава 8. А корабль плывет, но раскачивается	101
Глава 9. 1905 год	116
Глава 10. Дмитрий	138

Часть вторая

Глава 1. В ожидании перемен	145
Глава 2. Государственная дума. Первый опыт	155
Глава 3. Взлет	166
Глава 4. Взрыв на Аптекарском острове	175
Глава 5. Вызов	189
Глава 6. Новые тревоги	202
Глава 7. Борьба с Думой	223
Глава 8. Поиски новых путей	236
Глава 9. Иллюзии мира и спокойствия	254
Глава 10. Разочарования	272
Глава 11. Рискованный полет	289
Глава 12. Окончательное решение	295

Часть третья

Глава 1. Камни преткновения	303
Глава 2. Россия накануне осени	328
Глава 3. Богров накануне осени	334
Глава 4. Последнее лето Столыпина	340
Глава 5. Киев накануне сентября	367
Глава 6. Первого сентября 1911 года	391
Глава 7. Второго сентября	422
Глава 8. Третьего сентября	435
Глава 9. Пятого сентября	444
Глава 10. Прощание	459
Глава 11. Казнь	467
Глава 12. Следствие закончено. Забудьте	474
Глава 13. Семья Столыпина	480
Послесловие	484
Библиография	488

Литературно-художественное издание

Хотулёв Вячеслав Викторович

ПЕТР СТОЛЫПИН

Трагедия России

Редактор *О. Л. Русина*

Художественный редактор *А. П. Куцов*

Технический редактор *Н. В. Сидорова*

Корректор *О. В. Селиванова*

OCR - Давид Титиевский, апрель 2017 г., Хайфа

Подписано в печать с готовых диапозитивов 19.08.98.
Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 26,04. Тираж 11 000 экз. Заказ 2439.

«Олимп». Изд. лиц. ЛР № 070190 от 25.10.96.

123007, Москва, а/я 92.

E-mail: olimpus@dol.ru

Фирма «Русич». Лицензия ЛР 040432 от 29.04.98.

214016, Смоленск, ул. Соболева, 7.

При участии ООО «Плопресс». Лицензия ЛВ № 50 от 08.10.97

220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35 — 306.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.



СТОЛЫПИН



Саратовский губернатор, министр внутренних дел, председатель Совета министров – второй человек в России после Государя. Им восхищались, ему рукоплескали, его ненавидели – люто, смертельно.

Образ П. А. Столыпина Вячеслав Хотулёв создает, основываясь на архивных документах, личных письмах Петра Аркадьевича, императора, газетных материалах тех времен.

В книге впервые опубликована переписка Столыпина с женой, которая раскрывает личность всемогущего премьера с совершенно неожиданной стороны.



ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА